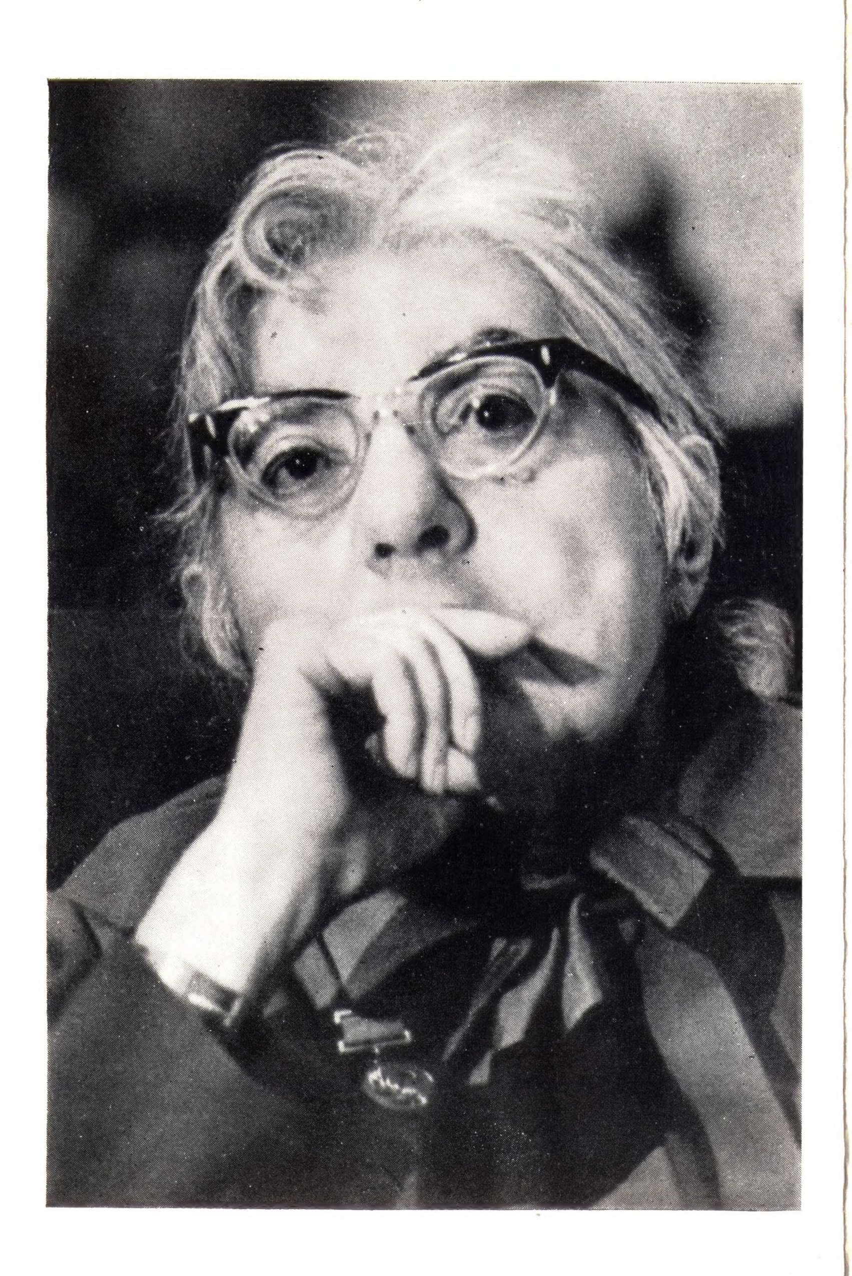
Мариэтта Шагинян







Мариэтта Шагинян

СТОЛЕТИЕ ЛЕЖИТ НА ЛАДОНИ

Очерки и статьи последних лет

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1981

Р2
Ш15

Составитель и автор предисловия К. Серебряков

Шагинян М. С.

Ш15 Столетие лежит на ладони: Сборник очерков и статей./Сост. К. Серебряков. — М.: Современник, 1981.— 351 с.

В сборник Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, старейшей советской писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян вошли очерки и статьи последних лет.

Ш $\frac{70302-291}{М106(03)-81}$ без объявл. 4702010200 ББК84Р7
Р2

ПОДВИЖНИЧЕСТВО

Ей скоро девяносто четыре года. А ее творческая активность поразительна. Она продолжает писать, хотя уже не может прочесть написанного. Иногда буквы набегают на буквы, слова на слова, строчка на строчку. Но она пишет. Потом ей читают, и она исправляет то, что нужно исправить. А если написанное ей не нравится — выбрасывает все в корзину. И начинает снова. Никаких поблажек, никаких скидок на возраст она не позволяет себе в творчестве. Все должно быть «по-шагиняновски» — и язык, его ритмика, и начало, чтоб захватывало читателя, и сюжет, и концовка, которая «сама» образуется, как точный ответ при правильном ходе решения математической задачи; и главное, мысль — глубокая и ясная.

В ее очерках и статьях последних лет есть и факты прошлого, встречаются и даты, и цитаты. Как же она, лишившись зрения, находит их в книгах, в справочниках? Только и остается, что пожать плечами. «Теперь я живу копилкой памяти»,— объяснила она.

Ну, а то, что ей необходимо прочесть своими глазами — не на слух понять, а зрительно увидеть и продумать,— помощница переписывает ей из книг такими большими буквами, чтобы она могла разобрать, да и то в лупу.

Так она писала одну из самых значительных статей, включенных в эту книгу,— «Не утопия, а реальный опыт».

«Всю жизнь, читая работы Владимира Ильича Ленина,— рассказывает Мариэтта Шагинян,— я подчеркивала в книгах мысли Ленина, которые меня особенно интересовали, а на полях делала карандашные пометки. Когда же ослепла, все эти записи стали для меня недоступными. И тут мне на помощь пришли оптики-изобретатели из небольшого города Изюм Харьковской области. Они сделали для меня трубку, похожую на ту, какой пользуется часовых дел мастер. Она дает большое увеличение рассматриваемого предмета, но, к сожалению, очень ограничивает поле зрения. Когда я впервые приложила эту трубку к глазу, то смогла увидеть только одну букву. И все же я не пала духом. Начала ежедневно тренировать оперированный глаз. И тут снова на помощь пришли добрые люди из издательства «Детская литература» — они прислали мне напечатанные для детей крупным шрифтом книги. Я стала читать, снова вернулась к работе, и моя жизнь наполнилась счастьем...»

Итак, помощница переписала большими буквами все подчеркнутые Мариэттой Сергеевной строчки в работах Ленина и пометки, сделанные на полях ленинских книг.

Более полугода писала Мариэтта Шагинян для журнала «Коммунист» статью «Не утопия, а реальный опыт», которая

обогатила ее Лениниану еще одним ценным словом о Владимире Ильиче.

Предлагаемая читателю новая книга Мариэтты Шагинян «Столетие лежит на ладони» — книга особенная. Произведения, собранные в ней, в преобладающем большинстве созданы за два-три года до девяностолетия писательницы и более чем за три последующих года. Творчество в девяносто три года! Случай редчайший в мировой литературе.

Когда эта книга уже находилась в производстве, Мариэтта Сергеевна дала интервью «Литературной газете»: «Столетие лежит на ладони», и написала статью к юбилею великого Низами...

Публицистическую работу, начатую на заре нашего века, Мариэтта Шагинян не оставляет и по сей день. Она возвращается к ней не только в перерывах между созданием очередной книги, но и нередко, если этого требуют обстоятельства, прерывает «плановую» работу, чтобы оперативно выступить в печати. В разгар своей напряженной работы над большой книгой «Человек и Время», этом глубоком, правдивом произведении об истории становления человека, она пишет для «Правды» проблемную статью «Право не быть равнодушным», выступает в «Известиях» со статьей «Мысли о десятой пятилетке», в «Комсомольской правде» печатает «Слово о Ленине», в «Литературной газете» — «Завтрашний день», в «Советской культуре» — «Искусство убеждать». Она откликается на юбилейные даты статьями о Гейне, об Исаакяне, о Бажове, о Шолохове. И все это написано с той неубывающей энергией мысли, глубиной и доскональным знанием материала, что отличало публицистику Мариэтты Шагинян и десять, и двадцать, и тридцать лет назад.

А с каким интересом читаются ее статьи на темы, казалось бы, «не магистральные», такие, например, как «Шахматы в моей жизни» или «Что вы читаете на ночь?». В этих статьях — ценнейшие советы человека, умудренного огромным творческим и жизненным опытом.

Значительный раздел книги посвящен ленинской теме, и это убедительно подтверждает то, что она как-то сказала: «Ленинская тема для того, кто однажды прикоснулся к ней, уже не уходит из вашей творческой работы, она становится темой всей жизни. Когда любишь Ленина и чувствуешь, что понимаешь его и можешь найти в нем опору для мышления, для поведения, для своего роста (а растет человек до самой смерти), уйти от Ленина уже нельзя».

Каждая статья о Ленине, написанная Мариэттой Шагинян в последние годы, расширяет наши представления о личности вождя и прибавляет новые грани к шагиняновской Лениниане.

С какой сокрушительной и проникновенной силой — нравственной и художественной — звучат в статье «Ленин в Швейцарии» слова о ренегатах, восставших против первых шагов только что родившегося нового социального строя на земле, и тот гнев, с которым обрушился на них вождь революции:

«Враг идет на птичье гнездо, где только что вылупился птенец, и птица-мать выскакивает из гнезда, бежит навстречу врагу, всем своим телом, всей своей яростью, своим клювом и перьями стремится защитить птенца, защитить будущее... Так

много, много раз, в стихах и прозе, прославляли *материнский гнев,* становящийся сильным от ярости своей любви. И враг отступал перед силой этой любви.

Конечно, сравнение, по старой пословице,— не «резон». И все-таки нельзя не почувствовать, читая Ленина, что гнев его против оппортунистов, против ренегатов *в решающие минуты истории* рожден великой любовью к будущему, подобной материнской любви. И любовь эта всегда была Добром с большой буквы — важнейшей чертой характера в цельной натуре Ленина».

Советская публицистика всегда была связана с общим развитием нашей страны. Можно без преувеличения сказать, что голос публициста Шагинян был слышен на всех этапах жизни советского народа —и в период первых пятилеток, и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период коммунистического строительства, когда особое значение приобрели проблемы воспитания нового человека.

Мариэтта Шагинян никогда не была просто свидетелем исторических деяний, происходивших в нашем советском обществе, а всегда — их активным, деятельным, горячо заинтересованным участником.

Казалось бы, из всех жанров литературы скорей всего стареет публицистика, поскольку она связана с «быстротекущим» днем. Но сколь многое в публицистике Мариэтты Шагинян живет и не стареет! В ней всегда находишь живую, одухотворенную мысль.

Читать очерки Мариэтты Шагинян — удовольствие. Читаешь их, как хороший роман. Захватывает все: и сюжет, и знания автора, движение мысли, а главное — проблема. Проблема, какая бы она ни была, вдруг заинтересовывает вас, и вы становитесь соучастником размышлений писателя, и кажется, что сама жизнь говорит с вами.

Критиками не раз отмечалось, что сила удивительного таланта и творчества Мариэтты Шагинян — в мысли. Она, эта мысль, глубокая и пытливая, пульсирует на каждой странице произведений писательницы — и в фактах, которыми она аргументирует, и в цифрах, которые приводит, и в деталях, которые так пластично вписываются в создаваемые ею портреты, и в пейзажах, набрасываемых рукою художника. Мысль пульсирует и когда взор писательницы уходит в далекое прошлое, и когда устремляется в будущее. Но мысль эта особенная. Мысль не только ученого, исследователя — философа, историка, педагога, экономиста,— а и мастера слова, потому что она выражена яркими, своеобразными, сильными образно-изобразительными средствами. Мариэтта Шагинян художник и в публицистике, которая поднята ею до уровня высокого искусства.

Прозаик, поэт, драматург, публицист, эссеист, переводчик, критик, литературовед... Ее творчество на редкость многожанрово. Мудрый, неистовый исследователь жизни, художник-мыслитель Мариэтта Шагинян вот уже семьдесят восемь лет работает в литературе. Беспрерывно, подвижнически. «Единственное, что я умею,— это работать»,— сказала она однажды.

1981 *Константин СЕРЕБРЯКОВ*

I

ОТЕЦ ЛЕНИНА

К 150-летию со дня рождения И. Н. Ульянова

Когда я впервые ступила на старые плиты, ведущие ко входу в Казанский университет,— солидные плиты, испещренные надписями,— меня охватило странное чувство: что-то напомнило ту сгущенную атмосферу исторического времени, какая до сих пор охватывает вас при посещении очагов или, вернее, крепостей, европейского просвещения — университетов Лейдена, Падуи, Кембриджа, Оксфорда... Правда, они гораздо старше Казанского. Но есть что-то особое, что-то глубоко наше в его репутации, в характере нашего исторического просвещения — связь науки с общественным движением, а профессоров — с прогрессивным обликом этой деятельности. Казанский университет дал много больших ученых. Он внес свой вклад в революционное движение студенчества. Он был центром общественной мысли в городах вольной Волги. А когда в его стены вступил астраханский юноша Илья Ульянов,— в атмосфере Казанского университета еще царил удивительно многогранный, до сих пор не нашедший себе глубокого и проникновенного биографа, гений Лобачевского. Этот революционер в своей науке, двинувший математику далеко вперед, за грани своего времени,— по примеру многих других великих ученых, оставил после себя педагогическое наследство, и его мысли о воспитании были живучи, как живуча народная песня, далеко переживающая свое столетие. Вот слова из этой «песни» Лобачевского:

«Жить — значит... чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем... Ничто так не стесняет сего потока, как невежество; мертвою, прямою дорогою провожает оно жизнь от колыбели к могиле.

Еще в низкой доле изнурительные труды необходимости, мешаясь с отдохновением, услаждают жизнь земледельца, ремесленника. Но вы, которых существование неспра-

ведливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепная архитектура, незанимательна история веков».

Это — отрывок из речи Николая Ивановича Лобачевского, произнесенной в Казани 5 июля 1828 года, «О важнейших предметах воспитания». А вся речь была напечатана в «Казанском Вестнике» в 1832 году, но ее огромное воздействие на общество длилось многие десятилетия. Увлекались ею и астраханские гимназисты-старшеклассники. А Илюша Ульянов, как мы увидим дальше, многим ей обязан в своей последующей деятельности.

Величаво-архаический язык этой речи, язык начала девятнадцатого века,— еще не был так трудночитаем для тогдашней молодежи пятидесятых годов, как сейчас для нас. Его легко понимали, ему подражали в своих ученических сочинениях, его переживали, быть может, с тем самым чувством «путевки в жизнь», с каким лицеисты эпохи Пушкина — язык «старика Державина», благословившего, по Пушкину, их на грядущее поэтическое творчество.

Но — не совсем «с таким чувством». Речь Лобачевского была не только высокогуманной, она содержала политику. Правда, вместо терминов «рабочий класс», «крестьянство», «буржуазия», «эксплуататоры» — Лобачевский говорит о земледельце, ремесленнике и о тех имущих, кто сидит на их горбу, пользуется их изнурительным трудом. Но какие удивительные выводы он делает о духовной ценности этих людей! В самом изнурительном труде простой человек сохраняет живую душу, способную в минуты отдыха чувствовать красоты природы и человеческого мастерства, а сидящий на его горбу тунеядец опустошил, умертвил свою душевную способность воспринимать «поток жизни» и наслаждаться прекрасным... Заложено, кстати сказать, в этом удивительном анализе и новое, наше современное понимание самой природы труда — с его творческим элементом... Для того времени это была поразительно смелая, политически звучащая мысль, которая не могла не воспламенять молодые умы. Она, вероятно, сыграла свою роль в переводе Лобачевского службой пониже. Когда Илья Ульянов приехал в 1850 году из Астрахани поступать в Казанский университет, Николай Иванович Лобачевский уже не был ректором этого университета —

его назначили заместителем начальника Казанского учебного округа. На судьбе Ильи Николаевича это сказалось скорей положительно — по характеру своей службы Лобачевский не мог не прочитать полученные в округе бумаги будущего студента,— не только его блестящий аттестат, рекомендацию гимназического начальства, но и его гимназическое сочинение, как особо показательное. А прочитав, между всем прочим, это сочинение, Лобачевский, быть может, почувствовал дух и влияние в нем его собственной, старой, много лет назад произнесенной «Речи о воспитании».

Не сказалось ли это на судьбе Илюши Ульянова?

Пусть это лишь догадки, но они оправдываются исключительным вниманием Лобачевского к неизвестному астраханскому юноше. Николай Иванович, в своих преклонных годах, больной и усталый, не забывает студента Илью Ульянова. Он привлекает его к метеорологическим наблюдениям, дает ему поручения, связанные с научной деятельностью, рекомендует его, когда Илья Ульянов окончил университет,— в старшие преподаватели физики в Пензенский дворянский институт и даже там не прекращает своего «шефства» над метеорологическими наблюдениями молодого физика.

Что же это за сочинение Ульянова, посланное из Астрахани в Казань, как показательное по своему качеству?

В 1966 году в Ульяновске проходила очередная педагогическая конференция, посвященная Илье Николаевичу. В день ее открытия в «Ульяновской правде» был опубликован документ, найденный в казанском архиве молодым ученым А. Л. Карамышевым. Мне посчастливилось присутствовать на этой интереснейшей конференции и слышать Карамышева. Через бездну лет донесся до нас голос отца Ленина — мы слушали текст гимназического сочинения Ильи Николаевича, относящийся к 1850 году, как раз ко времени его поступления в Казанский университет. Называется оно необычно для гимназиста-восьмиклассника: «О вдохновении». Необычно и его содержание. Несмотря на давность, его не без пользы могли бы прочитать и сегодняшние студенты. Вот оно:

О ВДОХНОВЕНИИ[1]

Что такое вдохновение? Вдохновение есть состояние фантазии, в котором душа художника сильно стремится к увлекающему ее предмету, не только посредством живого воображения подмечает важные его стороны, но чувствует какое-то внутреннее побуждение сообщить свои приобретения другим. Этим-то стремлением к сообщению вдохновение отличается от фантазии, которая только творит, а не проявляется вне... От чего же зависит вдохновение? От внешних ли каких-нибудь побуждений или единственно от внутренних явлений? Оно зависит сколько от внешних каких-нибудь побуждений, столько и от внутреннего стремления души выразить себя. Вдохновением можно назвать способность, которая в отношении к другим внешним условиям обработки имеет действие подобно врожденному стремлению, ни от чего не зависящему. В этом состоянии художник так пристрастен к избранному предмету, что забывает все постороннее, он живет, он, так сказать, дышит этим предметом.

Укажем последовательность вдохновенного состояния. Сперва художник избирает идеальную сторону предмета, потом фантазия совершенно обрабатывает части этого предмета, наконец, все это является от вдохновения в известных формах, то есть выражается или звуками, или образами. Некоторые говорят, что вдохновение расстраивает прекрасное состояние душевных сил именно внезапными движениями, восклицаниями, слезами и тому подобными действиями. Напротив, это движение сообщить все свои мысли другим, согласно с душою. Художник должен запастись мыслями и чувствованиями, которые в минуту вдохновения только свободнее развиваются, а не рождаются. Напрасно иной хочет сделаться вдохновенным посредством искусственных средств, внешних возбуждений: усилие его бывает бесплодно.

Вообще нет ни одного художественного произведения без вдохновения. Это есть основание произведениям поэзии и начало искусства.

И. Ульянов

---

[1] «Ульяновская правда», 1963, 9 мая; опубликовано А. Л. Карамышевым. (Разрядка моя.— *М. Ш.*)

Так писал юноша девятнадцати лет. Синтаксис свыше столетнего возраста очень свеж и недалек от современного. Но попробуем вникнуть в то, что здесь сказано о вдохновении. Мне кажется, я не читала ничего более глубокого и более ясного, чем эта юношеская страничка о предмете, до сих пор считающемся очень сложным.

Первое — главное — отец Ленина разделяет как разные вещи фантазию и вдохновение. Фантазия пассивна, человек отдается ей для себя, она его, скорей, отдаляет от людей, чем ведет к ним. Отличительная черта вдохновения, наоборот,— это страстная потребность передать свой внутренний опыт другим. Илья Николаевич говорит здесь о художнике и о произведениях искусства, но ясно, что, признавая отличительной чертой вдохновения «внутреннее побуждение сообщить свои приобретения другим», он тем самым делает его присущим и педагогу, а труд подлинного педагога считает вдохновенным. Здесь Илья Николаевич как бы намечает весь свой дальнейший жизненный путь, весь пафос избранной им профессии.

Второе, им утверждается в сочинении — врожденность вдохновения. С ним надо родиться, его нельзя приобрести никакими искусственными средствами или возбуждениями.

Третье — последовательность вдохновенного труда: выбор «идеальной стороны предмета», акт сознания; обработка его деталей фантазией и выявление его с помощью вдохновения вовне, то есть как раз передача людям.

Четвертое — опровержение «беспорядочности» и «стихийности» вдохновения,— наоборот, оно возникает, по Ульянову, гармонически, в согласии с душой.

И наконец, пятое — вдохновение ничего не может сделать на пустом месте. Ему должны предшествовать знание и опыт, «художник должен запастись мыслями и чувствованиями», которые вдохновение поможет творцу выявить. Это, в сущности, целая программа для каждого творца, в том числе и для творца-педагога. И если развить юношеское сочинение Ильи Николаевича во всей философской глубине заложенных в нем идей, то они могли бы, пожалуй, стать серьезной частью нашей советской эстетики.

Но я совсем не собираюсь замыкать этот юношеский голос Ильи Николаевича в рамки одной только эстетичес-

кой теории. Мне, наоборот, слышится в нем нечто гораздо более широкое, нечто похожее на высокую правду «науки наук» — педагогики. Какая огромная требовательность и какой великий простор для того, чтобы почувствовать в себе «внутреннее побуждение сообщить свои духовные приобретения другим», как много приобретений должен он для этого сделать, как щедро запастись «мыслями и чувствованиями»! Ведь только от переполненного сознания, от захвативших тебя глубоко накопленных и освоенных знаний, от мудрых мыслей, пробудивших чувства, захочет и сможет человек передать то, чем он живет и дышит, другим. Не сможет не захотеть и не сможет не передать — таков настоящий педагог.

Создавать биографию Ильи Николаевича вне исторического фона — грубая ошибка. Его деятельность совпала с крупнейшим событием эпохи — с освобождением крестьян от крепостного права. На Руси было уничтожено рабство. Но это событие охватило не одно только десятилетие — в 50-х годах XIX века русское общество, классическая русская литература боролись за освобождение крестьян. В 60-е и 70-е годы нарастало недовольство освобождением их без земли. В 80-е годы наступила реакция. Все это держало русскую общественность в постоянном брожении, и И. Н. Ульянов пережил вместе со своим временем и его великий подъем, и его упадок. Около четырнадцати лет он преподавал физику в Пензе и Нижнем Новгороде (ныне Горький), но деятельность его стала непосредственно связана с народом, когда он получил назначение инспектора, а позднее директора народных училищ Симбирской губернии.

Этот последний период его жизни был наиболее интенсивен, длился около шестнадцати лет, и в этой должности он умер пятидесяти пяти лет от роду, в тяжелое время наступившей реакции. Надо помнить, что Илья Николаевич не дожил до гибели своего старшего сына, а Владимир Ильич к его кончине был только подростком. Поэтому для исследователей его жизни и деятельности лучше всего обращаться к ранним источникам — воспоминаниям воспитанных им народных учителей, получивших прозвище «ульяновцев», к современникам, знавшим его лично (например, к либеральному общественному деятелю Назарьеву), и к тем последующим публикациям о нем в Ульяновске, Казани, Саратове, Чебоксарах,— содержащим

много ценного. Будучи «инспектором» и «директором», он не инспектировал, а создавал. Он неутомимо разъезжал по всей губернии, собирал сходы крестьян и строил народные школы, создал великолепную Порецкую семинарию для подготовки народных учителей и учил уже не детей, а самих учителей, воспитывая и образовывая их культурно. До него в губернии было только 89 школ — ко дню его кончины стало 434, причем 200 из этих новых школ были построены по его личным проектам. Вместо убогих лачуг и прежних почти пустых школьных комнат, он создал просторные здания с новшествами: форточками для очистки воздуха (их почти не было в это время и в самом Симбирске), раздевалками, школьной мебелью, наглядными пособиями, коллекциями. До него учителей было 276 — но каких: малограмотных попадьих, отставных солдат, дьячков, и только два процента из них имели профессиональное педагогическое образование. Ко дню его смерти учителей стало 457, из них уже 35 процентов получили такое образование. И так в отношении всех других фактов: участия женщин, заработной платы учителей и т. д.

В начале 30-х годов нашего века я еще застала в живых некоторых народных учителей-ульяновцев. Непосредственно от воспоминаний, напечатанных в саратовском сборнике и в других ранних книгах, а также от сохранившихся в нижегородском архиве подробных записей проводившихся Ульяновым учительских съездов, можно получить интересные данные о передовых взглядах и педагогической методике Ильи Николаевича. Вот основные черты его методики: комплексное обучение ребят в классе, чтоб предмет давался не изолированно, но в связи с его фактическим окружением; коллективная занятость в уроке всего класса, чтоб не было ни одного ученика, не принимающего участия в освоении урока; роль коллектива в воспитании детей, а не только в их учебе; роль обязательного повторения прошлого урока — не формально, а с прибавлением нового и с углублением его знания; ввод музыки и ритма в обучение; обращение внимания на декламацию при изучении стихов наизусть и при инсценировках; ручной труд обязательно в практическом его применении: починка школьной мебели, изготовление учебных пособий для уроков (клейка из картона геометрических фигур — куба, квадрата, шара и т. д.), самостоятельное составле-

ние коллекций, например образцов почвы своего уезда; продление учебного дня по мере необходимости для отстающих ребят; воскресные литературные беседы и чтения. Как перекликается все это с передовой советской педагогикой лучших наших учителей-воспитателей — Макаренко, Сухомлинского... Сам глубоко верующий, Илья Николаевич смело инструктирует своих учителей не давать ходу церковно-поповскому влиянию в школе, добавляя, правда, для необходимости «перестраховки» фразу: и всяких других... Он по собственному почину уменьшает количество уроков закона божьего, отдавая освободившиеся часы естествознанию. И еще одному, очень важному, учил Илья Николаевич своих питомцев, народных учителей,— чувству личного человеческого достоинства, изгнанию холуйства и рабьего духа.

Перед ним были юноши, только недавно освобожденные от рабства, его собственный дед был крепостным крестьянином. Родимые пятна крепостничества не так быстро изглаживаются, как и — на наших глазах — родимые пятна капитализма.

Вот замечательный рассказ бывшего народного учителя-ульяновца Зайцева о случае, пережитом им еще ребенком в школе.

Вел урок арифметики народный учитель В. Калашников. Илья Николаевич очень часто посещал классы созданных им училищ, проверяя, как там идет учеба. Зашел он и в эту школу, сам вызвал к доске ученика Зайцева, поговорил с ним. Когда он ушел, Калашников задал классу к следующему уроку русского языка сочинение на тему: «Как прошел этот день в школе?» Сочинения были написаны, собраны и прочитаны Калашниковым. Он принес их на урок, раздал ребятам, а когда дошла очередь до Зайцева, он бросил тетрадку ему в лицо и грубо выругался: «Свинья!» Как раз в эту минуту Илья Николаевич опять зашел в класс и стал свидетелем этой сценки. Он подошел в свою очередь к перепуганному мальчику, взял его сочинение, прочитал, улыбнулся и сказал Калашникову: «За что вы наградили Зайцева орденом креста и огромнейшей картошкой? Сочинение написано хорошо, правдиво и точно, на заданную вами тему». Он взял перо и в конце перечеркнутого Калашниковым текста вместо большого нуля поставил пятерку и подписался: «И. Ульянов».

А в перечеркнутом Калашниковым крест-накрест тек-

ете мальчик описал, как на уроке арифметики его вызвал к доске господин директор, поговорил с ним и в разговоре как-то по-особому, не как все, выговаривал буквы Р и Л (то есть картавил).

Калашников усмотрел в этой наблюдательности и точности ребенка недопустимую непочтительность и критику начальства и грубейшим образом, по-холуйски, обругал его как раз за отсутствие холуйства, подобострастия и чинопочитания.

Обычно в этом случае биографы Ильи Николаевича видят его любовь к детям, доброту и такт по отношению к ученику. Но Илья Николаевич дал здесь огромный урок самому учителю, кстати сказать не прошедший даром для В. Калашникова, ставшего впоследствии одним из лучших народных учителей-ульяновцев.

Таково было наследие Ильи Николаевича Ульянова, педагога-шестидесятника, своему великому сыну.

Сравнительно короткая жизнь Ильи Николаевича вместила и эпоху великого подъема шестидесятых годов, и тяжелую пору реакции, упадка общественной энергии восьмидесятых. В атмосферу своей большой семьи Илья Николаевич внес исторические настроения: чувство счастья от потребности двигать вперед народную культуру, учить освобожденную от крепостничества крестьянскую молодежь — и нарастающую боль от невозможности это делать в условиях усиливающейся реакции. Эта атмосфера духовно питала революционное сознание всех детей Ильи Николаевича,— все они выросли революционерами, каждый из них внес свой вклад в историю развития русской революции, страницу которой для всего мира перевернул Владимир Ильич в Октябре.

31 мая 1981 г.

ЗЕМЛЯ, ПО КОТОРОЙ НАЧАЛ ХОДИТЬ ВОЛОДЯ УЛЬЯНОВ

I

В те времена — свыше ста лет назад — старинный русский город Симбирск выглядел несколько иначе, и Волга возле него выглядела иначе. Она делала, огибая взгорье, на котором стоял Симбирск, небольшую извилину, полу-

опоясывая берег. Хорош был вид с Венца, верхней части города, на Волгу, и так же хорош снизу, с парохода, когда подъезжали к городу. Сейчас Волгу выпрямили для облегчения судоходства, и вид на нее и с нее уже не тот самый, каким любовались с Венца дети Ульяновы. Но «горное» положение Симбирска было и осталось характерной чертой города. Когда в прошлом произошло важное для горожан событие — проведение водопровода, заменившего скудную колодезную воду и ведра с коромыслами, то на открытии его местный священник в торжественной речи произнес по-библейски: «Стали на горах воды».

Мне посчастливилось попасть в этот особый город, когда извилина Волги возле него еще сохранилась, как и многие другие черты прошлого, подобные детским слабым следам на песке. Их надо было суметь увидеть и отложить в памяти. Я сказала выше: «особый город». Он имел особые признаки среди других приволжских городов — коренную связь с великой русской литературой, памятные даты приезда и проезда через него Пушкина в Оренбург — для собирания материалов о Пугачеве. В нем крепко и памятно стоял купеческий дом писателя Гончарова, несхожий по архитектуре с особняками писателей-дворян, строивших городские свои дома по образу и подобию помещичьих усадеб. При мне еще стояла неразобранной иностранная часть библиотеки историка Карамзина, свезенная из его симбирского имения. И сколько имен можно было в ней найти! В первую очередь Языкова, поэта волжских «Разбойников» из плеяды пушкинской эпохи,— у него в доме останавливался Пушкин. В местную городскую библиотеку из усадеб Симбирской губернии свозилось много старинных книжных собраний, говоривших о высокой культуре чтения, знании нескольких иностранных языков. Чудесные книги — в кожаных переплетах, с бронзовыми застежками XVIII века. Невольно вспоминались слова Ленина об усвоении культуры прошлого.

А в карамзинском неразобранном собрании нашлись праотцы нынешних детективов — ранние англо-американские романы ужасов. Мне довелось участвовать в составлении их каталогов, и опять приходила в голову ленинская формула о двух культурах.

В одном из книжных складов среди груды учебников, негодных для советской школы, я нашла книжки из библиотеки той женской гимназии, где училась Ольга Улья-

нова, и примерно того же времени. Отобранную пачку этих книжек я отвезла Ленинской библиотеке в Москву.

Противоречия, противоречия — на каждом шагу. И все они были необыкновенно поучительны, все становились уроками — через прошлое о будущем. Старый мир, казалось бы такой прочный и устойчивый в своем сословном, дворянском обиходе, в своей классической русской литературе, учившей справедливости, боровшейся за раскрепощение угнетенного, неграмотного, бесправного крестьянства,— и молчание этого крестьянства, его бессилие... Но нет, не только бессилие.

Владимир Ильич — волжанин. Вся жизнь и деятельность его отца Ильи Николаевича связана с крупнейшими волжскими городами — Астраханью, Казанью, Нижним Новгородом, Симбирском. Детство его сына в юношеские годы — это Симбирск и Казань.

А Волга, мать русских рек, сама может многому научить. От Рыбинска до Астрахани она со своими притоками прорезывает сердце России. Она и полноводна веснами, и мелела в засушливое время так, что колеса старых пароходов царапали дно.

Волжская земля славится и урожаями, и грозным для русских полей бедствием — засухой. Население берегов Волги — это огромное разнообразие народностей. И сама она не простая, она порожистая, делает извилины, зигзаги.

Волга — мать тягучей бурлацкой песни, песни народного страдания, она мать и другой песни — вольной песни народного стихийного сопротивления самодержавию:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

Напоминает эта песня, до сих пор так чудесно поющаяся, о том, что не молчал народ. Он вторгался в историю бунтами, своей стихийной волей к свободе.

Недалек был Пугачев и народные легенды о нем, недалек Степан Разин со своей вольницей, недалека казанская «Бездна» с революционным деревенским вожаком Антоном Петровым, замученным царскими жандармами.

И все эти противоречия русского исторического развития, как разноцветные лучи в белом солнечном спектре, лились в окошко ленинского детства.

II

Понимать воздействие всех особенностей старого Симбирска на ребенка Ленина я начала не сразу. Сперва задача была — найти и сохранить остатки времени его детства. Город Ульяновск показался мне не очень отделившимся от Симбирска, по крайней мере по внешнему виду.

Не все его улицы, особенно на окраинах, были мощены, а в центре города — не все мощеные были заменены асфальтом. Старый добрый булыжник, облизанный вечным движением железных колес и оббитый лошадиными копытами до влажного блеска, еще громыхал под извозчичьими пролетками и деревенскими возами; еще попадалась на улицах старая «линейка», где люди сидели спинами друг к другу. И громыхало это, особенно весной, когда снег стаивал и сани исчезали, должно быть, и в апреле 1870 года... Я жила в этом городе с перерывами почти четыре года, собирая по крохам драгоценные свидетельства еще живых современников отца Ленина, народных учителей, доживавших свои дни на пенсии; школьников, сидевших в одном классе гимназии вместе с Лениным, уже глубоких стариков; племянника первой в городе «ученой фельдшерицы», принимавшей в свои руки маленький живой комочек — второго сына Ульяновых, будущего Ленина.

У меня сохранился портрет этой незаурядной женщины с обликом шестидесятницы, написанный рукой ее племянника, знавшего свою тетку еще при ее жизни. Вот эти несколько коротких строк, на мой взгляд, лучшее, что создал он,— ульяновский писатель Ильин (Нилли):

«Анна Дмитриевна Ильина, старейшая в городе акушерка,— первая настоящая, с медицинским образованием. Воспитывала племянницу свою, которая потом кончила Высшие женские курсы (Бестужевские) и была домашней учительницей. Потом, после смерти родителей моих, воспитывала нас: меня и сестер. Она была небольшого роста, полная, катилась, как шар. Цвет лица розовый, родинка с волосами на щеке, черные усики. Курила, щуря глаза, и басила. С бедных рожениц денег не брала — и с утра до ночи толпились бедные женщины в ее комнатах... Ее знало все купечество города, одаривало за советы и практику ценными подарками, а она их раздавала бедным роженицам «на зубок». Умерла вдруг — от сердца. В последние дни ходить было трудно — брала одышка. Всегда

веселая и живая, даже и среди одышки часто подшучивала над собою. Помню, она упала около постели ночью — зимой, собираясь на прием (за ней прислали куда-то ехать за город). Ее растирали щетками — она кряхтела и, задыхаясь, тихо жужжа, шутила и вдруг... замолчала навсегда».

Такими же уникальными были свидетельства Миши Кузнецова, сидевшего в первых классах (может быть, только в первом) на одной парте с Володей Ульяновым в Симбирской гимназии. Я видела перед собой этого Мишу в облике старого, хрупкого, с мелкими чертами на выцветшем лице и только светом в глазах — светом воспоминания,— человека лет восьмидесяти. Он свято берег школьные тетрадки, помнил, какие были уроки в первом классе, мог описать учителей, а главное — он когда-то почти каждое воскресенье ходил к Володе на дом, чтобы с его помощью сделать заданные уроки. Приходил он в ранний час, когда семья Ульяновых сидела за чаем, и Марья Александровна, не очень расположенная к визитам влиятельных симбирских дам, отрывавших ее от домашней работы, ласково усаживала оробелого Мишу за стол, ставила перед ним чашку чая с молоком и хлеб мазала щедро маслом.

Я допытывалась у Миши, и в глубокой старости сохранившего робость и благоговение перед прошлым, выпавшим ему на долю: какой был у них хлеб? Что было на столе? Чашки разные или сервиз? Что любил есть Володя? Как себя вел за столом?

Хлеб у семьи Ульяновых даже в воскресный день был ситный. Масло приносили из ледника — в то не так уж далекое время не было искусственного льда холодильников, а возле дома спускались по деревянной лесенке в вырытую яму, зимой набитую льдом, и прямо на лед ставились прикрытые дощечкой крынки с молоком, круги деревенского масла... Но главным угощением за утренним чаем был дешевый (самый дешевый и тогда, и сейчас) зеленый сыр. Вот зеленый сыр и любил Володя больше всего. Ел он быстро, за столом не засиживался: знал, что Мише надо помочь сделать уроки, но не вскакивал сразу, когда поест, а спрашивал у матери: «Мама, можно?» — и тогда они с Мишей уходили наверх, в собственную Володину комнату — она и сейчас в Доме-музее, какой раньше была. «Я туговато учился,— признавался мне старый Миша,— а он ведь ни разу не разозлится, пока объясняет, не раз-

дражится. Хотя быстрый он был в детстве в своих движениях, но объяснял терпеливо, ясно, будто всю жизнь был учителем».

Миша Кузнецов и на старости сохранил эту мальчишескую робость перед тем, кого судьба посадила с ним рядом на парте. Жил он, помню, в небольшой темной комнате с керосиновой лампой на столе — никак не решался просить у города, чтоб провели ему электричество. Это мы сделали ему без его просьб. Из всех его рассказов как-то особенно запал мне в душу, словно аромат прямо после выпечки, большой круглый *ситный* хлеб — не белый и не черный, а именно ситный. Семья Ульяновых, тогда уже статского советника, инспектора (или уже директора), начальника школ всей Симбирской губернии, жила на хорошее жалованье главы семьи. Но семья была большая, нужно было накормить, обуть, одеть, обучить ее. А Марья Александровна, слывшая образцовой хозяйкой, приучала детей к простоте и скромности в быту. Ситный хлеб!

III

Проводя почти все время в этом ушедшем, казалось бы, прошлом, сидя часами в архивах, за календарными ежегодниками тех лет и старыми «Симбирскими губернскими ведомостями», общаясь ежедневно с дорогими мне, замечательными тогдашними работниками Дома-музея Ульяновых, самоотверженно трудившимися над воссозданием прошлого, я жила все-таки не в Симбирске, а в новом, молодом городе Ульяновске, невольно проникавшем мне в душу. Ситный хлеб! А в городе шла кампания среди населения — о выезде на поля, к созревшему хлебу, помогать колхозникам вязать снопы из богатого, уже скошенного урожая. В первую очередь отозвались фабричные работницы. Газета — уже не старая симбирская, носившая чиновничье имя «Ведомостей», а новая, советская, ульяновская,— служившая не ведомству, а Правде,— звала всех, всех вязать снопы. Это новое для большинства горожан дело считалось женским. Пошла и я в деревню и совсем неумелыми руками, с помощью соседок, глядя на них и понемногу вникая в ритмику и последовательность очень изящного, красивого мастерства вязания снопов, втянулась в незнакомое для меня занятие. Под жарким солнцем, пыльным пшеничным колосом, раздуваемые ветром из-под

косынки волосы лезли в глаза, мокли от пота. Нагибаться, разгибаться, нагибаться, разгибаться — не отставать от других, не портить общую работу, а вязать, как все, и время не перетрачивать, не терять, а укладываться в него, нигде, ни в чем не отступать от слаженной прочной формы настоящего снопа — двойная, умная задача в каждой работе: соблюдай время, не изменяя качеству... Золотое правило каждой работы, которому надо учиться, которое должно войти в привычку труда любой профессии. Пока я училась вязать снопы, ни о чем, кроме своих усилий, не думала, а вечером надо было помогать приготовить стенную газету для всего нашего стана. И тут пришла ясная мысль о живом присутствии прошлого в нашем живом сегодняшнем настоящем.

Крикнуть с газетной полосы — ведь тут Ленин! Ведь без Ленина все это: прохладный чудесный вечер над необъятным полем, вспотевшие, усталые, но счастливые от работы, помогшие деревне городские женщины, дымки от костра, переклички далеких друг от друга, приближающихся друг к другу сноповязальщиц,— ведь все это наяву, не во сне, все это никогда не могло быть, если б не было Ленина, не было ленинского Октября, не было в наших сердцах живого, действующего, созидающего новую жизнь на земле Владимира Ильича. Это стояло в душе, как аромат скошенного поля. Так просачивалось в сознание новое общественное бытие, делая и нас новыми людьми.

В ту пору, когда я, собирая материал для своей первой книги «Семья Ульяновых», пронизывалась каким-то новым, воспитывающим чувством любви к Ленину, происходили и другие неожиданные события. Мы пережили период «отдачи», когда город отдавал свои силы в помощь деревне, участвуя в создании «ситного ленинского хлеба», но и деревня позвала нас для того, чтобы мы получили от нее драгоценный дар — новое прочтение Пушкина.

IV

Это событие произошло несколько позже, и мне пришлось много раз и писать и рассказывать о нем.

Неподалеку от Ульяновска, верстах в двадцати (мы тогда еще считали верстами), находится село Кременки, а в этом селе колхоз «Первенство». Что было в царское время в этом селе? Два «устоя» — трактир и церковь; два

слоя — кулаки-толстосумы и крестьяне-бедняки, батраки, почти сплошь неграмотные, обездоленные, страдавшие от волжских засух, от темноты, нищеты, бесправия. А сейчас, в канун Нового года, горожане Ульяновска получили от колхоза «Первенство» из села Кременки печатное приглашение на конференцию в школе по Александру Сергеевичу Пушкину. Школа в колхозе была средняя, и директором ее был комсомолец Алексей Михайлович Круглов. Приглашение получила и я. В холод и ветер — вечер был вьюжный — ехали мы в Кременки, а когда переступили порог школы, нас охватила горячая теснота множества людей, наехавших на конференцию чуть ли не из всех районов области. Мы, городские, думали, грешным делом, что «местным силам», как водится, во всем помог город — консультанты, работники районо, но тут они сидели рядышком с нами и по мере развития конференции все больше да больше пожимали плечами, головой качали, вскидывали изумленно глаза: куда, к черту, пошла их помощь, официальные, набившие оскомину трафареты по Пушкину. Все — и речи, и выступления школьников, и неожиданный выход старого-престарого деда, опиравшегося на палку,— он вышел на середину сцены и с выражением, с чувством наизусть прочитал всю «Полтаву»,— а главное, доклады, доклады: председателя сельсовета, избача, еще кого-то (Александр Михайлович Круглов дал им всем говорить свое продуманное, прочувствованное слово о Пушкине). Эти доклады создали совсем новое представление о великом поэте. Выросший после революции народ, по-новому созданная школа, новое народное бытие открыли крестьянам глаза на чтение, а это чтение оказалось по-новому самостоятельным. И мы, городские интеллигенты, воспитанные на трагической судьбе великого поэта, загубленного царизмом, сидели, слушали и учились, как народ по-новому освоил своего классика. Кто хочет подробней ознакомиться с их речами, пусть прочтет в 7-м томе моего Собрания сочинений статью «Три речи о Пушкине», здесь же скажу только, что поразило нас. Вместо трагедии — веселый, сказочный Пушкин, как герой-молодец. Что только не делал с ним царь, дядьки-иностранцы учили французскому, а няня — наша, деревенская — обучила его родной русской речи. Мундир на него придворный надели, а он русскую природу любил и все четыре времени года воспел в стихах: и русскую зиму, и весеннее поло-

водье, и осень, любимую его пору, и русские народные обряды, обычаи. Царь сделал его историком, чтоб царей восхвалял, а он за Пугачева в первую очередь взялся и в наши места приехал собирать о нем народные сказания...

И тут в одной из речей мы подметили заминку. Пауза. Докладчик не забыл, что дальше. Он, как мы узнали, сконфузился за Пушкина. Дело в том, что, отъезжая от Симбирска, Пушкин увидел зайца, перебежавшего ему дорогу, и вернулся домой: плохое знамение! А колхозник, простой русский мужик, впервые прочитавший, готовясь к своему докладу, все эти подробности, постеснялся тут, перед всеми своими сельчанами и городскими гостями, сказать о суеверии поэта, о том, что он зайца испугался. Запинаясь и покраснев, он продолжал: «Тут с Александром Сергеевичем неприятность вышла, и он обратно в город вернулся».

Для нас это было открытие! Открытие в новом советском колхознике. Открытие в самих себе — что греха таить, ведь мы — я, по крайней мере, постучу иной раз по деревянному столу от сглаза,— а ведь колхозник, докладывая нам о великом поэте, постыдился за его слабость.

Так после счастья отдачи своих сил в помощь деревне пережила я огромное счастье получения — от нового светлого дара сознательности советской деревни.

Думаю, что молодой учитель-комсомолец, готовясь к этой необычайной конференции, где колхозники любовно, как хорошего живого знакомого, называли Пушкина «Александр Сергеевич»,— немало души своей вложил в преподавательскую и воспитательную деятельность на деревне.

* * *

Счастье рождения в человеке нового сознания, счастье создания человеком нового бытия на родной земле — это огромное творческое счастье. Оно дано нам в великой любви Ленина к простому трудовому народу. И оно дано нам в великой любви к Ленину, в ощущении его близкого бессмертного присутствия в каждом из нас, кто самозабвенно трудится на родной земле.

1980

ЗА ЧТЕНИЕМ ЛЕНИНА

В анкетах на вопрос о профессии Владимир Ильич писал: литератор. Он окончил юридический факультет и работал в самарской адвокатуре. Он выступал защитником на суде. Он преподавал с гимназической скамьи, давая уроки; читал лекции в школах для рабочих во Франции и в Италии. Он был изумительным оратором, и речи его могли бы стать классическим образцом ораторского искусства. Он — прежде всего, главней всего — был революционером. А в анкетах, несмотря на все это, его твердым, тонким почерком стоит: *литератор*.

Может ли это быть случайностью? Огромно литературное наследство Ленина — статьи, заметки, доклады, исследованья, книги, книги, созданные на огромном прочитанном материале, отрывки из дневников, записки, заменяющие устное слово, письма, рецензии, резолюции, реплики,— перечислять можно без конца, *потому что все дело жизни Ленина запечатлено тут черным по белому, на тысячах страниц*.

Читая их изо дня в день, видишь Ленина живым, движущимся, жестикулирующим, гневным, ироническим, радостным, заботливым, добрым,— жест и движение, чувство и настроение сказываются в особом применении Лениным знаков препинания — запятых, восклицаний, вопросов, кавычек, скобок, тире, двоеточий, в подчеркиваньях — сколько разных подчеркиваний! Разбивка, курсивы, нотабене на полях, двойные, тройные линии, вырастающие друг под дружкой как требованье особого вниманья... Типографиям туго приходится от этой письменной ленинской жестикуляции! Благоговейное отношение к тексту Ленина так велико, что задача политически учиться у него вытесняла до сих пор даже возможность отнестись к нему просто по-читательски. Обычное «литературное чтение» Ленина никому, может быть, и в голову не приходило.

А между тем читать его, постоянно читать, просто читать необходимо. Перечитывая его из года в год, вы находите все новое и новое, как будто не стареете вы с годами, а только взрослеете, только учитесь понимать его, наслаждаться им, делать для себя нравственные, философские, жизненные открытия. Тема «Ленин как литератор» в рамки газетной статьи, конечно, не умещается. Она требует обширных исследований. Но поделиться хотя бы частью

своего личного опыта каждый из нас, работников пера, в среду которых Ленин сам поставил себя, как профессионал,— мне думается, может и должен.

Я приведу только несколько примеров из своего многолетнего чтения Ильича.

Наша критика часто ссылается на формулу Энгельса о «типическом характере в типических обстоятельствах». С этим оружием в руках подходят критики к оценке «действующих лиц» наших произведений. Но у Ленина есть гораздо более конкретная и поэтому гораздо более глубокая и понятная расшифровка этого важного положенья новой социалистической эстетики. В 1919 году кто-то привез ему с юга книжки изданных там меньшевиков и народников, ярых врагов Советской власти. Ленин написал короткую рецензию на эти книжки. Называется она «В лакейской». И вот какая там удивительная жемчужинка анализа того, что есть «типический характер». Только Ленин не говорит отвлеченно о типическом характере вообще, он конкретизирует это определение словами *социальный тип*. Вот как анализирует там Ленин социальный тип лакея, его черты и происхождение этих черт:

«Свойственная лакейскому положению необходимость соединять очень умеренную дозу народолюбия с очень высокой дозой послушания и отстаивания интересов барина неизбежно порождает характерное для лакея, как социального типа, лицемерие. Дело тут именно в социальном типе, а не в свойствах отдельных лиц. Лакей может быть честнейшим человеком, образцовым членом своей семьи, превосходным гражданином, но он неминуемо осужден на то, чтобы лицемерить, поскольку основной чертой его профессии является соединение интересов барина, которому он «обязался» служить «верой и правдой», с интересами той среды, из которой рекрутируется прислуга. И поэтому, если рассматривать вопрос с точки зрения политика, т. е. с точки зрения миллионов людей и отношений между миллионами, то нельзя не прийти к выводу, что главные свойства лакея, как социального типа, суть лицемерие и трусость. Именно эти свойства воспитывает лакейская профессия. Именно эти свойства являются самыми существенными, с точки зрения наемных рабов и всей массы трудящихся в любом капиталистическом обществе».

Простые слова, иногда именно в силу их простоты, труднее понять, чем сложные. Но если мы глубоко вдумаемся в эти ленинские слова и поймем все заключенное в них глубинное содержание, мы увидим, как отвлеченный «типический характер» стал *социальным типом*, а черты его характера выросли из соотношенья опять же не отвлеченных, «типических обстоятельств», а из соотношенья его классового происхожденья с обслуживаемой им средой другого класса (происхождение, разделенное на профессию). И еще многое, многое можно извлечь для себя из этого коротенького анализа. Он касается не только новой социалистической эстетики, но и ее связи с этикой. Он объясняет многое и в отношении самого Ленина к людям, и в его разделении личного и общественного, когда он судит о своих идейных противниках.

Не очень часто, но все же вы встречаете у Ленина элементы художественной прозы, особенно очерка. Огромная, сверхчеловеческая занятость мешает ему развивать их, и любопытно, что из двух, наиболее сильных образчиков литературного творчества, написанных: первый — в конце января — начале февраля 1901 года, а второй — в конце февраля 1922-го, последний вообще остался незаконченным. Я имею в виду две его трехчастные работы, с отдельными оглавлениями для каждой части, собранные под общие названия: первая — «Случайные заметки» и вторая — «Заметки публициста». Что поучительно в них для писателя? Начну с первой.

Январь 1901 года. Владимир Ильич за рубежом, в Мюнхене. Идет затяжная, сложная подготовка нелегальных изданий — «Искры» и «Зари». Надо найти средства, сотрудников, агентов по переброске изданий через границу, надежных людей для распространения их в России. Но главное: надо обеспечить их *материалом*, корреспонденциями, точными, фактическими, злободневными,— и чтоб они в то же время хорошо читались и действовали. Ленин молод, ему всего тридцать лет. Он завален труднейшей организационной работой, но не забывает о главном,— и сам много пишет и для «Искры» и для «Зари». Последняя задумана как журнал: в ней больше места, и Ленин создает для нее три очерка. «Заря» выходит в апреле того же года в Штутгарте с этими очерками. Первый — «Бей, но не до смерти» — основан на типичном для царского времени случае, когда в полиции запороли до смерти мужич-

ка, приехавшего к губернатору жаловаться на полученную им обиду.

Ленин сперва приводит этот случай коротко, в немногих строках по сухим газетным отчетам судебного следствия. Потом он разбирает происшествие, используя каждую конкретную черточку, проскользнувшую в газетных заметках, каждое слово свидетелей, восклицанье самого мужика перед смертью, показанья (и перемену показаний в угоду начальству) тех, кто видел, слышал, присутствовал,— и вот имена и фамилии в постепенном рассказе Ленина наполняются жизнью, под ними становятся видимы люди. А случай, названный им «дело об убийстве крестьянина Тимофея Васильевича Воздухова», захватывает читателя своим жутким трагизмом, наполняет ненавистью к царскому полицейскому строю, острым — до боли в сердце — чувством жалости к простому, бесхитростному, беззащитному человеку-труженику, вздумавшему искать правды и помощи — где? В самом губернаторском доме! Ни одного «жалостливого слова» от себя Ленин не пишет, ни одной явной литературной попытки эмоционального воздействия он не делает, а все вместе ранит вас, как произведение искусства.

Чем достигает этого Ленин? В рассказе он все время следует за *движением* событий. Мы видим, как крестьянин Воздухов без шапки, обиженный, возбужденный, на извозчике подъезжает к губернаторскому дому; как его «вталкивает» пьяный городовой Шелеметьев в «солдатскую» и как этот городовой, вталкивая его, *«задевает шашкой за дверной крюк, обрезывает себе немного руку, воображает, что шашку держит Воздухов, и бросается его бить, крича, что ему порезали руку. Бьет со всего размаха, бьет в лицо, в грудь, в бока, бьет так, что Воздухов все падает навзничь, все стукается головой об пол, просит пощады. «За что бьете? — говорил он, по словам сидевшего в арестантской свидетеля (Семахина). — Не виноват я. Простите, Христа ради!»... «Уж так били, так били,— говорила одна арестованная женщина,— что у меня инда все брюхо от страстей переболело»*.

Ленин ведет рассказ точно по следствию. Из куцых газетных записей он выхватывает яркие словечки: «инда», «страстей», «обучение» — термин, каким названо на суде полицейское битье. Когда «обучение» было кончено и Воздухова втолкнули в арестантскую,—

«Братцы! — говорит Воздухов другим арестованным,— видите, как полиция дерется? Будьте свидетелями, я подам жалобу!» Но жалобу ему не удается подать: на другой день утром его нашли в совершенно бессознательном состоянии и отправили в больницу, где он через 8 часов и умер, не приходя в себя. Вскрытие обнаружило у него перелом десяти ребер, кровоподтеки по всему телу и кровоизлияние в мозг».

На этом Ленин заканчивает простое введение в «дело об убийстве». Пасха, пьяная полиция, беззаконие, беззащитность простого человека. Дальше идет разбор дела в суде. И мы видим этот суд с участием сословных представителей,— потому видим, что здесь Ленин, отходя от газетных документов, вспоминает, должно быть, яркие картины суда в Самаре, где сам выступал, и умелой рукой рисует воображаемые портреты «сословных представителей»:

«Вот волостной старшина,— я имею в виду провинциальный суд,— конфузящийся своего деревенского костюма, не знающий, куда деть свои смазные сапоги и свои мужицкие руки, пугливо вскидывающий глаза на его превосходительство председателя палаты, сидящего за одним столом с ним. Вот городской голова, толстый купчина, тяжело дышащий в непривычном для него мундире, с цепью на шее, старающийся подражать своему соседу, предводителю дворянства, барину в дворянском мундире, с холеной наружностью, с аристократическими манерами. А рядом — судьи, прошедшие всю длинную школу чиновничьей лямки, настоящие дьяки в приказах поседелые...»

Я привожу лишь немногие места из очерка. Написан он прямым обращением автора к читателю. Но в таком, как будто безыскусственном, приеме наличествует у Ленина главный элемент искусства: нагнетание динамики действия, ведущее к ответному нарастанию отклика в читающем. У нас, очеркистов, часто бывает обратное, мы обволакиваем действие дополнительными богатствами аксессуаров — пейзажа, психологии, раздумий, причем критика поощряет как раз такие «расширенные» очерки, сводимые к жанру повести, считая их именно за это «полноценно художественными». Но там, где этим художествам превышена норма, где они вылезают наружу, как тесто из квашни, замедляется динамика действия, напряжение падает к концу, и цель очерка, его агитационная направ-

ленность, спускается иногда до нуля. А в нашем, советском очерке, одном из важных видов литературы, как участницы «общепролетарского дела»,— это ведь минус, а не плюс. И Ленин учит нас тут, как надо беречь кульминацию к концу, как надо наращивать динамику.

Два его следующих очерка — «Зачем ускорять превратность времен?» и «Объективная статистика» — написаны уже совсем по-другому. Ленин выступает в них как классический сатирик,— уже не лицом к читателю, а в маске мнимой серьезности и объективности. Если первый очерк показал нам произвол, беззаконие, дикость царской России в ее *полицейских* и в ее *суде,*— то здесь, на примере «романтизма» *дворян,* не желающих стать за стойку и торговать спиртным, Ленин втаптывает в грязь этот «романтизм» дворянства, восклицая, как зато «благородно» дворянское сословие торгует хлебом, «особенно в неурожайные годы, когда можно нажиться на счет голодающих...». Еще сильней его последний очерк. Ленин как бы мягко жалуется, что вот во всем усматривают сейчас «тенденциозность». Он «не желает» писать о фактах общественных, где легко можно впасть в эту самую «тенденциозность», а берет перечень правительственных постановлений на рубеже годов 1900-го и 1901-го, ибо ничего нет безопаснее простого перечня законов. Под видом такой объективности, одним только перечислением царских «узаконений и распоряжений», Ленин достигает огромного впечатления у читающего уже о бездарности и самообслуживании не только «стоящих у трона», а и самого трона. «Объективная статистика» напоминает гениальные образцы классической сатиры от Монтескье до Щедрина, от Рабле до Ярослава Гашека. К сожалению, никакая сатира не поддается пересказу, а тем более сатира ленинская.

К метафорам, образам, сравнениям Ленин прибегал довольно часто, хотя не забывал оговариваться, что сравнение не резон. Но если спросят меня, чем отличаются, по-моему, ленинские «сравнения» и «метафоры», я бы сказала, что вот именно тем, что они всегда *резонны,* то есть всегда несут в себе смысловую оправданность. В те минуты (и месяцы), когда Ленин больше всего страдал от несогласия части своих единомышленников с мерами, какие считал решающе-необходимыми, единственно разумными, Ленин прибегал к образам и метафорам. Так было во дни тяжелой борьбы за Брестский мир, и особенно в

тягчайшие для него дни введения новой экономической политики. Посмотрите том 24 четвертого издания Ленина. Там, на стр. 481, напечатано меньше чем полторы странички,— предвыборное (в районные думы) воззвание Ленина к рабочим и работницам, солдатам и труженикам. Текста — меньше полутора страниц, а заглавие — из целых восьми слов! И мало восьми слов в заглавии,— первые восемь строк самого текста посвящаются объясненью этого заглавия. А представляет оно собой не то метафору, не то формулу. Заглавие:

«Крепость цепи
определяется крепостью
самого слабого звена ее».

Начало текста:

«Если нужна железная цепь, чтобы удержать тяжесть, скажем, в 100 пудов,— то что получится от замены *одного* звена этой цепи деревянным?

Цепь порвется.

Крепость или целость всех остальных звеньев цепи, кроме одного, не спасет дела. Сломается деревянное звено — лопнет вся цепь.

В политике то же самое».

Когда я впервые прочитала эти строки, воображенье тотчас нарисовало мне другую картину, не цепь, а стену,— столбики кирпичей для кладки всех четырех стен дома. А вот и нет! Заменишь там и сям — в разных местах — кирпичи деревяшками, положишь на них стопудовый второй этаж,— и стены ничуть не сломаются! Отчего? Ленин сравнивает свой образ с политикой. Дальше у него идет разговор о ренегате Плеханове, о блоке с ним меньшевиков и народников, о Плеханове, проповедующем «войну до победного конца», совсем как буржуазия, на радость капиталистам, и надо, чтобы это знали трудящиеся, чтобы не голосовали за народников и меньшевиков, потому что одно это «деревянное» звено погубит всю железную цепь, могучую цепь единой народной воли за мир, а не за пагубное продолжение войны. И понимаешь, как важно, как необходимо и мудро тут ленинское сравненье цепи с политикой. Потому что кирпичи — они отдельные, у них тяжесть разлагается на каждого и до известного предела все устоят и с дырками. Но цепь воли народной сплетается

звеном в звено, и каждое звено несет всю тяжесть и отвечает за всю цепь. И все же ни одно ленинское сравненье не потрясает, мне кажется, так сильно, как сделанное им в конце февраля 1922 года, в неоконченной и не напечатанной при его жизни статье «Заметки публициста»... Это сравненье (первая часть «Заметок») — он так и назвал: «Вроде примера». Вспомним, какое это было время,— на Россию шел голод, люди падали от истощенья, враг караулил за рубежом «последнее дыхание» Советской России, чтоб ступить на нее ногой. Ленин болел, все чаще прерывается его работа вынужденным отдыхом, в нем все еще сидела и ныла вражеская пуля от покушения 18-го года,— ее извлекли только 23 апреля 1922-го. Но хуже болезни терзало его непонимание близких товарищей по партии острой необходимости для спасенья советского строя новой экономической политики. Все, что он переживал, в чем хотел убедить товарищей, он вкладывал в художественный образ восхождения на гору — и вынужденного спуска, который облегчил бы новое восхожденье. Это так написано, что вам передается в чтении боль и страданье Ильича, с какими он писал:

«Представим себе человека, совершающего восхождение на очень высокую, крутую и не исследованную еще гору. Допустим, что ему удалось, преодолевая неслыханные трудности и опасности, подняться гораздо выше, чем его предшественники, но что вершины все же он не достиг. Он оказался в положении, когда двигаться вперед по избранному направлению и пути оказалось уже не только трудно и опасно, но прямо невозможно. Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины. Спуск вниз на той невиданной еще в мире высоте... представляет опасности и трудности, пожалуй, даже большие, чем подъем, легче оступиться; не так удобно осмотреть то место, куда ставишь ногу; нет того особо приподнятого настроения, которое создавалось непосредственным движением вверх, прямо к цели, и т. д. Приходится обвязывать себя веревкой, тратить целые часы, чтобы киркой вырубать уступы... приходится двигаться с черепашьей медленностью и притом двигаться назад, вниз, дальше от цели, и все еще не видать, кончается ли этот отчаянно опасный, мучительный спуск, находится ли сколько-нибудь надежный обход, по которому можно бы

опять, смелее, быстрее, прямее двинуться вперед, вверх, к вершине...»

Так пишет Ильич, уже больной, за неполных два года до своей смерти, пишет, трагически переживая необходимость спуска к нэпу. Но во второй части своих «Заметок» он тут же остерегает от «уныния», напоминает, до какой небывалой, еще никем в мире не достигнутой высоты уже дошли: «...создали советский тип государства, начали этим новую всемирно-историческую эпоху, эпоху политического господства пролетариата...»; «...Мы сохранили «армию» революционных пролетарских сил, мы сохранили ее «маневренную способность», мы сохранили ясность головы, позволяющую нам трезво учесть, где, когда и насколько надо отступить (чтобы сильнее прыгнуть)...» Так пишет Ильич. «Но мы не доделали даже фундамента социалистической экономики». И «погибшими наверняка надо бы признать тех коммунистов, которые бы вообразили, что можно без ошибок, без отступлений, без многократных переделываний недоделанного и неправильно сделанного закончить такое всемирно-историческое «предприятие», как завершение фундамента социалистической экономики...»

Страшно трудно пересказывать Ленина своими словами! Трудно потому, что эти ленинские слова живут, они живут вместе со всем, что он создал,— неотделимо, действенно,— и все больше и больше хочется цитировать, приводить его собственные,— эти живые, действующие, ленинские слова...

И хочется сказать, отложив свое слабое перо: читайте самого Ленина! Читайте Ленина сами! Но — научитесь читать Ленина!

6 января 1974 г.

ЛЕНИН НАПИСАЛ РАССКАЗ

I

Это не фантазия (хотя Ленин и сказал: «Фантазия есть качество величайшей ценности...»)[1]. И не шутка (хотя Ленин и сказал: «шутка, конечно, хорошая

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, с. 125.

вещь»[1]. Повторяю сущую правду, не защищая себя скобками: *Ленин написал рассказ.*

Возьмите 8-й том Полного собрания, раскройте его на странице 3, и вы увидите факсимиле рукописи с тонким, знакомым почерком Ильича. Факсимиле дано в уменьшенном виде, но легко разобрать заглавие: «Рассказ о II съезде Росс. С. Д. Р. П.». А над этим заглавием очень большими буквами стоит: *«Этот рассказ назначен только для личных знакомых, и потому чтение его без согласия автора (Ленина) равно чтению чужого письма».* Последние четыре слова Ленин подчеркнул четыре раза.

— Но позвольте! — сразу же возразит тот, кто прочитает эти несколько страниц.— Какой тут рассказ? Простая информация, сжатый отчет, деловое сообщение, но отнюдь не беллетристика, не литературный жанр.

Да, не беллетристика и не «литературный жанр». Но это и не обычный отчет. Обычные отчеты, информации, сугубо партийные письма к товарищам в обширном литературном наследии Ленина писаны простым и ясным языком официального документа. Между тем, внимательно прочитав неполных семнадцать страничек, названных Лениным «рассказом» (а еще лучше — прочитав их дважды и трижды), вы получаете особое впечатление: будто огромное, как бы переполняющее Ленина, теснящееся в нем — богатство чувств и мыслей от только что пережитого съезда — требует художественного воплощения, встает перед глазами во всей драматичности, во всей сюжетной разворачиваемости действия, во всех психологических оттенках действующих лиц, оттенках, которые не передашь одними понятиями «оппортунист», «искровец твердой линии» и т. д., а хочешь передать читателю со всей силой своего увиденного, услышанного, пережитого знания. Какие только словечки, прямо застревающие в мозгу у читателя и немыслимые в простых отчетах, попадаются Ильичу под руку, и он употребляет их, не заменяя и не правя в оригинале: «искряк», «искризм», «искрянство», «южнорабочий», «южнорабоченца», «выкинуть такое коленце», «жоресистская формулировка», «зигзаговая линия», «сорвание съезда». Как будто обычные «срыв съезда», «зигзагообразный», «искровец», «позиция искровца», «подоб-

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, с. 128.

ные формулировкам Жореса», «делегат от Рабочего Дела» своим привычным и приличным звучанием исказили бы, смягчили бы страстную температуру съезда! События, происходящие на съезде, он называет «эпизодами». Слово «случай» на съезде — он заменяет словом «инцидент». Надо быть тончайшим знатоком интонаций слова, то есть слышать слово ухом, а не читать глазами на бумаге, превратиться на миг в актера, увидеть перед собой действие, как на сцене,— чтобы понять здесь стремление Ильича передать все оттенки и характеристики в их разнообразии... И внезапно вырвавшаяся фраза, открывающая его собственное целостное впечатленье от происшедшего на съезде, как от произведения искусства, имевшего свои начало и конец: «Первым инцидентом на съезде, который вскрыл, что не все обстоит ладно среди искряков, и который послужил «завязкой» финальной драмы (или трагикомедии?), явился пресловутый *«инцидент с О. К.»*[1].

«Завязка»! Финал! Драма! Трагикомедия! — Невольная апелляция Ильича к литературному, драматургическому жанру,— четыре слова, где только одно — «завязка» — взято в кавычки, как бы указывая тут на аналогию с посторонней вещью; а все три остальных слова — без кавычек, напрямик, словно дело всерьез, — в драме, как жанре, и местами (под вопросом) даже в трагикомедии.

Когда все это прочтешь, чувствуя при чтении скрытое огромное волнение Ильича, не можешь не задуматься, почему он написал слово «рассказ». Или точнее: не хотел ли он показать этим, что содержание Второго съезда русских социал-демократов, одного из величайших съездов нашей партии, где произошел раскол на большевиков и меньшевиков, то есть, по существу, определилась не только разница в убеждениях, не только теоретическое расхождение, не только содержание политических позиций, но и — красочное, яркое, жизненное разнообразие характеров, оттенков воль и нравственных качеств, направлений и темпераментов, — разница личностей и лиц,— это глубинное, жизненно важное содержание съезда взывает к отражению в искусстве, может

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 8, с. 7. О. К.— Организационный Комитет.

быть или *должно быть выявлено могучими средствами искусства?* Ведь фактически дело шло на Втором съезде не только о «вкладе в теорию марксизма», как мы это знаем из учебников политграмоты, но и о вкладе *в психологию развития того нового человека новой общественной формации*, который определился особыми качествами в понятии *«большевик»*. Именно ведущей деятельности этого нового человека на сцене истории обязаны мы тем, что создали могучую материальную базу для опоры нового общественного строя; именно ведущим качеством этого нового человека обязано воспитание народных масс; именно качествам, входящим в понятие «большевик», «большевизм», обязаны наши победы — вплоть до великой победы в Отечественной войне. И разве рост и развитие качеств, проявление и действие того глубокого волевого начала, впитавшего в себя все лучшее, что есть в нашем народе, разве образ коммуниста — не сделались целью и содержанием творческой работы всего нашего искусства?

Но такие широкие выводы из одного ленинского заглавия «рассказ» показались бы чересчур уж «притянутыми за волосы», если б я ограничилась только анализом его семнадцати страниц, писанных сразу же по окончании съезда. Длившийся чуть ли не месяц (с 17 июля по 10 августа), съезд происходил в 1903 году — сперва в Брюсселе, а потом в Лондоне. Из Лондона Ленин переехал в Женеву и в первой же половине сентября написал свой «рассказ». У него было в то время множество дел — доклад о съезде членам «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии», письма о съезде и проблемах, связанных с расколом на большевиков и меньшевиков,— Калмыковой, Кржижановскому, Потресову; ряд нужных статей; он жил непосредственной атмосферой съезда, когда сел писать свой «рассказ», но и после него — не ушел из этой атмосферы. К лично пережитому прибавилось изучение протоколов съезда. Каким было это изучение, мы знаем от самого Ленина. В предисловии к одной из самых ярких своих книг «Шаг вперед, два шага назад», созданной в феврале — мае в 1904 году, он как бы развивает подтекст своего «рассказа» и добавляет к нему очень многое:

«Протоколы партийного съезда дают единственную в своем роде, незаменимую по точности, полноте, все-

сторонности, богатству и аутентичности, картину действительного положения дел в нашей партии, картину воззрений, настроений и планов, нарисованную самими участниками движения, картину существующих политических оттенков внутри партии, показывающую их сравнительную силу, их взаимоотношение и их борьбу. Именно протоколы партийного съезда и только эти протоколы показывают нам, насколько нам удалось в действительности смести все остатки старых, чисто кружковщинских связей и заменить их единой великой партийной связью. Каждый член партии, если он хочет сознательно участвовать в делах своей партии, обязан тщательно изучать наш партийный съезд,— именно: изучать, потому что одно чтение груды сырого материала, составляющей протоколы, еще не дает картины съезда. Лишь путем тщательного и самостоятельного изучения можно добиться (и должно добиваться) того, чтобы краткие конспекты речей, сухие экстракты из прений, мелкие стычки по мелким (по-видимому, мелким) вопросам слились в нечто цельное, чтобы перед членами партии встала, как живая, фигура каждого выдающегося оратора, выяснилась вся политическая физиономия каждой группы делегатов партийного съезда. Пишущий эти строки будет считать свою работу не пропавшей даром, если ему удастся дать хотя бы толчок к широкому и самостоятельному изучению протоколов партийного съезда»[1].

Так мог бы написать и гений художественной литературы. Что такое протоколы сами по себе? — «...груды сырого материала». Что представляют собой эти груды?— «краткие конспекты речей, сухие экстракты из прений, мелкие стычки по мелким (по-видимому, мелким) вопросам...». Эта груда «еще не дает картины съезда». Заметьте, не смысла, не существа борьбы, не политических результатов съезда,— они ясны и очевидны, они фактически пережиты,— а вот все это фактически пережитое еще не дает из «груды протоколов» от простого их чтения... чего? *Картины* съезда! Полная картина во всей ее цельности тут не простая словесная оговорка. Ленин развивает ее дальше: «...чтобы перед членами партии встала, как живая, фигура каждого выдающего-

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 8, с. 189—190.

ся оратора, выяснилась вся политическая физиономия каждой группы делегатов партийного съезда. «Живая фигура», «политическая физиономия» — это уже из мира образных представлений, переступающих границы чистой политики, чистой науки — в мир искусства, мир художественного восприятия. Чтоб добиться такой цельной картины, зрительного, образного познавания — что надо, по мнению Ильича? Не просто прочесть протоколы. «Лишь путем тщательного и самостоятельного (Ленин дважды в этом абзаце употребляет слово «самостоятельный»!) изучения можно добиться (и должно добиваться)...» *целостной картины съезда.*

Каждый писатель, каждый работник искусства, если он подлинный творец, знает, какую роль, какой толчок — в момент перехода от простого узнавания фактов к сочетанию их в живые образы — дает *изучение* архивов, протоколов, стенограмм. *Такими* «протоколами» были для Шекспира итальянские старинные хроники, для Метастазио — жизнеописания Плутархом великих греков, для Пушкина — русские летописи. Я не сравниваю этих разных творцов, не ставлю их на одну доску (Метастазио был для своего времени популярным либреттистом-драматургом...). Я не открываю Шекспира в Ленине. Но *вдохновение, счастье находки, художественное озарение* — в пристальном изучении протоколов, скупо и прямо дающих людей в их борьбе и взаимодействии, в словесном выявлении их характеров,— можно почувствовать у Ленина, когда читаешь приведенную мною цитату. Хочется повторить для читателя и ее конец,— замечательный конец, напоминающий классические образцы окончаний больших литературных трудов,— то сокращенное латинское dixi, которое ставят старые мастера, воспроизводя одну из конечных формул классического литературного жанра:

«Пишущий эти строки будет считать свою работу не пропавшей даром, если ему удастся дать хотя бы толчок к широкому и самостоятельному изучению протоколов партийного съезда».

II

Несколько месяцев, отделяющих «Шаг вперед, два шага назад» от первоначальных семнадцати страничек

«рассказа», помимо всех прочих дел, связанных со съездом, ушло у Владимира Ильича на подготовку к этой книге. Надо бесконечно благодарить всех, кто собрал и напечатал в пятом издании все черновые материалы к этой подготовке. Вспомните ваши школьные годы и заданные сочинения: учительница сперва показывает, а потом строго спрашивает с вас предварительный *план* сочинения. Сколько таких «планов» писалось в тетрадках, приучая детский мозг к расчленению темы по голому смыслу или ходу действия: 1. Дружба Онегина с Ленским. 2. Знакомство Онегина с Татьяной. 3. Письмо Татьяны к Онегину. 4. Бал у Лариных... и т. д. и т. д. В десятках возможных вариантов это всегда были планы сочинения по ходу действия. Ленин тоже любил, как, может быть, многие из нас, набрасывать предварительный план к задуманной работе. Но его предварительные наброски, судя по тому, что собрано и напечатано, почти ничем не связаны с внешним ходом развития действия, они подчас даже и представленья не дают, какой станет уже написанная работа. А если дают и соблюдают как бы заглавную последовательность хода мыслей, то носят название не просто «плана», а «плана-конспекта». Но даже и тогда, как в плане-конспекте к докладу о Втором съезде РСДРП на съезде лиги[1],— у него в текст врывается вдруг иностранное слово, а строгое построение (как бы заглавно) переходит в личные замечания; вырастает лес разных подчеркиваний, нотабене на полях, удвоенных восклицательных знаков, рамок, простых и двойных, и даже — в боковой рамке — цитата из Фауста, повторенная Лениным по примеру Клары Цеткин, бросившей эту цитату в 1895 году на съезде германской социал-демократии[2]. Ленину, кстати, так приглянулась эта цитата, что он вставил ее в «Шаг вперед, два шага назад». Ну, а наброски к другим вещам уже совсем не похожи на отвлеченный «план».

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 8, с. 447—452.

[2] Гете. Гретхен говорит Фаусту, укоряя его дружбой с Мефистофелем. Клара Цеткин, а за ней Ленин цитируют:

«Es tut mir in der Selle weh,
Das ich dich in der Gesellschaft seh».

В оригинале первый стих звучит несколько иначе:

«Es tut mir lang schon weh» (Мне уже давно больно видеть тебя в таком обществе).

Возьмем, например, его «набросок содержания письма в редакцию «Искры» — по поводу статьи Плеханова. В этом наброске есть такие места: «кваканье лягушек еще не — «раскол», «каждый должен быть «на своей полочке». Сентиментальная скрипка и свирепый контрабас; самодержавная дирижерская палочка...»[1]. А когда читаем само письмо в «Искру» — попадаем в мир совсем другого стиля — четкого, ясного, архисерьезного, вовсе не похожего на шутливые пометки в плане. И эти пометки, как будто взывающие к улыбке, к смеху,— обретают в письме широкий музыкальный пафос: «Света, побольше света! Нам нужен громадный концерт; нам нужно выработать себе опыт, чтобы правильно распределить в нем роли, чтобы одному дать сентиментальную скрипку, другому свирепый контрабас, третьему вручить дирижерскую палочку»[2].

Схемы и наброски Ленина представляют для нас огромный интерес, потому что они показывают, какими вехами, зацепками для прочного оседания в памяти (чуть не написала «опрочнения») пользуется Ленин — совершенно *для себя,* без малейшего предчувствия, что их будет видеть посторонний глаз. Особенно это интересно в том разделе, который назван составителями восьмого тома: «Материалы к книге «Шаг вперед, два шага назад»[3]. Он состоит из нескольких частей, названья которых сами по себе выразительны: «Набросок конспекта протоколов II съезда РСДРП»; «Характеристика делегатов по протоколам»; «Состав организации «Искры» на II съезде РСДРП»; «Болото»; «Группировки и типы голосований на II съезде РСДРП»; «Конец брошюры»; «Справка о частном собрании делегатов большинства 18 августа». Что это, как не конкретный план «рассказа» о съезде! В основе «рассказа» лежат протоколы, имевшиеся у Ленина в рукописи. По ним, по речам и столкновениям участников съезда, по заметкам в личном архиве производится Лениным «характеристика делегатов». По ним, по изучению протоколов («тщательному и самостоятельному») Ленин «группирует» делегатов, обобщает их в группировки; по изучению протоколов

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 8, с. 464.
[2] Там же, с. 96.
[3] Там же, с. 465—481.

представляет себе и дает читателю представить себе «типы голосований»: от частностей — к общему, к образу, к типу... А частности, какие он подмечает для себя, фиксируя их в памяти, тоже взяты из протоколов,— но как взяты и что взято! О Мартове: «что скажут люди»; о Попове: «такая атмосфера»; о Егорове: *«принципы растеряны* (вокруг лиц)»; о Лядове: «выкинуть «бедных детей»; о Махове: «аграрная программа *«не социал-демократична»*... революция вроде бунта... (смех), против поддержки революционного движения (смех), «неприлично»... Я списываю точно, по ленинскому тексту, опуская указанные им страницы протоколов, ставя кавычки лишь там, где он сам ставит. Подмечая для себя характерное и смешное, Ленин как бы сцепляет в памяти живые черточки людей, их характеры, направленье их воль, и в этих портретных зацепках сугубых, казалось бы, частностей — он создает позднее, в своей брошюре «картину воззрений, настроений и планов, нарисованную самими участниками движения, картину существующих политических оттенков внутри партии, показывающую их сравнительную силу, их взаимоотношение и их борьбу» (из Предисловия).

Полгода вынашивал Ленин свои впечатления о Втором съезде, опираясь не только на глубокий политический смысл происшедшего, на его научно-теоретическое значение для развития партии, но и на чисто *зрительные, художественные, красочные детали,* ведущие к характеристике действующих лиц, то есть имеющие дело с *характером* человека, с суммой его внутренних качеств. Да, конечно, и «Шаг вперед, два шага назад», как и первоначальный «рассказ о съезде»,— это не беллетристика, не жанр художественной литературы, хотя брошюра Ленина — ярче, красочнее, стремительней, увлекательней, действенней любой публицистики. Но вот что для меня неоспоримо: спустя тридцать лет после первого прочтения этой книги и сдачи «зачета» по ней на уроке политграмоты, я вчиталась в нее сейчас с тем неожиданным наслажденьем, какое порождает в нас великое искусство, художественное совершенство. И результат такого чтения дал мне больше знанья и пониманья важнейших теоретических мест книги, нежели прежнее «обучение» политграмоте.

Мы проводили это обучение по «выборочным местам»

для облегченного чтения — местам, изъятым из всего, казавшегося нашим руководителям излишне-отвлекающим,— то есть из чисто литературных, речевых и сугубо конкретных примеров, аналогий, отступлений в ленинском тексте. Подобно знакомым школьным «планам» для сочиненья, наша учеба подгонялась под скелеты таких голых планов и внешних классификаций людей и событий. Понятия «оппортунист» и «ортодокс» заучивались нами, как сгустки теоретических воззрений, с фамилиями их носителей, но без лица, без образа, без характера, без живого «биения пульса» у этих носителей,— и такое преподавание не зажигало ни мозга, ни (что особенно важно!) чувства и воображения, оно усваивалось, как уже сделанное, прошлое, превратившееся в гранитные устои канона. Оно уходило в память, как земля, не покрытая зеленью. Что же вдруг стало сверкать для меня с каждой страницы этой «сданной на экзамене» и как будто заученной книги? Словно «голая земля» покрылась на глазах живою зеленой порослью, словно ожили в ней, как посеянные семена, «излишне-отвлекающие» слова, примеры, аналогии, ленинские зацепки за красочные детали, сугубые «мелочи», не бывшие обязательными для учебного чтения. Ожили — и зазеленели персонажами, лицами, образами людей, совсем не ушедших в далекое прошлое, а продолжающих жить в современности, имеющих свое развитие, свое мимикри — приспособление к новым условиям, новой окружающей среде... *Истина конкретна.*

Ленин неоднократно повторяет эту формулу,— в ней, как мне кажется, секрет его стиля, его зацепок за характерные частности и красочные детали: «...основное положение... диалектики: отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна»[1]; «...разбирать конкретные вопросы надо во всей их конкретности»[2]; «Основное положение диалектики: абстрактной истины нет, истина всегда конкретна...»[3]. В этой формуле, почти дословно повторяемой Лениным на разных страницах книги, слито единство теории и факта, искусства и науки. В ней тот живой историзм, что растет из Гегеля, развит Марксом,— и утерян, верней — грубо отброшен современной запад-

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 8, с. 357.
[2] Там же, с. 362.
[3] Там же, с. 400.

ной философией. И в этой формуле, может быть, разгадка жизненной увлекательности ленинской литературной методики, ее могучей силы воздействия.

«Шаг вперед, два шага назад» написана тому семьдесят один год. Но ничего в ней не устарело. Огонь и лед, страсть и анализ ленинской письменной речи, страница за страницей, выковывает для нас, разоблачая «оппортунизм» и всех «иже с ними»,— словно скульптор, снимающий стеком бесформенные кусочки глины с создаваемой статуи,— драгоценное ядро большевизма, в котором теория — и характер ее носителя — возникают в могучем единстве *нового действующего лица на сцене истории* — большевика. И сейчас каждый член партии, кто,— как советовал Ленин читать протоколы Второго съезда,— берется «тщательно и самостоятельно» не только прочесть, но изучить «Шаг вперед, два шага назад», почувствует эту книгу в себе как свою совесть.

13.IV.75
Переделкино

ЛЕНИН В ШВЕЙЦАРИИ

Сколько воды утекло из Роны, из знаменитого «водяного броска» — высочайшего в мире (как уверяют гиды) фонтана, бьющего летом со стрелки женевской набережной,— с тех давних пор, когда Владимир Ильич ходил по улицам Женевы. Он не любил этого города так, как любил Цюрих; ему трудней было заниматься в Женевской библиотеке, чем в Лондонской Ридинг-Рум Британского музея; и он жалел, что покинул Лондон ради Женевы. Если даже в те далекие времена было в Женеве шумно и беспокойно и это мешало углубленным занятиям, то что сказать о нынешнем времени?

Бурно растет новая часть города, и она теснит, отодвигает старую. Когда-то нарядная «Гран-рю» (Большая улица) со своим домом № 40, где в 1712 году родился Руссо,— становится для туристов почти музейной. Милая легендарная «Каружка», где жили-были наши русские эмигранты, а в доме № 91 ненадолго поселились В. И. Ленин с Надеждой Константиновной,— почти ушла в историю. Слава Женевы-философской, Женевы-мыслящей, ее университета и библиотек,— меркнет перед восходя-

щим значением Женевы дискутирующей, Женевы дипломатической. В годы 1929—1936-й выросло массивное здание Дворца Наций. Большие буквы, какими сейчас обозначают разные международные учреждения, большие буквы, стоящие впритык, подобно математическим формулам,— не совпадают на разных языках, и в них очень легко запутаться, как в трех соснах. Массивный, в ширину разлегшийся Дворец Наций почти непрерывно заседает, обсуждает, дискутирует, «конгрессирует». Силуэты на улицах во множестве принадлежат дипломатам всех стран и народов. И вот, несмотря на все эти новшества и отличия современной Женевы, именно здесь, почти тотчас по приезде, я услышала дорогие мне слова: «Тут очень уважают Ленина, газеты хорошо говорят о нем...»

Что в Швейцарии очень интересуются Лениным, я узнала года три назад, когда швейцарский посол в Москве, ныне покойный, письменно запросил меня об одном из фактов биографии Владимира Ильича. Это понадобилось для главного их архивариуса, работавшего над книгой о Ленине. Но интерес оказался гораздо шире и как-то «почвенней», чем я это себе представляла. В первую очередь он вызван, конечно, пребыванием Ленина тут, на швейцарской земле, в течение почти семи лет, правда, не сплошь, а в разное время. Это создало для швейцарских исследователей очень важное преимущество перед другими западными странами.

При всем своем «демократизме» Швейцария любит своеобразный порядок и аккуратность. Эта «гостевая» страна, не беспокоя вас, ведет вам счет, требует гарантий длительного пребывания, свидетельств о вашей платежеспособности (как в царской России требовалось от вас, при выезде за границу, свидетельство о «благонадежности»), проверяет ваше общественное поведение,— и все это отмечается в канцелярских бумагах вместе с точными адресами. Занятия в библиотеках тоже требовали от иностранцев всевозможного «ручательства» местных граждан.

Таким образом, кроме тех архивных документов, которые были переданы через швейцарских коммунистов в нашу страну, у Швейцарии накопился свой немаловажный архивный материал для серьезного исследователя. В нем запечатлены точные даты, фамилии, адреса, иногда и проскользнувшие мелочи более личного харак-

тера, например — дальнейшая судьба хозяев, у которых Ильич снимал комнату. Этот материал заключен в официальные подшивки разных лет и учреждений, недоступные для советских людей. Таким образом, в книгах швейцарских авторов о Ленине может иной раз оказаться для наших исследователей что-то новое, пусть совсем маловажное,— но для любви советского человека к Ильичу нет маловажного, любая мелочь зажигает теплоту в сердце и живой, нужный для общего знания интерес.

Но кроме этих «бумажных» фондов, Швейцария имеет у себя еще и сейчас, а раньше имела во множестве, другой — словесный — фонд, которым она располагала, как своим собственным, исключительным. Вспомним, каким огромным богатством стали для нас устные рассказы рабочих и крестьян о встречах с Лениным, записанные позднее. Как интересны рассказы каприйских рыбаков, только мельком видевших Ленина. Какую огромную палитру — для живописания образа Ильича — представляют собой томá воспоминаний о нем.

Разумеется, это богатство нельзя и сравнить с бисеринками отрывочных высказываний людей, не подозревавших о том, кто с ними встретился. А все же и бисеринка дорога. Владимир Ильич и Надежда Константиновна выходили с рюкзаками на плечах в долгие горные прогулки, со многими ночевками. Хозяева ночевок, случайные дорожные встречи, соседи квартир, домовники, столовавшиеся в доме, где жил Ленин, каждый день трижды садившиеся с ним за один стол, прислуга кофеен и столовых,— не перечесть всех, с кем на протяжении ряда лет сталкивался Владимир Ильич в Швейцарии; а Надежда Константиновна не могла не забирать хлеб или молоко, мясо или овощи в одних и тех же лавочках на одних и тех же улицах — и не встречаться с соседними жильцами в кухне у газовки, где варилась и жарилась еда. Живые Ленин с женой все время соприкасались с живыми простыми людьми Швейцарии. И кое-кто из стариков, с сохранившейся памятью, мог выудить из этой памяти кое-какие обрывки воспоминаний, малые по значенью, но важные для нас, как точки в пунктире живого облика... Все это — устный архив швейцарцев, огромное поле для их исследований, на котором они не могут встретить соперников.

Я выехала из Женевы в Берн — в единственный ярко

солнечный день за весь хмурый октябрь моего месячного пребывания в Швейцарии. На Лозанну мы ехали нижней дорогой вдоль Лемана (Женевского озера), с просветами сквозь деревья его сверкающей голубой зыби. Мимо виллы-замка Коппэ, где более 180 лет назад знаменитая мадам де Сталь вместе с Бенжаменом Констаном «дискутировала» в своем салоне со съезжавшимися к ней писателями и мыслителями о будущем Европы, словно предваряя теперешний Дворец Наций. Мимо Лозанны, где в эти дни поселился Жорж Сименон, с которым мы заочно обменялись книгами и любезностями.

И ярким солнцем, облитый голубизной неба и белизной далеких Альп, встретил нас Берн. Наш посол вручил мне тут же, при встрече в Берне, сентябрьский номер швейцарского журнальчика «Тагесанцайгер» — подарок, имевший для меня огромное значение. В этом номере были помещены две страницы из новой книги о Ленине Вилли Гаучи: «Ленин как эмигрант в Швейцарии». Сейчас, возможно, она уже вышла в Цюрихе, в издательстве «Бенцигер», но в сентябре только рекомендовалась как будущая новинка.

Журнал я повезла с собой в Цюрих. А там ждал меня еще подарок: солидная буржуазная газета, долгие годы считавшаяся одной из лучших по своей осведомленности и точности, «Новая цюрихская газета» опубликовала в трех номерах (12, 16 и 19 октября) еще три отрывка из книги Гаучи, снабдив их иллюстрациями,— портретом Ленина; снимком комнаты, в которой Владимир Ильич и Надежда Константиновна жили в Цюрихе в 1916 — 1917 годах (Шпигельгассе, 14); снимком здания (Нёймаркт, 5—7), где не раз выступал Ленин, и фотографиями Нобса и Фрица Платтена.

Для нас серьезные публикации о Ленине на Западе имеют очень большое значение. Они постепенно увеличиваются в числе — и по ним можно проследить, во-первых, растущий интерес к личности Ленина, принимающий с годами объективно-исторический оттенок, как к величине (самой по себе, вне политических симпатий и антипатий) масштаба всемирного. Во-вторых — и это надо особо учесть,— остающееся постоянным непонимание главной черты характера Ленина, сделавшей его борцом нового типа,— борцом за будущее человечества и за будущего человека. Это непонимание возникло на

Западе от первых истолкователей Ленина — меньшевиков и белогвардейцев, русских философствующих черносотенцев, троцкистов, от исхлестанных сатирой Ленина мягкотелых оппортунистов и предателей и вызывавших ярость Ленина каутскианцев. Ими было прочно заложено это «непонимание» главного в Ленине.

Во второй публикации из книги Гаучи (от 16 октября) приводится случай, когда Анжелика Балабанова, примкнувшая к Союзу русских социал-демократов, вступила с Лениным в спор после одного из докладов. Она непременно хотела узнать от него, как это может он «честных революционеров, бескорыстных людей» обвинять в предательстве: «Почему называет он социалистов, поставивших всю свою жизнь на службу обездоленным,— изменниками?» Ленин, по ее словам, ответил: «Когда я их так называю, я не хочу этим сказать, что имею дело с бесчестными людьми,— я хочу выразить тот факт, что занятая ими политическая позиция объективно ставит их в положение предателей»[1]. Несмотря на ясность такого ответа, Анжелика продолжала настаивать на своем, и тут Ленин «пожал плечами и ушел». Приведя этот случай, Гаучи от себя делает вывод: «В этом сказывается спорность своеобразной «этики» Ленина. В борьбе за власть пролетариата исчезал для него всякий интерес к обычным человеческим соображеньям».

Здесь проходит разделительная черта между старой абстрактной этикой и глубоко человечной конкретной этикой Ленина. Автор книги о Ленине, Вилли Гаучи, приводя всякие свидетельства и всякие факты, подчас противоречащие друг другу, не выходит за грань сложившихся под влиянием одного из идеологов белой эмиграции, Бердяева и троцкиста Фишера характеристик Ленина, не замечая, как сами факты, приводимые им, в корне подрывают эти характеристики. Бердяев, в конце своей озлобленной жизни пришедший к чудовищному отрицанию всякого добра и правды на земле, клеветнически утверждал в своих последних книгах, будто Ленин ненавидел людей, топтал их достоинство. Даже пытавшиеся быть дружелюбно объективными авторы книг о Ленине на буржуазном Западе приписывали обаяние Ленина, его уменье захватить и повести за собой

[1] «Новая цюрихская газета», 1973, 16 октября, № 480, с. 23.

слушателей, его мощное влиянье на рабочую массу, мастерство и силу его агитации — таланту и хитрости политика.

Но Ленин-борец был таким борцом, где Добро с большой буквы и цель борьбы сливались в одно великое целое. В этой исключительной цельности Ленина, в единстве его мысли и чувства — все представляет собой добро и правду. Ни тени тщеславия, ни тени фальши, ни тени самомнения, ни тени всего того, что исходит из буквы «я», из личной для себя выгоды. И постоянное, глубочайшее внимание к людям, к человеку, которого он хочет понять и направить.

Да, гнев его был беспощаден, но то был гнев любви. Меньшевистская трактовка его характера строится главным образом на двух ленинских работах — «Шаг вперед, два шага назад» и «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Насыщены эти две книги таким поразительным, сокрушающим гневом, что, даже читая, только читая их, чувствуешь иногда́, как сердце начинает колотиться. И на кого направлен этот неистовый взрыв гнева? — на когда-то близкого Мартова, на бывшего марксиста Каутского! Если сила ленинского гнева действует даже только в чтении, спустя много лет после написанных слов, то как же должна она была действовать на современников, несогласных с ним, еще что-то недопонявших или — в силу глубины своих заблуждений — обреченных на непонимание?!

А ведь когда — и как — и почему — произошел этот взрыв гнева? И что было бы со «страницей истории», которая тогда чуть начала «переворачиваться», — если б этот гнев был приглушен и книги не написаны? Задал ли себе Мартов или сам Каутский этот вопрос? Истина конкретна. В дни и часы создания партии рабочего класса, партии, *способной реально* взять власть, создать и провести в жизнь новый общественный строй, Мартов и его единомышленники отстаивают — против ленинского централизма партийной организации — раздробленность и местничество ее структуры. Они руководствуются «возвышенными» идеями старого, абстрактного демократизма. А Ленин, знающий, что добра от такой разрозненности, такого местничества партии не будет, что преобразовать старый мир она не сможет, — яростно восстает против Мартова...

В часы и дни рождения нового социального строя на земле, когда весь собственнический мир ополчился на его первые зачатки, когда первое дыханье его оберегается большевистской ленинской партией,— кто вдруг «с ученым видом знатока», с академической иронией восстает против первых шагов молодого строя, называя его не марксистским, не социалистическим?— Каутский, тот самый Каутский, за плечами которого «Аграрный вопрос», марксистами благоговейно изучавшийся! Хуже, тяжелей, гаже этого удара в спину пролетарской революции трудно было себе представить! И Ленин, чувствующий всю силу этого удара, способного затормозить первые шаги новорожденного мира,— обрушивает на ренегата Каутского беспредельную ярость своего гнева...

Анжелика Балабанова бормочет: как же это можно честных революционеров называть изменниками? Десятки грязных перьев выводят: «Ленин унижал достоинство людей, отдавших...» и т. д. Но те, кто умеет читать, понимают, что страница истории должна была быть перевернута и ее перевернул Ленин,— видят всю силу любви Ленина к людям в этом его гневе против изменников революции.

Враг идет на птичье гнездо, где только что вылупился птенец, и птица-мать выскакивает из гнезда, бежит навстречу врагу, всем своим телом, всей своей яростью, своим клювом и перьями стремится защитить птенца, защитить будущее... Так много, много раз, в стихах и прозе, прославляли *материнский гнев*, становящийся сильным от ярости своей любви. И враг отступал перед силой этой любви.

Конечно, сравнение, по старой пословице,— не «резон». И все-таки нельзя не почувствовать, читая Ленина, что гнев его против оппортунистов, против ренегатов *в решающие минуты истории* рожден великой любовью к будущему, подобной материнской любви. И любовь эта всегда была Добром с большой буквы — важнейшей чертой характера в цельной натуре Ленина.

1974

СЛОВО О ЛЕНИНЕ

Ленин — необычайно цельный человек, единственный полностью цельный человек, какого я вообще знаю в мировой истории. Каждое прикосновение к нему, к могучей жизненной силе, бьющей ключом в любой его строке, — это получение воздействия от **всего** Ленина, всех его особенностей, в их неразрывной **связи.** Тот, кто привык читать Ленина постоянно, приступая к чтению с открытой душой,— знает, что он будет сразу же приобщен ко всей личности Ленина, к неразрывной слитности в нем мысли, воли и чувства. И всегда это будет для читающего — в каком бы состоянии он ни начал его читать — помощью, озарением, толчком к действию.

Вот почему я совершенно не могу разрывать получаемую от Ленина силу воздействия на отдельные части, когда меня спрашивают: что именно самое интересное в нем для меня, какой эпизод его жизни или какой труд считаю самым для меня важным и т. д. На такие отдельные вопросы ответить я попросту не могу. Но — может быть — одно впечатление все-таки можно выделить, как «музыкальный ключ», стоящий над всеми особенностями Ленина-борца, потому что именно в этом «ключе» как бы заключен основной корень его цельности, держащий вместе и сразу все проявления его личности — его мышление, гнев, радость, сарказм, шутку, грозную отповедь и бесконечный такт и доброту к соработнику, к простому человеку-труженику. Что же это за «ключ»?

Есть замечательное русское выражение, сколько знаю — не имеющее абсолютно точного перевода ни на каком другом языке: не падать духом. В этом выражении все важно: и глагол «падать», и слово «духом». Дух — это самое высокое определение человеческой способности сочетать разумное, волевое, направляющее сердечную и душевную деятельность человека,— воедино. Сказать: «в этом духе» (почти одинаково с музыкальным «в этом ключе») — значит указать направленность, окраску, стрелку движения, настрой человеческой энергии. И вот Ленин, на протяжении всей своей жизни, запечатленной в его литературном наследстве и в его биографии, в огромном количестве воспоминаний о нем его современников,— никогда не падал духом. Вера его в лучшее будущее человечества, в коммунизм, убежден-

ность его, основанная на глубоком знании законов жизни и общества, органически присущая ему диалектика мышления были настолько сильны, что никогда, ни разу, ни в каком тяжелом положении его борьбы (дела всей его жизни!) и его личных переживаний, выпадающих на долю каждого живого человека, он не падал духом. Ни единого следа сомнения в будущей победе справедливейшего общественного строя на земле,— у него не найдешь, хотя бы,— со специальной целью найти этот след,— изучив все атомы его великой жизни.

Приведу пример, пережитый мной совсем недавно,— пример из тысяч других, имеющихся в его работах. Каждый раз за последние шесть лет, приступая к очередной части своих воспоминаний «Человек и Время», я привыкла искать помощи и поддержки у Ленина, раскрывая его работы, соответствующие тому времени их написания, какое я должна была воскресить для себя. Жизнь моей молодости (1909—1917) шла параллельно с теми же годами ленинской жизни,— но в совершенно разном, совершенно непохожем классовом и житейском окружении. Я ничего о Ленине не слышала вплоть до 17-го года. Вращалась в изолированном интеллигентском кругу. Я раскрыла 21-й том Полного собрания Ленина. Он охватывает период с декабря 1911-го по июль 1912-го. А мне как раз нужно было это время. В конце декабря 1911-го я перебралась из Петербурга в Москву и весь 1912-й провела в Москве. В нашем кругу, в среде «интеллектуалов», людей искусства и науки, мнивших себя «мозговым центром» русского народа, представляли себе тогдашнюю русскую действительность как историческое «безвременье». Чеховское настроение безвыходности, российское болото, российская бескостность. Реакция. Мы задыхались от застоя, пустоты, гнилости, и слово «реакция» было как бы «понятным» сознанием большинства: все казалось сползанием от худого — к худшему. Мы как будто двигались вспять в политике, в творчестве, в нашей национальной репутации, во мнении о нас «просвещенного Запада». Вокруг была вакханалия царских чиновников, всяких кликуш, иеромонахов, «начинающего» Распутина, массовых самоубийств. И поиски забвенья — в мистике, в спиритизме, в уходе от мира. А ко всему этому — голод на Руси, страшный голод, сильней, чем в 1891 году. Голодали десятки миллионов крестьян.

Как наша среда реагировала на это? Были, конечно, и сердечные писанья, и сборы, и всякие теплые слова о помощи народу. Но вот — газета «Русское слово». Почти в одном и том же номере — от 1—3 февраля 1912 года: на первой странице, где жирной краской печатались рекламы,— призыв к москвичам о наступающей масленице: для блинов «прибыла свежая амурская икра!»,— а на следующей странице сообщение из Саратова «по телеграфу от собственного корреспондента»:

«В Царевщине Вольского уезда крестьянин, отец семерых детей, послал этих последних побираться. Когда дети вернулись с пустыми руками, отец в отчаянии распорол себе живот ножом и тут же умер»[1].

И московская зажиточная публика, читая чуть ли не в одном и том же газетном номере оба сообщения, могла спокойно есть блины с икрой в «ресторации» Тестова,— жалуясь, правда, на историческое «безвременье».

А в это самое интеллигентское «безвременье» — что видел в русской действительности, сознавал и делал Ленин? В первых числах января 1912 года прошла 6-я (Пражская) конференция РСДРП. Ленин работал в эти дни без передышки, без отдыха. В один-единственный день (5 января), он беседует с группой приехавших делегатов, делает свои замечания на проект резолюции о работе Российской оргкомиссии по созыву конференции; пишет конспект речи и проект резолюции о конституировании конференции; руководит открытием Пражской конференции; выступает с речью на открытии конференции; пишет проект резолюции о ликвидаторстве и о группе ликвидаторов... Это все за один только день и только то, что сухо документировано в печати,— а сколько дел, мыслей, бесед, встреч, указаний, советов, обдумываний за тот же день, оставшихся недокументированными? Но не об этом я хочу напомнить. Что в эти недели и первые месяцы года делается в центре России, в Петербурге? Страшная, казалось бы — гибельная обстановка для Ленина. Словно под откос летит все, с таким трудом созданное партией. Петербургский партийный комитет «сметен арестами», пишет Ленин[2].

---

[1] «Русское слово», 3 февраля 1912 года.

[2] Ленин В. И. Лозунги Всероссийской конференции РСДРП в январе 1912 г. и майское движение.— Полное собрание сочинений, т. 21, с. 348.

«В большинстве местностей России состояние нашей партии именно таково, что руководящие комитеты и центры постоянно арестуются...»[1]. «Такой иерархической инстанции, которая бы могла декретировать выставление тех, а не иных, лозунгов, не оказывается налицо в силу арестов»[2]. Остаются без руководства рабочие ячейки и кружки,— злобствующие ликвидаторы, меньшевики, либералы объявляют их политически мертвыми.

А Ленин именно в эти страшные минуты видит реальную действительность. Он видит выросшее политическое сознание рабочих, видит возросшую и притом самостоятельную активность оставленных без руководства партийных ячеек. Видит, как лозунги Пражской конференции дошли до них, освоены ими, правильно поняты. Он воспринимает и освещает русскую действительность под углом зрения их деятельности, растущего забастовочного движения, самостоятельно выпущенной рабочими прокламации к маевке 1912 года. Он приводит брошенный в этой прокламации клич: «Долой царское правительство! Долой самодержавную конституцию 3-го июня! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует социализм!»

Издалека, словно антенна, принимая в свои мысли, ощущая всем своим существом большевика-борца происходящее в России нарастание революционного движения, он делает вывод: по сравнению с 1905 годом это движение поднялось на высшую ступень!

«Мы видим из этого поучительного документа,— пишет он о майской прокламации рабочих,— что **все** лозунги, выставленные конференцией РСДРП, восприняты петербургским пролетариатом и **запечатлели собой первые шаги новой русской революции** (подчеркнуто мною.— *М. Ш.*).

Несмотря на отчаянное положение партии в 1912 году, Ленин видит, чувствует и знает, что именно в этот год, в этой атмосфере преследования, травли, арестов лучших сил партии, «вопреки всем преследованиям полиции, вопреки бесшабашным предмайским арестам и

[1] Ленин В. И. Лозунги Всероссийской конференции РСДРП в январе 1912 г. и майское движение.— Полное собрание сочинений, т. 21, с. 349.

[2] Там же, с. 347. Все остальные цитаты на той же странице.

травле революционеров»,— русский рабочий класс делает первые шаги к новой революции. Ленин прозревает сквозь все черные туманы реакции 1912 года, сквозь кажущееся интеллигенции историческое безвременье — мощный рывок времени,— революцию 1917 года, Великий Октябрь!

Я не знаю большей силы убежденности, большей силы веры в рост рабочего сознания, в великий рабочий класс русских тружеников, чем этот гениальный прогноз Ленина — сквозь черноту и туман мнимого упадка и тупика. Вот так надо верить в победу правды. Так надо четко видеть будущее, видеть его глазами Ленина,— видеть в руках движущей силы истории — рабочего класса. Добро и правда должны торжествовать над ложью и гнилью. Прикасайтесь к Ленину, молодежь! Получайте от него, от его ясновидения истории, зарядку веры в завтрашний день. И по Ленину старайтесь видеть жизнь вокруг, работать с прочным ориентиром на трудовой народ, на рост его политического и нравственного сознания!

1976

РОСТКИ ИЗ КОРНЯ

В нашей новой Конституции есть замечательное место, где говорится, что социализм уже развивается на своей собственной основе. Мы постоянно пишем и говорим о строительстве социализма как о деле наших рук, о творческой работе нашей партии и всего советского народа. Но то, что посажено в землю шестьдесят лет назад, что дает зеленые побеги и растет из прижившегося в земле корня,— уже само по себе начинает помогать человеку. Наши младшие товарищи, носящие красный галстук на груди и гордое имя «пионер»,— они тоже ростки из самого корня, естественные побеги социализма.

Пионер, если объяснить точный смысл этого слова, значит **инициатор**, зачинатель **нового**, делающий первый шаг по целине. И если присмотреться к историческому

движению нашей пионерии от ее возникновения до последних лет, то интересно в нем как раз то, что рождалось в сердцах и воображении самих ребят, создавалось ими самими, тем порывом детского сердца, чистотой и бескорыстностью его, светом и добром его, присущими детскому возрасту.

Много было таких «инициатив», общественных проявлений пионерского духа за все истекшие годы. К старым, больным, одиноким людям вдруг приходят школьники, прибирают у них, согревают еду, выносят мусор, помогают, в чем есть нужда. И не раз или два, а с постоянством, терпеливо, ежедневно.

Пусть в этой инициативе сыграло роль писательское имя А. Гайдара, подражание литературному образу, но движение это искренне и самостоятельно.

Я нарочно взяла одно из самых скромных (но, на мой взгляд, самых **трудных**) проявлений пионерской деятельности вне школы. Именно потому, что оно предъявляет самое тяжелое требование к молодой душе — требование постоянства. Порыв мгновенен, он приходит — уходит. Но сделать душевный порыв постоянным, ввести его в повседневную норму — это и взрослому не всегда по плечу. Дети тут иногда показывают пример взрослым.

Но сейчас, в праздник 60-летия Великого Октября, перевернувшего страницу в книге мировой истории, я хочу рассказать об одном из важнейших дел в нашей советской педагогике, созданном и разгорающемся в нашей школе главным образом инициативой пионеров. Лежат у меня на столе много, много конвертов со штампами разных лет и разных местностей. Вот одно — из-под Москвы, а другое — чуть ли не из-под самого полюса — из Заполярья; с вершин Закавказья, из низин Каракумов; из мест, чьи названия новы мне, ни разу не слышаны; из очень известных городов-героев; из поселков, районов, краев, областей, деревень, столиц — отовсюду, где есть средние школы.

Написаны эти письма тоже по-разному; рукой учителя, руками самих ребят, подписаны десятками фамилий. Но смысл этих писем одинаков. Авторы их сообщают, что у них в школе инициативой ребят (чаще всего!) открывается или открылся уголок Ленина, музей Ленина, комната Ильича,— и просьба: помочь, прислать

книги, фотографии, совет, как лучше устроить, пожелания.

Будущее здесь создается памятью прошлого, оно становится как бы копилкой сокровищ прошлого, и такое будущее надежней всего в мире. Оно — как Вечный огонь, возжигаемый великим, необходимым для всех людей, но особенно для детей, чувством любви. Сколько любви, неосознанной, захватывающей, связующей сердца, дышит из этих писем, из старательных детских почерков,— любви к Ильичу, к близкому и родному, желания поучиться у него, послужить его делу, быть с ним, иметь его рядом. Такие письма говорят нам о жизни Ленина в народе, о бессмертной силе его учения, о могучих корнях его дела для человечества больше, чем десятки и сотни иных брошюр.

Много ли знают дети из того, что написано Ильичем? И многое ли там понятно им? Но больше иной раз, чем взрослый, чувствуют дети **бытие Ленина.** И они принимают эстафету этого особого чувства от старых большевиков, от первых дней Октября и передают ее будущему, скрепляют с воздухом школы, с учением, с поведением. Они читают и перечитывают лучшие, достовернейшие книги о Ленине: воспоминания Надежды Константиновны Крупской, Марии Ильиничны, Анны Ильиничны, Дмитрия Ильича Ульяновых. Миллионными тиражами надо выпускать эти книги, потому что они дают опору и силу юному гражданину Советской страны.

Желаю от всей души в день праздника Октября нашей пионерии, нашим живым росткам светлого коммунистического будущего, хранить и крепить своим творческим званием «пионера» уголки Ленина в школах, где они созданы, и создавать их там, где их еще нет, чтоб **из поколения в поколение жило, крепилось, возрастало чувство бытия Ленина рядом с нами.**

И главное — хранить эти ячейки памяти о Ленине от формализма, от казенщины, от закостенения, от «птички» на полях мероприятий, чтоб жили они своей инициативной пионерской жизнью на века!

1977

УЧИТЕСЬ У ЛЕНИНА

Интервью журналу „Слово лектора“

— Мариэтта Сергеевна, ленинская тема стала ведущей в вашем многообразном творчестве. Ленин был и остается для вас и самой большой любовью, и примером, и знанием. Исследуя ленинскую мысль, воспоминания родных, близких, друзей Ильича, посещая ленинские места, вы постоянно стремитесь воссоздать облик живого Ленина. Благодаря вашему перу мы видим Ленина во многих ракурсах — в семейной обстановке и на трибуне, за дружеской беседой с Кларой Цеткин и в горячем споре с «ершистым шотландцем» Галлахером, который приехал в Москву, чтобы «учить» Ленина делать революцию. И при всем при том вы ни разу воочию не видели Ильича, не слышали его выступлений. Как вам удается с такой покоряющей достоверностью писать о Ленине? Какие источники питают ваше вдохновение, благодаря которому написанные вами строки создают ощущение встречи с Лениным как с живым?

М. С. Шагинян. Несколько лет назад в ФРГ во Франкфурте-на-Майне меня пригласили в общество очень интеллигентных людей, считавших необходимым культурное ознакомление и сближение между Западной Германией и Советским Союзом. Там мне был задан такой же вопрос: как я могу так живо писать о Ленине, если никогда лично его не видела и не слышала?

Скажу совершенно искренне: знание Ленина я почерпнула из своей любви к Ленину, из него самого. Не сразу, а очень постепенно. И только одним способом: чтением его произведений. Сперва, в самые первые дни Октября, меня поразили его **декреты.** Они, во всей их молниеносной краткости, были удивительно действенны, прямолинейны, глубоко входили, как бы острием врубались, в тогдашнюю смутную, еще хаотическую, неорганизованную действительность. Я почувствовала первое качество Ленина, которого раньше совсем не читала и не знала,— **действенность его слова.**

Позднее я выписала первое собрание его сочинений, еще бедно изданное (по тогдашнему состоянию нашей полиграфии), в гнущейся желтоватой обложке, и усердно принялась его читать и читала не один год, пока

не прочла от начала до конца. И в первый период чтения разочаровалась. Мне все в его работах показалось непривычным, непохожим на то, чего я ждала. Я ждала **позитивного,** азбучного — в смысле порядка — изложения его мыслей, чтобы сразу за ними идти, их осваивать. Ждала чего-то вроде его декретов — прямолинейного изложения. А увидела полемику. Он как бы все время спорил. В его полемике я сперва не могла ухватиться за основные мысли, отделить его собственное, утверждающее,— от того, что он опровергает, от чужого и чуждого ему. Я еще не знала истории рабочего движения, истории возникновения, роста и укрепления партии, и мне просто трудно было понять, в чем острота полемики и сущность борьбы, которую он ведет. Но так как до революции, окончив философский факультет, я успела изучить древнегреческую философию, прочитать в оригинале немецких идеалистов (особенно любимого мною Гегеля), то и не могла не вспомнить, что у Платона, например, изложение истины тоже проходит не прямо, а в диалогах — вопросами и ответами, то есть мысль Платона улавливалась не только в том, что один излагает, а и в том, как другой это изложенное опровергает. И так как я, захваченная с первых страниц «Наукой логики» Гегеля, была по природе своей соткана из противоречий и сама «диалектична», то постепенно стала чувствовать очарование ленинской полемики, ее остроумие, ее стилистическую тонкость и стала понемногу как бы участвовать в ленинских спорах, притом всегда на его стороне против его противников. Вот эта личная **захваченность ленинской полемикой** — сперва против поздних народников, потом против меньшевиков — пробудилась во мне задолго до партучебы. Очень помог в этом и мой предварительный жизненный опыт.

В первое время после Октября мне часто приходилось бывать на различных собраниях и митингах, где слушала выступления большевиков и меньшевиков (в те дни я еще не читала Ленина). Как это ни странно, на этих митингах я прежде всего получила очень яркое, **образно художественное** впечатление от того, что такое большевик (в его речах и действиях) и меньшевик (в его речах и действиях). Это были **психологические** портреты: ощущение разных типов людей, их характеров и темпераментов, как бы художественные оттиски порт-

ретов. Еще до полного понимания их политико-социальной сущности я стала просто ощущать их особенности. Говорю об этом потому, что художественно-психологическое ощущение того, что такое «большевик» и что такое «меньшевик», предшествовало моему теоретическому пониманию их позиций и как-то помогло в чтении Ленина, в освоении **позитивной** стороны полемики Ленина. Я была, пожалуй, с 1914 года, с первого года войны, по темпераменту, по нарастающему во мне нравственному протесту против звериного шовинизма и несправедливого устройства общества — ярой большевичкой, и все мои симпатии были на стороне большевиков. Вот все это, предварительное, повлекло меня к Ленину, к изучению его, а позднее — к изучению Маркса.

Есть что-то общее между классовым влечением к Ленину рабочих и моим архиинтеллигентским, но диалектическим, темпераментным влечением к его произведениям, к его великому делу на земле, к большевизму и его практике. Любовь к Ленину, постоянное, увлекательное, все более и более познавательное, самостоятельное чтение Ленина, диалектическое раскрытие его учения — вот **истоки**, питавшие и питающие до сих пор мое перо, когда я берусь писать о Ленине. Каждый день я читаю 2—3 страницы из него, и каждый день он учит меня все новому и новому.

— Время неумолимо. Все меньше остается людей, которым довелось быть рядом с Ильичем — работать с ним, слушать его речи, видеть его. Но время не властно над вечно живым ленинским словом. Исследуя его, вы постигали искусство агитации, искусство убеждать людей. Первый урок, который вы при этом извлекли, состоял в следующем: «Если аудитория начнет после твоего доклада хвалить тебя и восхищаться тобой, значит, ты плохо сделал свое дело, ты провалил его. А если разговор сразу же пойдет о предмете и содержании твоего доклада, как если бы тебя самого тут и не было, значит, ты хорошо выступил, сделал свое дело на «пять». Не кажется ли вам, что не все согласятся с этим мнением хотя бы потому, что Ленин в письме к Луначарскому писал, что «личное воздействие... в политике страшно много значит».

М. С. Шагинян. Слова Ленина «личное воздействие... в политике страшно много значит» отнюдь не идут вразрез с моим выводом: если после твоего доклада аудитория сразу начнет осыпать комплиментами тебя самого за твое выступление, а не заговорит о самом содержании твоего доклада, значит, ты плохо выступил. Личное воздействие имеет в политике огромное значение, потому что настоящий пропагандист, настоящий агитатор вкладывает свой темперамент, энергию, дар слова, красноречие, жар убеждения в произносимую речь для того, чтобы донести свое убеждение, свои мысли до слушателей. Без вклада **всей личности** и ее **обаяния** в произносимую речь эта речь не сможет сильно действовать и убеждать. Но одно дело — всей силой личного воздействия **довести** до слушателя именно то, **что оратор хочет передать ему,** чем он хочет увлечь и захватить аудиторию, и совсем другое, когда он **красно** говорит и пускает в ход свое личное обаяние, **любуясь собой** и **зная цену своему красноречию.**

Личное воздействие оказывал и оратор Плеханов, но в этом воздействии было отличное понимание им самим своего красноречия, умная самооценка, самолюбие, доза тщеславия. И этот личностный элемент, когда аплодируют самому оратору, а не тому, **что̀** он говорил, я считаю отрицательным фактором речи, внешним эффектом, формой, отодвигающей содержание. Но у Ленина никакая внешняя аффектация не отодвигала железную логику самого содержания; **воздействие его исключительной личности целиком служило у него силе воздействия самого содержания,** сливалось с ним, и всюду, где я находила в воспоминаниях о нем первые слова подходивших к нему людей после его выступления, эти первые слова были не комплиментами самому оратору (ах, как замечательно вы выступили!), а сразу относились к существу его речи, к тому или иному месту в его речи, выражали свое согласие с ним. Вот что я имела в виду. Политический агитатор не театральный тенор и не эстрадный рассказчик. Ему важно суметь довести свои мысли до аудитории, захватить ими, а не собой, не блеском своего красного словца.

— При написании своей книги «Четыре урока у Ленина» вы старались, как мне кажется, показать Ленина в различных ситуациях общения с людьми. Читатель,

вовлеченный в эти ситуации стремительностью вашего воображения, как бы следует в русле общения, имея, таким образом, возможность вникать в главное — в ход развития мыслей Ильича. Наверное, вы согласитесь, что именно ход развития мыслей Ленина сообщает его речам силу воздействия.

М. С. Шагинян. Да, конечно. «Ход развития мыслей Ленина», как вы хорошо выразились, и есть естественный и великий прием воздействия на слушателя. Ленин с железной логикой, строго последовательно, звено за звеном, не отвлекаясь в сторону, развивает темы своих речей в «ходе своих мыслей». И внимание слушателя удерживает логика этого хода. Как музыканта захватывает развитие симфонии, так на слушателя действует притягательная сила логики Ленина. Смысл его речей всегда ясен, потому что дается — звено за звеном — именно в развитии мысли. И это, кстати сказать, никогда не может быть связано с чисто формальными, внешними приемами красноречия.

Мечтаю написать о Ленине еще одну книгу, рассказать, как научиться читать его, читать с увлечением, наслаждаясь доказательностью и убедительностью его живой, говорящей со страниц речи.

— Ленин и современность — тема грандиозная. Вы сознательно сосредоточили внимание на проблемах коммунистической нравственности, которые, на наш взгляд, сегодня требуют проверки ленинским компасом. Вы подчеркиваете, что в наши дни очень важно, чтобы каждый коммунист не только пропагандировал ленинизм, но и сам жил, претворяя теорию в норму личного поведения. Одно из правил такого нравственного поведения высказано Лениным: слово тоже дело. Что, по вашему мнению, поддерживает престиж слова сегодня, в частности слова, несущего политические и научные знания?

М. С. Шагинян. По-моему, «престиж слова», его авторитет у масс, у трудящихся может создать и поддерживать, во-первых, **правда.** Великая сила **правдивого** высказывания, того, что действительно есть на деле, в практике жизни, в опыте,— только это вызывает высокое уважение у народа, только это создает «престиж слову», заслуживает авторитет слову. На это указывал Ленин:

«Нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»[1].

Во-вторых,— и тут уместно вспомнить другое высказывание Ленина о личном воздействии оратора,— авторитет слову придает **человек, произносящий это слово.** Если **жизнь его не расходится с тем, что он пропагандирует,** если само поведение его привлекает к нему сердца людей, если слово его не расходится с делом, а наоборот, подтверждается этим делом, такому оратору верят, его слушают и за ним идут.

— Вы сомневаетесь в полезности учебников психологии и педагогики. В «Четырех уроках у Ленина» вы написали: «Можно ли научиться пониманию людей и общению с людьми по учебникам психологии и педагогики? Здесь я, пожалуй, разойдусь во мнении со многими». Очевидно, для такого сомнения есть серьезные причины. Чем они вызваны?

М. С. Шагинян. Чем вызваны мои сомнения в пользе учебников психологии и педагогики? Прежде всего — опытом жизни и здравым смыслом. Учебники нужны и полезны, особенно те, которые излагают **историю** предмета (историю педагогических идей, историю психологии как науки). Исторический метод в изложении любой науки — лучший способ усвоения этой науки. Но укажите мне хоть один учебник, научивший Шекспира, Диккенса или Гоголя понимать сложнейшую психологию людей и ярко воспроизводить их в литературе. По учебнику нельзя научиться любить, понимать, чувствовать людей. Великие педагоги не писали учебников. Ян Амос Коменский учил **методике, дидактике, организации, последовательности обучения,** но не давал ключи в руки учителя для вхождения в душу ученика; а вот английская книжечка — смешная, фантастическая, даже на первый взгляд нелепая, ставшая жемчужиной мировой детской литературы,— «Алиса в стране чудес» сразу практически вводит в мир детской души, в своеобразие логики этого мира и дает ключ к общению с ребенком, учит практически, как привлечь его, как подой-

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 54, с. 446.

ти к нему. Ни один учебник не может научить «психологии человека» больше и лучше, чем общение с человеком, жизнь среди людей, внимательное наблюдение и постепенное понимание их характеров. Вооруженный учебником психологии, агитатор и пропагандист может провалиться перед своей аудиторией, потому что «теоретически», «по учебнику» нельзя изучить живую реакцию слушателей и создать контакт с ними. Создание контакта — это взаимодействие, это всегда творческий акт; настоящая **отдача** всегда приведет к **получению**, к мгновенной реакции на **ответ**. Мне кажется, я говорю всем известные вещи.

Хорошие учебники — повторяю — полезны, я их не отвергаю, но польза от них сходит на нет, если не иметь практики, личного опыта, постоянного и заинтересованного общения со своим «материалом». Лучший советский учитель Сухомлинский писал не «учебники», а книги, большей частью лирические. Макаренко не писал учебников, а его повесть «Педагогическая поэма» сыграла колоссальную роль в советской педагогике. Правда, мы говорим здесь не об учителях, а о пропагандистах, агитаторах, лекторах. Спросите у них, как будет реагировать аудитория, если они в своих выступлениях станут приводить цитаты из учебников психологии, а не слова и образы из жизни или художественной литературы или из Ленина.

— Мариэтта Сергеевна, что вы могли бы пожелать молодым лекторам в их стремлении овладеть искусством пропаганды?

М. С. Шагинян. Выступайте перед слушателями не для галочки в графе мероприятий, а по велению души, чтобы передать им то, что вы знаете, во что вы верите; говорите своими словами — без бумажек!

А если вам надо поспорить со слушателями, что-то подтвердить или что-то опровергнуть, но вы не уверены в своих силах, лучше сказать «не знаю», «сам еще не продумал до конца», чем сказать неискренно. Убеждение — вот ваша сила. Утверждайте то, в чем убеждены.

И еще одно могу посоветовать каждому молодому лектору: помните, что один из важнейших элементов человеческой речи с трибуны — это **дикция**. Правильно и отчетливо выговаривать каждое слово, правильно и отчетливо ставить ударение на главном слове — это первая необходимость, чтобы ваша речь была слушателю понятна.

Вспомните, как великий оратор древности Демосфен учился произносить речь, пока не научился говорить чисто и внятно, не проглатывая слов. Надо учиться дикции! В первую очередь. Есть примета: у кого ясный почерк, тот ясно мыслит. Кто внятно произносит слова, тот заставляет себя слушать.

Молодым лекторам полезно поучиться у Ленина, как работать с книгой. Читая, он любил помечать для себя все места, которые привлекли его внимание. Но на библиотечных книгах он пометок не делал, не оставлял «медвежьих ушек» (загнутых верхних уголков страниц). Зато он выписывал цитаты, конспектировал прочитанное в отдельные тетради. И его отношение к читаемому, мгновенные реакции на прочитанное, его мысли и чувства отражены на полях конспектов в огромном количестве пометок, знаков, подчеркиваний, восклицаний, вопросов, просто отдельных слов с двойными восклицательными, вопросительными знаками. Это целый мир мыслей и эмоций. От него веет ленинской силой восприятия читаемой книги. Казалось бы, выписки, цитаты — чужое, написанное другим автором. Но **как** предстают чужие цитаты в записях Ленина! Само чтение этих записей становится школой изучения ленинской мысли, оживающей перед нами в эмоциональных пометках Ленина на полях. За каждой пометкой, знаком внимательный читатель разглядит жест ленинской руки, кивок головы, улыбку удовлетворения или возглас негодования — словом, живое присутствие Ленина.

Конспекты «Философских тетрадей» — это яркий урок, как надо читать книгу, как надо **беседовать** с автором, когда читаешь его книгу.

Беседу вел В. Буткевич.

1978

ЕГО ЖИВОЕ ПРИСУТСТВИЕ

I

Совсем недавно мы отпраздновали столетие, а сейчас уже пришло стодесятилетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Но чем дальше уходят в века годы великой жизни, тем ближе и ближе становится нам он сам. Казалось бы, все меньше в живых его современников, людей, видевших его и слышавших его слово. Но растут поколения, глубже и глубже и далеко заглядывая в будущее, изучающие его жизнь и каждое сказанное им слово. Увеличивается потребность народа в Ленине.

Изучение ленинских материалов ширится с каждым годом. Те, кто следил в последние месяцы за нашей периодикой и за всем, что показывает телевизор, знают, какое огромное место заняла в них ленинская тема. Часами сидели советские люди перед экранами, следя сердцем, как много исследователей, с такими серьезными, хорошими лицами, в архивах и научных кабинетах, наполненных папками, рукописями, обилием печатного и письменного материала, расшифровывают, классифицируют, аннотируют, хронологизируют найденные новые ленинские документы, старые по существу, но только сейчас становящиеся известными. Как благодарны мы этим скромным труженикам за их работу! Она, эта работа, оказывает большую помощь ленинской общественной пропаганде.

По всей стране проходят открытые партийные собрания о том, как жить, работать и бороться по-ленински,— и она, эта кропотливая работа исследователей, вносит свою долю материалов для участников этих собраний. Она внесла новое оживление в музеи, созданные на общественных началах и посвященные революционному прошлому своего города или района — например, в Краснопресненский комсомольский музей, собравший огромный материал о революционной истории комсомола Красной Пресни. Она, эта работа, до известной степени помогает и более углубленной трактовке образа Ленина в литературе, театре, кино и живописи. Возьмем такую деталь, как увеличенный показ ленинского почерка на экране. Этот тонкий, стрельчатый, тесный в своем эко-

помном изяществе почерк, но ясный и понятный для прочтения,— становится нам ближе и родней, чем печатный текст.

Мне кажется, такого прекрасно организованного всенародного общения с Лениным — через архивы, научные институты, искусство, передачи по радио и кино — во всем его большом объеме раньше не было.

Сколько уже найдено, открыто, исследовано, но вот, как свежие весенние ростки, пробиваются к свету знакомые ленинские мысли, оживающие для нас по-новому. И возникает что-то нам неизвестное — в Ленине и о Ленине. Это помогает более полному раскрытию ленинского бытия и характера, подобно мазку на полотне портрета, создаваемого рукою Времени.

II

Уходят современники, оставившие воспоминания о живом присутствии Ленина. Но его живое присутствие не отступает. Оно наполняет мир вокруг нас, становится год от года частью нашей совести. И удивительно то, что возникают новые и новые воспоминания, не попавшие в печать, похожие на легенды, на фольклор, создаваемый любовью к Ленину и действительными фактами, уцелевшими от пересказа первоисточников. С одним таким воспоминанием-легендой я сама познакомилась год назад. Оно бытует среди сестер и врачей глазного отделения больницы, где я лежала. Как известно, Ленин лечил глаза у профессора Авербаха, приходившего к нему со своей ассистенткой. Все, что происходило во время этих визитов в кремлевской квартире Ленина, ассистентка рассказывала своим близким, и оно переходило к молодой профессиональной смене.

В напечатанных воспоминаниях самого Авербаха этого рассказа нет. Но есть редакционная сноска, что эти воспоминания «печатаются в сокращении». Вот рассказ — во всей его глубокой нравственной красоте и схожести с ленинским характером.

Был мокрый осенний вечер. Посетив Ленина, Авербах вышел в переднюю и стал искать свои калоши. Провожавший его Ленин быстро нагнулся и придвинул их Авербаху.

Профессор, растерявшись, никак не мог попасть нос-

ком в калошу, и тогда Владимир Ильич опять помог ему. Авербах смущенно забормотал: «Владимир Ильич, как можно? Что вы делаете?»

«А я так с детства воспитан,— ответил Владимир Ильич,— у нас в семье очень уважали врачей и учителей...»

Вероятно, издатели смутились, как и Авербах, и постеснялись напечатать этот по-настоящему ленинский, вполне свойственный его характеру,— простой и трогательный случай.

И даже если это легенда,— как любят, как понимают Ленина люди, создавшие эту чудесную легенду.

Но вот совсем недавно, в марте 1980 года, мне снова посчастливилось наткнуться на этот раз не на возможную «легенду», а на подлинную находку о Ленине, сделанную, правда, не мной самой, но выписанную друзьями из журнала «Советский экран» (март 1980 года, № 5, страница 8) и присланную мне как подарок ко дню рождения.

...Кинорежиссер Центральной студии документальных фильмов Б. Рычков путешествовал по городам Швейцарии, связанным с именем Ленина. И вот в Женеве он посетил библиотеку, в которой во время своей эмиграции занимался Ленин. И там некий мосье Пико торжественно повел его на третий этаж — этот мосье Пико с 1947 собирал документы, относящиеся к Ленину. Дальше цитирую из статьи Рычкова:

«...протокол приема господина Ленина в члены общества любителей чтения... Вот книги, которыми пользовался Ленин. Например, эту — «История Парижской Коммуны 1871» (автор Лиссагарэ, Париж, 1896) — он держал два месяца».

Поразительная находка! Исследователи Ленина знают, какое огромнейшее значение имела для него Парижская Коммуна. Роль ее в жизни Ленина, в его мышлении, действиях, убеждениях очень велика. Но нашей литературы об этой роли, к сожалению, еще недостаточно. И вот эта маленькая деталь — женевская запись о том, что Ленин, аккуратнейший в своем обращении с библиотечными книгами и в своевременном возврате их в библиотеку, задерживает именно упомянутую выше книгу на целых два месяца, словно жалеет с нею расстаться. Разве не подтверждает лишний раз женевская

библиотечная запись глубокий интерес Владимира Ильича к Парижской Коммуне?

А сколько еще открытий и находок можно нам ждать в будущем!.. Каждый новый штрих, каждая черточка усиливают обаяние великого ленинского образа.

Уходят современники. Но растут потомки, чудесные советские дети, творцы и создатели Ленинских уголков в школах, значение которых (этих уголков) трудно переоценить. Потому что до постижения Ленина разумом как вождя, руководителя, стратега и тактика революции, строителя социализма, зачинателя новой эры мировой истории они пропитываются всем своим сердцем любовью к человеку Ленину, близкому им чистотой, простотой, открытостью, искренностью, отсутствием себялюбия, непосредственностью своих живых реакций, то есть близкой им детскостью своей натуры.

Любовь к Ленину с детства — великая воспитывающая сила. И она — это первое необходимое условие для будущего, чтобы вырастить настоящих ленинцев, деятелей ленинского типа.

1980

О ЛЕНИНСКИХ УГОЛКАХ В НАШИХ ШКОЛАХ

Освоение Ленина разумом — конечно, не детское дело. И ребята сами нашли правильный — начальный — подход к Ленину: освоение его прежде разума — сердцем.

В школьных зданиях, приспособленных к учению, где-то и кто-то первый,— я не знаю истории этого очень простого и естественного для ребят дела,— придумал отвести уголок или комнату — для Ленина. Для его присутствия в школе, где ребята проводят важнейшую половину дня, где они учатся стать людьми, где получают не только знание, но и воспитание, становятся образованными — организованными, готовыми для трудовой жизни.

Началось, может быть, с книг о Ленине, с его портретов, с собственных рисунков самих детей,— плакатов, надписей к фотографиям, с памятных дат, но так, чтоб

это было вещественно, предметно, чтоб знакомые глаза Ленина глядели в глаза детей и чтоб детский труд обязательно был приложен к собранным, уже имеющимся в печати, вещественным материалам о Ленине.

Именно так начиналось, мне кажется, естественное создание Ленинских уголков — из сердечного желания его присутствия. И самое важное в этом было — в выборе места для уголка: не лично для себя, дома, в домашнем уголке где-нибудь — для одного себя. Стихийный выбор места для создания уголка пал именно на школу — как на коллективное владение этим достоянием, коллективную потребность в нем.

Как и всякое «самодеятельное» начинание, и это стихийное детское начинание идет извилистым путем развития. Здесь есть опасность стандартизации (все — под одну гребенку) и опасность беспризорной хаотичности (пустить на самотек). Выработка совершенной, *живой*, отвечающей требованью сердца формы самодеятельности в организации школьных уголков или комнат Ленина — дело глубоко важное, нужное, ответственное. В нем должны принять участие все, кому дороги подрастающие поколения, кому дорого восприятие Ленина детьми.

Мне хотелось бы сказать побольше о двух опасностях в развитии школьных Ленинских уголков, которые сейчас уже начинают кое-где появляться. Прежде всего, как мне кажется,— ошибка (довольно распространенная) — это название таких уголков, по мере их роста — «музеями». Само слово «музей» имеет устойчивый характер, оно говорит о прошлом, об истории и движении в историческом времени. Такое «собрание предметов» в самом названии имеет нечто от государственности, оно говорит о всенародной собственности, о помощи государства, о штатных единицах, то есть о служащих на жалованье. А главное — именно в таком направлении и растет собрание, получившее название «музея». Тут, в детском движении, слово «музей», уже не раз выбираемое школьниками для Ленинских уголков или комнат,— постепенно, на мой взгляд, снижает интимную, воспитательную сущность этих уголков, прививает ребятам особый вид тщеславия, особый вид гордости и даже чувства личной собственности. Я бы посоветовала детям придерживаться названия «уголка», «комнаты»,— и не уходить от освоения Ленина своим сердцем, от своей

детской потребности в его присутствии в школьной жизни. Школьные руководители и сами дети часто обращаются ко всем, кто когда-либо писал о Ленине, имеет воспоминания о нем, какие-нибудь фотографии,— помочь им в организации уголка, прислать книги и фотографии. Люди, имеющие их, с радостью откликаются на эти просьбы. Но вот я была свидетелем, как такие просьбы, обращенные к существующим большим музеям, вызвали особые отклики: пачками рассылаются стандартные комплекты фотографий — одно и то же, одно и то же повсюду. Это, конечно, не плохо, если в далеких городах и селах нашего необъятного Союза школы имеют типовые образцы снимков с сокровищ центральных музеев Ленина. Но плохо, когда школа ими ограничивается, когда исчезает из Ленинских уголков все личное, индивидуально-коллективное,— ведь каждый коллектив индивидуален в своей деятельности. Да и формализуется самый труд по устройству уголков, облегчает эту задачу и для школьников, и для педагогов,— и уходит постепенно присутствие живого Ленина из сердца, из труда школьника. Основным должно, по-моему, остаться личное творчество школьных коллективов по устройству своего Ленинского уголка и творческое умение педагогов помогать освоению Ленина одновременно с движением школьной учебной программы.

Перехожу к самому важному, что мне хотелось бы сказать о главных экспонатах Ленинских уголков, о том, что не только детей, но и нас, взрослых, приобщает к Ленину, к атмосфере Ленина, к его живому, необходимому для нас, воспитывающему присутствию,— *к книге.* Есть много книг о Ленине, написанных для детей. Но почему-то до сих пор не пришло в голову, что ведь лучшая, самая доходчивая и образная литература для детей — это воспоминания о детстве Владимира Ильича, написанные Анной Ильиничной Ульяновой, Марией Ильиничной Ульяновой, Дмитрием Ильичом Ульяновым и — в отрывках — Надеждой Константиновной Крупской.

Эти книги прекрасны и образны, то есть — штрих за штрихом, деталь за деталью — непроизвольно создают живой человеческий образ Ильича — ребенка и школьника, запоминающийся лучше всякого пересказа этих же его черт в произведениях так называемой беллетристики. Эти воспоминания, издаваемые в лучшем случае

с несколькими старыми фотографиями, могли бы печататься крупным шрифтом, на лучших сортах бумаги, с цветными иллюстрациями, с толстой, привлекательной обложкой, с тиражами в миллионы, десятки миллионов. Политиздат сделал прекрасную вещь: издает маленькими книжками, стоящими копейки, отдельные воспоминания об Ильиче, взрослом, гениальном вожде пролетариата. В отдельном виде многие из этих воспоминаний, относящиеся и к поре заграничной эмиграции, и к поре сибирской ссылки, и к поре возвращения Ленина в Россию и последних лет его жизни,— так хороши, так похожи на маленькие «новеллы», так много содержат от внутреннего облика Ленина, содержащегося в его внешних движениях, жестах, словечках, так подчас дышат Лениным и всем неповторимым своеобразием его великой личности, что вам хочется читать и читать эти короткие бесхитростные воспоминания-книжечки, как любимое стихотворение. И что особенно поражает меня в этих рассказах, это впечатление детскости Ильича, мальчишества Ильича в передаче его быстрых движений, реплик, радости, гнева,— как много детского в этом величии Человека! И как это трогательно, дорого сердцу, какое магнитное поле обаяния Ленина раскрывается и захватывает вас от чтения... Почему же не издают этих отдельных книжечек для детского чтения, в оформлении для детей, крупным шрифтом? Да я бы свои собственные книги отложила бы, чтоб дать зеленую дорогу миллионам этих книжек, хранящих в себе — каждая, или почти каждая,— ту или иную из драгоценных черт характера Ленина, обаяния Ленина, того, что осваивается сердцем, открывает путь к освоению Ленина разумом.

Вот эти мысли о развитии Ленинских уголков для грядущих поколений советских людей, чтоб сохранили они, эти грядущие потомки, магнитную стрелку ленинского компаса в сердце,— хочется мне передать перед концом долгой жизни моей как свой вклад в огромное богатство трудовых вкладов нашего трудящегося народа ко дню празднования 110-летия со дня рождения Владимира Ильича.

Март 1980 г.

НЕ УТОПИЯ, А РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ

РАЗГОВОР ДВУХ МАЛЬЧИКОВ

Младший. Все человеки тоже атомные бомбы.
Старший. Откуда ты взял?
Младший. Человеки из материи, а материя из атомов.
Старший. Человеки из клеток!
Младший. Клетки из материи, а материя из атомов.
Старший. Чушь!
Младший. Нет, не чушь! А откуда же тогда у человеков энергия?

ГЛАВА I

На эту тему — сознаюсь — навела меня статья в журнале «Коммунист»[1] о социализме реальном и теоретическом. Выяснить взаимоотношения между тем, что есть в действительности, и его прообразом в теории — задача огромной важности не только для философа. Это задача прежде всего для практики человеческого общества, для целенаправленности действий людей. Но я хочу подойти к ее решению со стороны того исследования, к которому, насколько знаю, еще никто и никогда не прибегал,— исследования отношения Ленина к утопии. Слово «утопия», сейчас так часто употребляющееся, сравнительно недавнего происхождения. Оно вошло в человеческий словарь со времени Томаса Мора, назвавшего «Утопией»[2] свой труд об идеальном людском содружестве, где все одинаковы в своих правах и потребностях, справедливы, равны, свободны,— короче, где общество живет идеально, воплощая в себе высокую идею. Это государство Томас Мор и назвал Утопией[1], что означает место, которого нет на свете. Он этим как бы провел черту неосуществимости между данным и должным, реальным и... существующим только в идее.

Но его «утопизм», так и вошедший в обиход как нечто неосуществимое, невозможное в мире, вовсе не был ни первым, ни последним словом о «городе счастливых»,

[1] Социалистический идеал и реальный социализм.— Журнал «Коммунист», 1979, № 11, июль, с. 11—24.

[2] От *греч.* «топос» — место, «у» — частица отрицания.

хотя выражение «утопия» перешло со времени Мора и на предшествующие сказания (их было немало в глубокой древности), и на последующие труды французов, носящие название утопий,— это уже на пороге нашего времени. Невозможно забыть, вычеркнуть из памяти, что марксизм, по слову Ленина, возник на основе немецкой классической философии (Гегель, Фейербах), английской политэкономии (Адам Смит, Давид Рикардо) и французских социалистов-утопистов (Сен-Симона, Фурье).

Так вот, древнейшие «утопии» были не только мечтами человечества о таком общественном устройстве, при котором все члены общества равны в правах, живут общим трудом и общим благом, а не одним личным благосостоянием, не знают «моего» — «твоего», а лишь «наше»; не только изображали это в идеале, в теории, но все они, эти сказания у восточных народов, у греков, у историков (например, у Диодора Сицилийского, поведавшего нам рассказ Эвгемера) — были убеждением и начинались с указания реального места, которое действительно было, существовало в определенной точке земного шара (большей частью на острове). Особенно много таких рассказов в так называемых описаниях походов Александра Македонского, появившихся почти два тысячелетия назад. Поэм под названием «Александрия» очень много, и большинство их повествует о том, как Александр со своим войском пришел в удивительный город.

Дальше я привожу слова рукописи, то есть подстрочника, сделанного профессором А. К. Арендсом под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР Е. Э. Бертельса[1].

И вот
Показался город, какой-то нарядный,
От добра и богатства он словно рай,
Когда он подъехал к городским воротам,
То в них не увидел дверей из железа, камня
и дерева.

[1] Низами Гянджеви. Искандер-Намэ. Вторая часть «Икбал-Намэ» («Книга о счастье»). Цитируемые мною места взяты из этого подстрочного перевода. Вместе с моими комментариями они были напечатаны как глава из моей книги «Этюды о Низами» в «Известиях Академии наук СССР». Отделение литературы и языка. Т. VI, вып. 4, июль — август. М.—Л., 1947.

Он много лавок нарядных нашел,
Все они были замков лишены.

Жители города ведут его в прекрасный дворец, угощают и отвечают на расспросы. Почему, спрашивает их Искандер, у вас

Такие сады, а в садах нет никого,
...Никто не имеет на дверях замка и запора,
...Стада не имеют сзади чабана,
Ни одного пастуха, а сто тысяч стад?

Жители города говорят Искандеру, что они вовсе не сильны сами по себе, но сильны верой (здесь Низами отдал дань апокрифической легенде о праведниках); однако дальше оказывается, сила их вовсе не в «вере», а в новой общественной этике:

Мы ни на волос не отступаем от правды.
Мы не готовы для фальшивых напевов,
Мы, кроме верности, иного не знаем.
Дверь криводушия мы закрыли на свете.
Лжи не скажем ни в каком отношении,
Извращенного даже ночью не видим во сне.
Мы не просим того, в чем не имеем пользы,
Когда друг слабеет, мы помогаем,
Когда приходит невзгода, мы переносим.
Если из нас кто-либо терпит убыток,
Мы удовлетворяем его из своего кармана,
Богатством своим его поправляем.
Никто из нас не имеет добра больше другого,
Наделены мы все в богатстве своем справедливо,
Равными все мы считаем себя.
И над плачем других не смеемся,
Мы совсем не боимся воров:
Ни воевод у нас нет в городах, ни стражи в деревне.
У прочих людей ничего мы не грабим,
И прочие ничего не грабят у нас.
В домах не имеем замков и запоров,
Нет сторожей у коров и овец.
Мы ни у кого не учились злословию,
Зашиваем глаза на изъяны других,
Если дело случится у кого-либо из нас,
Мы на пользу ему помогаем.
К скверному путь никому не укажем,
Смуты не ищем и крови не льем.
Мы горюем, жалея друг друга,
И в радости тоже друг другу друзья.
Соблазны золота и серебра в счет
У нас тоже не идут: их не применяет никто.
(Выделено мной.— *М. Ш.*)

Люди в этом городе никогда не прибегают к насилию, потому что им не нужны излишки:

Ни у кого зерна ячменного не просим мечом.
Хищные звери от нас не бегут.
Из той совокупности, когда мы их словим,
Мы в дело пускаем, сколько потребно.
Других же, в которых нужды у нас нет,
Мы не берем из долин и степей.

В еде они умеренны:

Мы столько едим горячего и холодного,
Что могли бы съесть еще столько же.
Не умирает никто из нас в юности,
А только старцы, прожившие долго.

Смерть они принимают бесстрашно. Они не двуличны. В их среде лишь тот, кто разделяет их убеждения:

Если умрет кто-нибудь, мы не горюем,
Ведь не достать от той боли лекарства.
Не говорим ничего о ком-либо за спиной,
Чего сказать не дерзнули бы в лицо.
С нами тот из людей оседает,
Кто бывает чист и воздержан, как мы.
Коль он изменит нашему образу жизни,
Он из круга нашего исключается быстро.

Хотя речь идет о городе, где есть лавки и, значит, рынок, жители занимаются, по-видимому, главным образом скотоводством и землепашеством. Пашня у них общая, сторожей вокруг нее нет, работают на ней все вместе:

Семена мы сеем во время посева
И поручаем пашню — питателю.
Мы не ходим вокруг проса и ячменя,
Через шесть месяцев разве, во время уборки.
Нам из того, что на своем месте зреет,
На одно зерно достанется семьсот.

Как видит читатель, это уже не наивная потребительская утопия, характерная для преданий древности; в ней есть намек на общие орудия землепашества, общий труд на полях. Искандер так поражен всем виденным и слышанным, что решил больше никуда не идти:

Больше не буду я мчаться по свету,—
Довольно мне стало того, что скопил я
(в смысле опыта.— *М. Ш.*).

Счета, которому я научился от этих людей.
Если это путь жизни, то на чем стоим мы?
И коль это люди,— кто же тогда мы?
Отправление нас в моря и степи
Для того было нужно, чтоб прийти сюда.
Если бы этот народ я ранее видел,
То не кружил бы вокруг света,
Мой образ жизни не отошел бы от сего обычая.
Кроме этой веры, у меня другой веры не было б.

Искандер, «ликуя, пошел обратно из этого государства».

Здесь Низами дает прекрасный, воистину гомеровский образ, проходящий через все странствия Искандера,— образ массового движения его рати через долину, как цветами усеянную румскими значками:

От значков разноцветных из румского шелка
Вся страна разоделась в шелка из Ваша.

Место, где находится этот «город счастливых», указано поэмой почти точно: на пути в «Хирхиз». И так же точно называется время. Одна из таких «Александрий», старинная рукопись, имеется в библиотеке Петра Великого. Я видела ее несколько лет назад на выставке в Ленинграде. Вообще же в этих сказаниях о городах и землях, где у жителей нет слов «мое» и «твое», а есть только «наше»,— почти всегда указывается их географическое положение. Есть такие сказания и у нас. Идут они от древних христианских апокрифов и от недавних (сравнительно) преданий сектантских поселений в глубинах Алтая, например — в Бухтарме. Часто встречаются в эпосах наших народов — калмыков, киргизов, прекрасно переведенных советскими поэтами на русский язык. Их отделяют друг от друга разные промежутки времени, иногда века, а иногда — десятилетия. Но вот что любопытно: во всех сказаниях неизменно повторяются некоторые общие черты. Это щедрая природа, прекрасный климат, плодоносная земля, кристально чистая, «белая», «солнечная» вода (эпитет «белая», примененный к воде, имеется еще у грека Эвгемера в глубочайшей древности), общинный, коммунальный характер жизни, труда и распределения его продуктов; взаимопомощь; отсутствие учреждений насилия, принужденья.

Хочу еще добавить, что древние формы подобных «коммун» — сравнительно мало изучены историками так называемых «утопий» Запада.

Когда я послала специалисту по европейским утопическим учениям, академику В. П. Волгину, свою «Утопию» Низами из «Этюдов о Низами»,— он ответил письмом, хранящимся в моем архиве:

«Сентябрь 1944 года

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

С большим интересом просмотрел присланный Вами материал. Все это, по-моему, в высокой степени ценно не только для понимания Низами, но и для понимания идеологической истории стран Ближнего Востока вообще. Для меня многое было совершенно ново (но я, конечно, по Востоку читал не так много)...»

Именно Волгин и поместил мою главу «Утопия» Низами» в «Известиях Академии наук СССР».

Всем этим я хочу указать на некоторую неправомерность пущенного Томасом Мором в исторический обиход словечка «утопия». С его легкой руки оно стало обозначать в лучшем случае мечту человека о возможности построить идеально справедливую жизнь на Земле, а в более принятом — нечто выдуманное, нереальное и — главное — не могущее стать реальным. Нет, человечество не только мечтало о практическом воплощении на Земле, среди людей, справедливой, доброй и счастливой жизни. Оно многократно пыталось *создать* такую жизнь, и свидетельства народных эпосов и древних литератур донесли до нашего времени эти попытки.

Пишу все это для того, чтобы подвести читателя к основной своей теме: роли и значению Парижской Коммуны в жизни Ленина и в Октябрьской революции. Ленин ни в какой мере не был утопистом, но верил в существование на Земле возможности для человека жить в реальной коммуне, в реальном равенстве, в реальной справедливости, в новых, социалистических производственных отношениях.

Для Ленина Парижская Коммуна была реальным опытом социалистического переворота в жизни людей, опытом справедливости, равенства, выхода на историческую арену рабочего класса как хозяина истории. *Она была для Ленина местом, которое есть,— местом, которое реально было, опытом, который может повториться.*

О роли и значении Парижской Коммуны в жизни и творчестве Ленина писали очень много, хотя, на мой взгляд, все еще недостаточно.

В художественной литературе мне припоминается только талантливая повесть Э. Казакевича «Синяя тетрадь», в которой автор подходит к работе вождя в Разливе над произведением «Государство и революция», но интересы писателя в этой повести связаны не с Парижской Коммуной.

Парижская Коммуна была для Ленина доказательством возможности создать на Земле справедливую жизнь, возможности воплотить теорию и человеческие идеалы в действительность. В слиянии теории с практикой и коренятся основы большевизма, тот психологический переход знания в убеждение, а убеждения — в неизбежность действия, то самое требование Маркса и Ленина «сломать», а не сохранить старую машину государства, то самое требование, которое резко отмежевывает Ленина и Маркса от меньшевизма и всех видов оппортунизма, характерных для западных теоретиков социал-демократии. И подобные «теоретики» это прекрасно понимают. Недаром в последние десятки лет, стремясь опровергнуть ленинизм и «очистить» Маркса от Ленина, они клевещут на Парижскую Коммуну, утверждая, что она была полна ошибок и склок, малочисленна, что откликов в населении не имела и вообще неправомерно идеализирована большевиками. В этих позорных вылазках против тех, кто жизнью своей подтвердил реальность Коммуны и чьи могилы у стены на кладбище Пер-Лашез постоянно убраны скромными цветами, приносимыми рабочими Парижа и их женами, доходят иногда до откровенного невежества.

В Полном собрании сочинений Ленина масса упоминаний о Парижской Коммуне. В указателе названы тома: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 54.

Посмотрим, как подходит Владимир Ильич к этой теме в первом томе. В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» в 1894 году (т. 1, с. 155) он пишет: «Конечно, если ви-

деть nec plus ultra[1] международной солидарности в системе «справедливого» обмена, как это с мещанской пошлостью размазывает хроникер внутренней жизни в № 2 «Русского Богатства», и не понимать того, что обмен, и справедливый, и несправедливый, всегда предполагает и включает господство буржуазии и что без уничтожения хозяйственной организации, основанной на обмене, невозможно прекращение международных столкновений,— тогда понятно одно зубоскальство[2] по поводу Интернационала. Тогда понятно, что г. Михайловский никак не может вместить той простой истины, что нет иного средства борьбы с национальной ненавистью, как организация и сплочение класса угнетенных для борьбы против класса угнетателей в каждой отдельной стране, как соединение таких национальных рабочих организаций в одну международную рабочию армию для борьбы против международного капитала. Что же касается того, что Интернационал не помешал рабочим резать друг друга, то достаточно напомнить г. Михайловскому события Коммуны, показавшие действительное отношение организованного пролетариата к правящим классам, ведшим войну» (с. 155).

Из этой ранней цитаты о Парижской Коммуне видно, что Ленин еще совсем молодым человеком (писалось в 1894 году!) уже сформулировал разницу между теми политическими направлениями, которые получили впоследствии наименования меньшевизма и большевизма. И тогда же он показал подлинную сущность Парижской Коммуны, свое простое и ясное убеждение в осуществимости ее принципов на Земле.

В 1902 году Ленин пишет свою глубочайшую работу «Что делать?». И в ней говорит уже точнее и определеннее о Парижской Коммуне как о реальном опыте и примере создания нового общественного строя, существовавшего больше двух месяцев: «Где были бы мы теперь без образца английских тред-юнионов и французской политической борьбы рабочих, без того колоссального толчка, который дала в особенности Парижская Коммуна?» (т. 6, с. 26).

---

[1] Крайний предел.— *Ред.*

[2] Ленин имеет в виду буренинские издевательства над Марксом.— *М. Ш.*

Если для будущих революций, по Ленину, английские рабочие тред-юнионы и революционная деятельность французских рабочих служат лишь образцами, создают поучительные примеры организации и борьбы пролетариата, то Парижская Коммуна выходит из их ряда. Она уже колоссальный (какой эпитет!) толчок (какой термин!) к грядущей победе в борьбе, к осуществлению теории на практике. Не только черты стратегии классовой борьбы пролетариата, но и конкретные формы устройства и организации нового общественного строя в Парижской Коммуне были для Ленина реальным опытом, нашедшим свое применение в первые месяцы русской революции 1905 года... Уже накануне ее, в 1903 году в «Речи по вопросу о программе партии» (т. 7, с. 270) имеется третье упоминание о Парижской Коммуне, связанное с большевистским решением вопроса о привлечении или непривлечении крестьянства к движению пролетариата. Вот что говорил Ленин:

«Припомните дальше, что Маркс признавал позднее совершенно правильным утверждение коммунаров, что дело Коммуны есть также дело крестьянства. Повторяю, нельзя сомневаться в том, что при известных условиях переход того или иного слоя трудящихся на сторону пролетариата отнюдь не невозможен. Все дело в том, чтобы точно определить эти условия. И в словах «переходят на точку зрения пролетариата» условие, о котором идет речь, выражено с полной точностью. Именно эти слова ограничивают нас, социал-демократов, самым решительным образом от всяких якобы социалистических течений вообще и от так называемых социалистов-революционеров в особенности».

Здесь вопрос о Парижской Коммуне тесно связывается с воззрениями большевиков, и Ленин употребляет ее пример как вклад в «отграничение» взглядов социал-демократов (большевиков) от всех форм оппортунизма в течениях, называющих себя «социалистическими». До чего поучительно и до чего интересно проследить эту «столбовую дорогу» отношения Ленина к Парижской Коммуне с самых ранних лет его политической деятельности!

И, наконец, в томах 8 и 9 (т. 8, с. 483—493; т. 9, с. 328—330) мы находим уже не отдельные высказывания о Парижской Коммуне, а конспекты и план докладов о

ней в разное время (в связи с годовщиной Коммуны 18 марта). Ленин выступал с этими докладами в Женеве и очень готовился к ним, о чем говорят многие библиотечные свидетельства, сохранившие для нас списки книг, которые он читал, и даже срок, на который задерживал их у себя.

То были, разумеется, книги, написанные по свежему следу Коммуны ее современниками и даже участниками.

Но как произносил он эти речи и как они воздействовали на слушателей, передают нам воспоминания тех, кто на них присутствовал.

Приведу два наиболее, на мой взгляд, характерных воспоминания старой большевички М. М. Эссен и друга Ленина П. Н. Лепешинского.

ГЛАВА III

Время было — 1904-й год. Женева с ее библиотекой и знаменитой улицей — Каружкой (Carouge), как звала ее Надежда Константиновна Крупская. Мария Эссен рассказывает:

«Впервые я увидела его на трибуне в 1904 году в Женеве, когда он делал доклад о Парижской Коммуне. Ленин на трибуне весь преображался. Какой-то весь ладный, подобранный, точно сделанный из одного куска. Вся сила сосредоточена в голосе, в сверкающих глазах, в чеканной стальной фразе. Мне приводилось тогда слышать очень крупных ораторов, которые говорят точно для того, чтобы поразить слушателей, блеснуть яркой фразой, остроумной шуткой, умеют использовать силу и гибкость голоса, плавный жест, красивую позу. Таковы были Плеханов, Жорес, Вандервельде, считавшиеся мировыми ораторами. В их выступлениях было много эффектного, но мне никогда не удавалось отрешиться от впечатления какой-то искусственности их речей. Не то Ленин. Непередаваема сила его речей. В них нет как будто никакого внешнего блеска, они просты и ясны, но, слушая Ленина, забываешь обо всем. Он овладевает слушателем всецело... Другие ораторы восхищают, но слушаешь их точно со стороны,— Ленин зовет к действию...»

Все это еще очень общо и встречается во многих воспоминаниях. Но вот:

«Ленин говорил о Коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Парижская Коммуна встала перед нами, как сверкающая заря новой жизни, как первый опыт рабочих взять власть в свои руки. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее родину, мы увидели героический рабочий класс, взявший на себя защиту отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия, ошибки Коммуны, рассказал о ее гибели. Я до сих пор помню и эту речь, и тот энтузиазм, какой она вызвала. Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская Коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас».

И дальше следует замечательное место, ради которого я привела для читателя всю эту длинную выписку:

«С собрания возвращались небольшой компанией, все были радостно возбуждены. Я спросила Ленина:

— Неужели мы доживем до того времени, когда Коммуна снова встанет в порядок дня?

Ленин встрепенулся.

— А вы сделали такой вывод из моего доклада?! — спросил он.

— Да, и не одна я, а все, кто слушал вас сегодня»[1].

У автора этих воспоминаний несомненный литературный дар, вернее, дар интуитивного схватывания деталей. Она чутко восприняла *реакцию* Ленина на ее слова. Он «встрепенулся». Не только рассудком, но всем существом, всем двигательным своим аппаратом отвечает он на радостное для него сообщение.

Мы в этом месте буквально ощущаем живого Ленина. Встрепенулся — значит, получил важную весть, которая захватила его, овладела им. Он весь в движении. Значит — откликаемся и мы в этом месте — так важно для него, что речь подействовала, как надежда, укрепила убеждение в том, что Коммуна будет, будет, наступит день ее на Земле.

---

[1] Эссен М. Встречи с Лениным. М., Политиздат, 1972, с. 15—17.

Я выражаюсь тут очень косноязычно, хотя остро чувствую особую импульсивность Ленина. Импульсивность не только в реакции на услышанное. Тут же припоминается рассказанное Н. Л. Мещеряковым. Дело было в Брюсселе, где Ленин оказался проездом и надо было вести себя очень осторожно, чтобы не привлечь внимания полиции. Ленин шел с автором воспоминания по улицам чужого города. И вдруг — движенье. Массовое... Люди той волны человеческого протеста, которая называется демонстрацией. Больших усилий стоило Мещерякову удержать Владимира Ильича, порывавшегося присоединиться к толпе...

Здесь тоже реагированье всем существом — такая удивительная, живая, непосредственная реакция на происходящее, присущая Владимиру Ильичу.

У Лепешинского другой характер воспоминания. Он начинает с того, что женевские политэмигранты считали для себя великой честью присутствовать на традиционных выступлениях Владимира Ильича в память Парижской Коммуны. Он описывает эти выступления общими словами. Но в них неожиданно встречается непривычное слово, перекликающееся с воспоминанием М. М. Эссен. Я привожу часть рассказа Лепешинского с тем удивительным словом, о котором сказано выше. Мне бы хотелось, чтоб читатель сам нашел его.

«Двухтысячная толпа напряженно ловила каждое слово оратора. Что-то чувствовалось огромное и пророческое в его пламенной речи. Даже у враждебно настроенных к большевикам слушателей он успевал раздуть в этот момент чуть тлеющие в их душе искорки революционной страсти... А уходя с митинга, даже меньшевики (из числа тех, что были попроще и стояли ближе к низам) охотно признавались: — Да, это именно тот человек, который и в самом деле может стать вождем пролетариата»[1].

Эпитеты «вдохновенный», «пламенный», выше приведенные мною цитаты: «толпа напряженно ловила каждое слово оратора», «Ленин зовет к действию», «говорил о Коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание...» и тому подобные, часто встречающиеся общие характеристи-

[1] Лепешинский П. Н. Ильич о Парижской Коммуне. МОПР, 1925, с. 4—5.

ки ленинских речей читателю очень знакомы. Лепешинский отмечает нечто особенное:

«Что-то чувствовалось огромное и пророческое в его пламенной речи».

Эссен говорит о возможности новой Коммуны в будущем, вызывая этим взволнованную реакцию Ленина.

Лепешинский слышит в словах Ленина о Парижской Коммуне *«что-то пророческое»*. Иначе говоря, речь Ленина, посвященная прошлому, взывает к будущему, к явлению, обещающему *быть,* повториться, реализоваться. Годовщина Коммуны становится не памятью *прошлого,* а предвестием *грядущего.*

ГЛАВА IV

Минуло тринадцать лет со времени этих речей Ленина и огромного впечатления от них у слушателей. Уже прошла революция 1905 года, с проступившими у нее чертами Парижской Коммуны, и была разгромлена царизмом. Наступила буржуазная Февральская революция, уничтожившая царизм. Но не уничтожившая старую машину Российского государства и не улучшившая жизнь народа. Ленин яростно атакует буржуазное правительство Керенского. Наступило лето поворотного 1917 года. И в июле большевики потерпели временное поражение. В те памятные для меня дни я своими ушами слушала на улицах фразу обывателей: «Только идиот может сейчас верить в возвращение большевиков!» Отодвинулась ли в сознании Ленина мысль о Парижской Коммуне? Нет! Есть доказательство, что он жил и вооружал себя ею.

Существует картинка, ее очень часто печатают даже на обложках, она известна у нас ребятам и взрослым. Стоит на поляне аккуратный большой стог сена с пристроенным к нему шалашиком. Рядом на пеньке по-домашнему сидит Ленин с тетрадкой на коленях, в позе спокойно пишущего человека, словно на даче. Многие принимают изображение за фотографию, хотя это не фотография. В путеводителях к этому красивому и спокойному месту под Сестрорецком печатают обычно: здесь, в шалаше, писал Владимир Ильич Ленин свою книгу «Государство и революция». Но перед нами не снимок с действительности, а произведение художника

на историческую тему. На самом деле не в этом, почти курортном, открытом глазу всех косарей и прохожих месте писал одну из гениальнейших книг человечества Ленин, а в густой зеленой рощице за стогом сена. Там Н. А. Емельянов расчистил в кустарнике небольшую площадку — образовалось нечто вроде беседки, невидимой посторонним; здесь за чурбаном, как за столом, смог работать Ленин.

Николай Александрович Емельянов был, как известно, тем большевиком-рабочим, на квартире у которого некоторое время скрывался Ленин. А когда это стало опасно, семья Емельянова переправила Ленина через озеро на сырую поляну, где в то время шел сенокос. Ленина поселили в шалаше, который примыкал вплотную к стогу сена, внутри которого можно было спать...

Почему я придираюсь к красивой, понравившейся детям и взрослым картинке? Не только потому, что она приукрашена и не совсем соответствует действительности. А потому, что она создает благополучный фон двух самых важных, самых драматичных, самых напряженных месяцев в жизни Ленина, в ожидании последнего, решающего боя. Подсахаривает, подслащивает, ослабляет правду о событиях перед самым Октябрем, снижает значение всего, что Ленин пережил.

Когда это было? Точно! Буква в букву! Цифра в цифру,— как ответ на экзамене политграмоты! Это было почти сразу после июльского поражения большевиков, когда на улицах Питера слышалось обывательское — «Большевизму, слава господу,— конец!»

А Временное правительство Керенского именно в эти дни отлично понимало, что далеко не конец! Не будет конца, пока не изловили, не арестовали, не уничтожили Ленина. Только это «спасет» от возврата большевизма! И все было брошено правительством на поимки, арест Владимира Ильича. Все — юнкера, казаки, солдаты, полиция, сыщики, добровольцы из обывателей, пограничники на внутренней линии переходов и переездов на территорию Финляндии, служащие двух сторон — русской и финской. А участок этот кажется таким маленьким, линии перехода так видны, так охраняемы! И в охоту за одним, но единственным в мире человеком была пущена даже знаменитая собака-ищейка Треф.

В примечании к работе Ленина «Государство и ре-

волюция» стоит: «Написано в августе — сентябре 1917 г.». Август — сентябрь 1917 года. Канун Великой Октябрьской социалистической революции.

Каждый советский человек от мала до велика должен, мне кажется, наизусть знать эти два месяца — август и сентябрь 1917 года — и что в этот период произошло, и о чем думал, что делал Ленин. А мы часто не знаем или знаем смутно и поверхностно или — еще хуже — приукрашенно — этот важнейший, драматический кусок ленинской жизни, истории нашей партии. Даже увлекательные, почти «приключенческие», остросюжетные воспоминания Шотмана и Рахьи, а также машиниста Ялавы (у которого на квартире мне удалось лично побывать, и чайку попить за столом, и повыспросить его до последней тонкости!) — даже эти воспоминания не читаем, не перечитываем...

Так что же перетерпел, передумал Владимир Ильич за эти два месяца — самый канун Октябрьской революции? Мы знаем, что он создал «Государство и революцию», рукопись этой книги точно помечена «август — сентябрь 1917 г.». Но при каких условиях, в какой обстановке она создавалась? В биографии Ленина, строго фактической, все базируется на точно изученной «летописи», то есть «днях и делах» Ильича. Однако мы почти не встречаемся с тем, что можно назвать психологической стороной его бытия, почти нет попыток дать почувствовать внутренний мир этой короткой, но поразительно яркой, многогранной, полной огромных контрастов, а в то же время пронизанной, как стрелой, единством волевого устремления жизни.

Особенно заметно отсутствие попытки в жизнеописаниях Ленина дать хотя бы элементарный анализ его переживаний в эти два месяца — август и сентябрь 17-го года. Множество деталей приключенческого характера относительно того, что делали те, кому было поручено партией скрыть Ленина в безопасном месте, но ни слова, даже в воспоминаниях, о том, что он сам переживал и как спасал сам свою драгоценную рукопись на болоте, в лесных дебрях, когда переходил вброд холодную реку...

Не верится, чтобы он отдал ее на хранение, не верится, чтобы он не прятал ее у себя на груди, не нес над головой, перебираясь через реку. Я представляю себе, как полузамерзшего Ленина отогревали на ночевке.

А сам он? Простудился, устал, нервничал? Ничего мы не знаем, как будто и нет ничего в документах. Но невольно возникает мысль, знакомая людям по опыту. В страшных опасностях жизнь человеку спасает не он сам, а нечто заложенное в нем для будущего. Иногда дитя спасает мать, силящуюся его спасти; дерево спасает человека, пожалевшего его срубить,— есть такие эпизоды не только в сказках. И я всерьез думаю, оглядывая памятью всю цепь испытаний, через которые прошел Ленин в эти два месяца, что его спасла от случайнейшей опасности драгоценная рукопись, которую он сам должен был постоянно как-то спасать, чтоб успеть закончить вовремя. Ну, а если вернуться от собственных предположений к тому, что было, то нас привлекает удивительное спокойствие Ленина и поведение его, дисциплинированного члена партии, выполнявшего все, что от него требовала партия, для его спасения.

Разлив, где тогда находился Ленин, становится угрожаемым. Каждый клочок окружавшей его земли был прочесан юнкерами от тропинки к тропинке, как волосок к волоску. Надо было переправить Ленина в Финляндию. Преданные революции финские товарищи были подготовлены: машинист Гуго Ялава на станции Удельная Финляндской железной дороги, Эмиль Кальске — хозяин квартиры, где ночевал Ильич,— и самое надежное убежище — комфортабельная квартира социал-демократа Густава Ровио... главного полицмейстера Гельсингфорса, как тогда по-шведски называли Хельсинки.

Общий план имел уязвимое место. Надо было переправить как-нибудь Владимира Ильича из Разлива в Удельную. Это «как-нибудь» и оказалось слабиной в общей цепи. Разработать в деталях каждый шаг этого «как-нибудь» поручили преданному большевику-рабочему, Николаю Александровичу Емельянову.

Емельянов был местным жителем, наизусть знал все окрестности. План его был... Но я, честно говоря, каждый раз на этом месте сама блуждаю памятью между двумя железными дорогами, финской и русской, и станциями Левашево, Дибуны, Озерки, Удельная, Лахти... тоже финскими и русскими. Короче говоря, поздно вечером выведший Ленина из шалаша знаток местности Емельянов со своими спутниками Эйно Рахьей, Александром Васильевичем Шотманом (с ними был также

Зиновьев) двинулись через болото на Левашево. До него по плану Емельянова сомнительное «как-нибудь» складывалось уже в приблизительные 10—12 верст. (Мы перешли здесь в милое старое исчисление пространства — из холодных вездесущих километров в наши собственные русские версты.) Идут, идут наши ночные путники, верней — не идут, а пробираются через мокрые травы, топкие болота, лесные дебри, нащупывая под собой ногами тропинку, идут версты — и нет Левашева. Оказывается, знаток местности, Емельянов свернул не на ту тропинку, и они заблудились. И тут последовала бурная реакция — Ильич «взорвался», когда, наконец, добрались до станции, но не Левашево, а... Дибуны. Честное слово, и я тут рассвирепела на бедного Емельянова. Представляю себе, как он в смущении почесал голову и стал оправдываться: не на ту тропинку свернул.

Левашево отстояло от Разлива, как я уже сказала, на десять — двенадцать верст. В воспоминаниях указано расстояние Дибунов от финской границы: семь верст. А вот сколько они бродили от Разлива до Дибунов, не знаю. Владимир Ильич всю дорогу возмущался. Опять интересно: не тем, что так легкомысленно подвергали его жизнь опасностям (Емельянов и был арестован юнкерами, а Ленин со спутниками спрятались под откос). Руготня, энергичная ленинская руготня, на которую почти никто не обижался, относилась не к людям, а к *небрежности планирования*. Есть план — изучи до малейшей точности все его детали! Только так можно его выполнить. А без точного знания каждого звена плана — грош цена самому плану.

Все последующие приключения, а их было много — описаны и Шотманом, и Рахьей,— и не только как «перебросили» Владимира Ильича в Финляндию, но и как вернули его назад в Россию. Рахья говорил с ним в поезде по-фински. Ленин отвечал выученными финскими словечками — «да» и «нет», причем по смыслу часто не так, как надо, а наоборот. Но самым надежным средством для укрытия Ленина считался его «грим». Всем парикмахерам Временное правительство через полицию запретило продавать парики без предъявления удостоверения личности. Да и сама покупка их могла бы навлечь на след. Парик удалось получить в парикмахерской по удостоверению театрального кружка финляндских же-

лезнодорожников Выборгской стороны. Сбрили бороду и усы. Достали одежду питерского рабочего. И везде об этом можно прочесть в воспоминаниях: изменился Владимир Ильич до неузнаваемости! Стал совершенно непохож! И здесь мне посчастливилось сделать маленькое открытие.

Фото Ленина в «гриме», в рабочей кепке, безбородое, безусое, сделанное в маленьком формате для фальшивого паспорта. Но в книге «Ленин в воспоминаниях финнов» эта фотография помещена на всю страницу, и мои старые глаза увидели очертания его лица. Под этой фотографией подпись: «Ленин в парике. 1917 г.». Я смутно, внутренним зрением, почувствовала что-то очень знакомое, что-то... Товарищи Ленина восхищались: «Абсолютно неузнаваем!» А я поняла, почему они не узнали в нем настоящего, может быть единственно настоящего Ленина, удивительно похожего на себя самого, «как две капли воды». В те годы не было в ходу, как сейчас, фотографий маленького Володи, гимназиста Ульянова. А коммунисты, помогавшие Ленину «загримироваться», не знали его в детстве и юности, ну, а родственники в эти дни и месяцы не находились поблизости. Надежда Константиновна тоже увидела впервые Ленина уже с усами и бородкой.

Прошу вас, читатель, возьмите фото маленького Володи Ульянова у кресла, на котором, как игрушечная, сидит его младшая сестра Ольга, а сам он в рубашечке и штанишках, неуклюже широких, поскольку Мария Александровна, сама обшивавшая своих маленьких детей, делала одежду им с «припуском» — в расчете и на будущий год. Рядом с этой хорошо известной фотографией положите большое фото Владимира Ульянова в гимназическом мундире, семнадцати лет (подпись под этой фотографией: «Владимир Ульянов — 1887 г.»). И тут же рядышком поместите фото «неузнаваемого»... Дистанция между ними, правда, большая (17—47)... Сорокасемилетнего Ленина остригли, надели на него парик с чуть вьющимися, выглядывающими из-под кепки волосами и сделали его «неузнаваемым» для всех окружающих, а по-моему, тотчас же узнаваемым. Точно таким, каким он выглядел в детстве и ранней молодости,— широкий ясный ленинский лоб из-под волнистой прядки, широкий овал лица, прищур очень проницательных

глаз с едва заметной искоркой детского озорства или юмора,— и главное, главное — характерная нижняя губа, по-детски пухловатая во всех трех разновозрастных фотографиях.

Вот он какой был от рождения, вот что сохранил до сорока семи лет... и вот что (заметим мимоходом) так гениально увидел в нем большой художник слова Максим Горький: великое дитя окаянного мира сего. «Гримировка», верней сказать — возвращение его лица к детскому, юношескому периоду как бы вернуло его к себе самому. Это маленькое «открытие» — сохранение в мудром вожде трудового человечества черточек детства — искорки «озорства», доброй пухловатой губы,— конечно, может быть оспорено. Для меня и последнего моего исследования о Ленине оно важно и нужно: так много чистого, стремительного, непосредственного, оригинально-неповторимо-ленинского проявил он в канун Октября.

В эти два месяца — август — сентябрь, избегая преследования и гибели, он, совершенно забывая о себе, писал свою книгу «Государство и революция». Это было сразу после июльского поражения. Это было тогда, когда еще не наступил Октябрь. Когда еще никакого призрака Советского государства не было. А он писал, он уже писал,— этому трудно поверить, это сверхчеловечно, если учесть всю обстановку, все условия времени и места,— он писал не только о том, какое государство Советов будет создаваться на Земле, но и о том, как именно это государство должно привести к отмиранию всякого государства вообще. Еще и в помине нет Советского государства, а рука его пишет, как именно это Советское государство, развиваясь, приведет к торжеству коммунистического общественного самоуправления. И в мыслях его, в ясном воображении неотступно, как исток его книги, как прогноз, стоит образ Парижской Коммуны.

ГЛАВА V

Это кажется так близко, рукой подать! Остро пережило мое поколение фильм «Карл Маркс. Молодые годы», когда на экране появились люди в цилиндрах, в визитных парах, в рединготах — так близко, так близко,— почти наше время. За несколько десятков лет до рож-

дения Володи Ульянова. Французские книжки о событиях Парижской Коммуны, написанные ее современниками, уж, наверное, были снабжены иллюстрациями этих событий, может быть, дагерротипами славных коммунаров. Мы знаем: Ленин читал их в дни своей эмиграции в библиотеках Женевы и Парижа. Не где-нибудь в далеких песках и оазисах Азии, не в «городе, каком-то нарядном», увиденном Александром Македонским более двух тысяч лет назад... В воображении его, как живые, вставали не люди в каких-нибудь хитонах, туниках, неведомо в чем, но жители административных округов реального Парижа, в пиджаках и брюках, подобных одежде нашего времени...

Он воскликнул в своей книге:

«...*разбить* сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую постепенно сводить на нет всякое чиновничество, это *не* утопия, это — опыт Коммуны, это прямая, очередная задача революционного пролетариата» (т. 33, с. 48—49).

Итак, решительное, взятое у Ленина сильнейшим «выделением» из общего текста *«НЕ»*: Парижская Коммуна — не утопия, она — опыт.

Здесь драгоценно каждое слово. Не утопия, а опыт.

Опыт чего? Реальный практический опыт подлинной социалистической революции. Именно изучению этого опыта, его лозунгов, его практических действий в их неразрывной внутренней связи — глава за главой — посвящает Ленин свою книгу перед тем, как ринуться в великую историческую Октябрьскую битву. И он раз навсегда снимает с Парижской Коммуны всякий налет «утопичности», он определяет точно и ясно: она — реальность, она — не утопия.

Ленин яростно борется против попытки Каутского запизить, взять под сомнение полную реализуемость лозунгов Парижской Коммуны,— Ленин яростно борется вместе с Марксом, цитирует Маркса, излагает свою — ленинскую — позицию, глава за главой раскрывает перед читателем единство программы и практики коммунаров и, не один раз повторяя «мы не утописты», призывает:

«Будем учиться у коммунаров революционной смелости, будем видеть в их практических мерах *намечание* практически-насущных и немедленно-возможных мер и

тогда, *идя таким путем,* мы придем к полному разрушению бюрократизма.

Возможность такого разрушения обеспечена тем, что социализм сократит рабочий день, поднимет *массы* к новой жизни, поставит *большинство* населения в условия, позволяющие *всем* без изъятия выполнять «государственные функции», а это приводит к *полному отмиранию* всякого государства вообще» (там же, с. 117).

Это сгусток мыслей, где повторяется эпитет «практический» и обозначается относящийся ко всему содержанию пунктир пути (Ленин называет его своим собственным словом «намечание»), который ведет к отмиранию всякого вообще государства. Не путать длительный процесс отмирания государственности как таковой, во многом зависящий от внешнеполитических условий и обстоятельств с мгновенным, «сразу», разрушением, сломом прежнего эксплуататорского капиталистического государства. Это — первая практическая мера в результате боевой схватки нового со старым.

Авторитет Маркса! Ленин ссылается на него:

«Маркс вывел из всей истории социализма и политической борьбы, что государство должно будет исчезнуть, что переходной формой его исчезновения (переходом от государства к негосударству) будет «организованный в господствующий класс пролетариат» (там же, с. 56.)

В старых теориях государства (мы еще помним о преподавании их в дореволюционных университетах) исследователи подходили к нему, как к чему-то мистическому («Левиафана» Гоббса).

Ленин одним взмахом покончил с ними.

Он охарактеризовал государство как машину для подавления одного класса другим, имеющую свои начала, историю и предпосылки исчезновения, свидетелем которого явится поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях.

Ленин тщательно изучает все, что писал Маркс о Коммуне, в пронизывающе-ясном свете своей гениальной мысли выбирая нужные цитаты.

«...Первым декретом Коммуны было уничтожение постоянного войска и замена его вооруженным народом... Коммуна образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по различным округам Парижа

городских гласных. Они были ответственные и в любое время сменяемы... Полиция, до сих пор бывшая орудием государственного правительства, была немедленно лишена всех своих политических функций и превращена в ответственный орган Коммуны, сменяемый в любое время... То же самое — чиновники всех остальных отраслей управления... ...коммуна немедленно взялась за то, чтобы сломать орудие духовного угнетения, силу попов... Судейские чины потеряли свою кажущуюся независимость... они должны были впредь избираться открыто, быть ответственными и сменяемыми...» (там же, с. 41—42; см. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 17, с. 342, 343).

Он перечисляет все практические мероприятия Коммуны, явно выделяя среди них то, что и ему кажется главным с точки зрения ликвидации буржуазной государственности. Он пишет:

«Вместо особых учреждений привилегированного меньшинства (привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии), само большинство может непосредственно выполнять это, а чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится надобности в этой власти. Особенно замечательна в этом отношении подчеркиваемая Марксом мера Коммуны: отмена всяких выдач денег на представительство, всяких денежных привилегий чиновникам, сведение платы *всем* должностным лицам в государстве до уровня *«заработной платы рабочего»*... Тут как раз всего нагляднее сказывается *перелом* — от демократии буржуазной к демократии пролетарской, от демократии угнетательской к демократии угнетенных классов, от государства, как *«особой силы»* для подавления определенного класса, к подавлению угнетателей *всеобщей силой* большинства народа, рабочих и крестьян. И именно на этом, особенно наглядном — по вопросу о государстве, пожалуй, наиболее важном пункте уроки Маркса наиболее забыты!» (там же, с. 42—43).

Наши дети и дети наших детей азбучно усвоили тот факт из биографии Ленина, когда он с гневом обрушился на В. Д. Бонч-Бруевича, вздумавшего ему, первому руководителю нашего государства, без его ведома и согласия прибавить к жалованью лишних 300 рублей. Исток этого гнева в том, как Ленин в канун Октября

пишет, что главные «уроки Маркса» были наиболее забыты!

Здесь перед Лениным как бы встал человек. Обыкновенный человек, каких большинство,— разнохарактерных, разноодаренных, разноспособных и разномыслящих,— человек, с которым надо делать дело. Можно ли с ним совершить социалистическую революцию? Меньшевики считали, что для социализма нужна какая-то подготовленная, улучшенная «порода» людей, до которой масса еще не доросла. А что говорит Ленин? «Мы не утописты... Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь...» (там же, с. 49).

«Мы не утописты»,— Ленин открывает нечто вырастающее из глубины большевизма: великую веру в человечество, любовь к человеку, к таким вот, не каким-то особенным, а к теперешним людям, со всеми их недостатками и пороками, потому что именно с такими людьми надо сейчас делать социалистическую революцию. Если Коммуна, больше двух месяцев существовавшая на Земле по закону справедливости и равенства, не утопия, а ОПЫТ, как учит Ленин, то как же надо верить в реальность добра в человеке, во всяком человеке, как надо верить в возможность великого душевного подъема у каждого, как надо любить человечество, как надо верить, что оно способно — пусть медленно, пусть со срывами,— идти к Добру и Справедливости. И оно действительно придет к Добру и Справедливости!

Вот какую атомную энергию источало все существо Ленина в канун Великого Октября.

Но на пути этих рассуждений и лозунгов Парижской Коммуны может встать опять «утопист», скептик, потомок каутских и тех, у кого знание не перешло в убеждение. Он мнется, ежится, ему не по нутру лозунги Парижской Коммуны, уравнение в заработной плате с простым рабочим, ему не хочется открыто противоречить Марксу и Ленину — он бормочет: «Кого вы имеете в виду? Кто согласится нести ответственность — и за подобное жалованье? Мечта! Утопия! Неосуществимо это в действительности!»

Ленин отвечает: «Осуществимо!» И вдохновенные страницы своей книги посвящает учению о *привычке*, о практике привычки, совершающейся ежедневно и ежечасно. Ведь это народ пустил в оборот слова: привыч-

ка — вторая натура. Постоянные действия человеческих масс под знаком мероприятий Коммуны, как вода точит камень, могут изменить характер и свойства прежних людей, столетиями воспитанных в условиях частнособственнической государственности, превратить их в новых людей, коммунаров, созданных полугосударством — уже «негосударством».

Ленин ставит и решает в своей книге много тончайших вопросов социализма, с поразительной глубиной разъясняя разницу между равенством формальным и равенством фактическим, демократизмом формальным и демократизмом фактическим. Этот анализ — одно из глубочайших мест в «Государстве и революции», без понимания которого выпадает из поля зрения читателя и многое другое в книге.

Опять привяжется скептик: ну, вы утверждаете, что короткое бытие реальной Парижской Коммуны может продлиться «еще века, века» на Земле? Что́, наконец, кроме этого двухмесячного опыта Коммуны, вы можете хотя бы сравнить с ней из минувшего?

И тут — верьте не верьте, читатель,— я была потрясена. Так неожиданно, так внезапно, так поразительно было то, что ответил он на этот возможный вопрос утопистов:

ранние христиане...

«Первоначальное христианство с его демократически-революционным духом».

Я говорила об этом неожиданном месте в «Государстве и революции» со многими исследователями. Ни один его не заметил, все сомневались, что есть такое место в трудах Ленина, не верили и отрицали такую возможность. Спрашивали: где? где? Я отвечала: ищите сами.

Прежде чем продолжить мысль Ленина с той же страницы «Государства и революции», напомню конец предыдущего высказывания. Речь там шла о том, что самые важные «уроки Маркса наиболее забыты!». «Забыты», по-моему, потому, что кое-кому из позднейших теоретиков они представлялись неосуществимыми и поэтому устаревшими и наивными.

Перейдем теперь к окончанию цитаты:

Ленин пишет о забвении социалистами радикальных мер равенства, примененных Парижской Коммуной, о забвении этих уроков историками социализма.

«В популярных комментариях — им же несть числа — об этом не говорят, «принято» об этом умалчивать, точно о «наивности», отжившей свое время,— вроде того как христиане, получив положение государственной религии, «забыли» о «наивностях» первоначального христианства с его демократически-революционным духом» (там же, с. 43).

В этой цитате сказано Лениным еще нечто очень ценное: мысль его, облетев тысячелетнее прошлое, дала остережение настоящему. Отчего переродилось и выродилось христианство, напоминавшее в зародыше коммуну? Потому, что оно, «получив положение государственной религии», обретя материальное богатство и духовную монополию, стало придатком эксплуататорского государства, не учло опасности упоения властью, канонизации, утраты связей с породившими его живыми потребностями угнетенных. Какая удивительная смелость *изложения обратных ходов истории!*

Но это лишь мимоходом, лишь в пойманной на ходу мысли. А в общем я слышу тут звук захлопнутых страниц... Довольно! В послесловии к своей удивительной книге, книге не «утописта», по Томасу Мору, а великого революционного преобразователя, верящего в человечество, Ленин скажет:

«...приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать» (там же, с. 120).

Но и после того, как он «проделал» социалистическую революцию и уже стоит во главе Советского государства, он вновь обращается мыслью к Парижской Коммуне: «В наших Советах еще масса грубого, недоделанного, это не подлежит сомнению, это ясно всякому, кто присматривался к их работе, но что в них важно, что исторически ценно, что представляет шаг вперед во всемирном развитии социализма — это то, что здесь создан новый тип государства. В Парижской Коммуне это было на несколько недель, в одном городе, без сознания того, что делали. Коммуны не понимали те, кто ее творил, они творили гениальным чутьем проснувшихся масс, и ни одна фракция французских социалистов не сознавала, что она делает. Мы находимся в условиях, когда, благодаря тому, что мы стоим на плечах Парижской Коммуны и многолетнего развития немецкой социал-демократии, мы можем ясно видеть, что мы дела-

ем, создавая Советскую власть» (Полн. собр. соч., т. 36, с. 50).

На плечах Парижской Коммуны!

ГЛАВА VI
Заключительная (Pro domo sua[1])

Я пережила Октябрьский переворот уже зрелым человеком, мне было тридцать лет. Пережила его, к счастью для себя, вместе со всем народом, а не с московской и петербургской тогдашней интеллигенцией, не с буржуазной писательской средой, ослабевшей от голода, февральского правительственного хаоса, непонимания того, что происходит, потери подлинного чутья истории.

Революции делаются не только политические. В революционном взрыве огромную роль играет нравственная потребность человечества в Правде, Справедливости, Добре на Земле. Когда говорят о Ленине только как о политике, забывают колоссальную нравственную силу, какую вложил он в Октябрьскую революцию. Нравственную силу веры его в человечество и в человека. Обаяние именно этой нравственной силы влекло к нему массу, делало его любимым вождем народа. Великий гуманизм Ленина звучит в политических формулах «Государства и революции» даже в выборе слов, какими Ленин их излагает. Вместо постоянных повторений «рабочий класс», «классовая борьба» какой теплотой ложатся на сердце читателя его частые употребления простых слов: «угнетенные», «угнетатели», «бедные», «богатенькие» — деление на классы, язык политики в этих качественных определениях обретает доходчивость и образность, читатель видит перед собою живых людей и нравственное отношение к ним. Сквозь политику светит подлинный гуманизм. Я пишу это потому, что мне в то время большевизм был близок и дорог не только как радикальное политическое направление,— он привлекал меня своей глубокой человечностью. Поэтому для меня Октябрьская революция была великим счастьем, счастьем победы Справедливости и Добра на Земле. Я считаю большой удачей для себя, что встретила Октябрь, застряв во вре-

[1] В защиту себя и своих дел *(лат.)* — буквально «за свой дом».

мя войны 1914 года в городе моей матери Нахичевани-на-Дону, когда возвращалась из Гейдельбергского университета в Россию через южную нашу границу. Это был пригород большого рабочего, революционно настроенного города Ростова-на-Дону. После того как на севере произошла Октябрьская революция, мы на юге оказались под властью деникинщины. Почему я пишу — это было удачей для меня? Потому что мое прежнее окружение, буржуазные поэты и писатели Петербурга и Москвы, часть тех, в среде которых я находилась, встретили Октябрьскую революцию непониманием того, что она внесла в мир, отсутствием подлинного чутья истории, ожесточением и враждебностью. Мы же на юге, и моя тамошняя среда в чудовищной атмосфере последних судорог отжившего строя, его гнусностей и жестокостей, ждали переворота как спасения и освобождения. Мы ждали его активно. У нас были подпольные кружки, мы встречались с рабочими пролетарского Темерникского района. К нам доходили иногда запретные большевистские издания. Я много раз писала позднее, какую огромную роль сыграло для нас первое чтение «Двенадцати» Блока...

Когда Октябрь хоть с опозданием, но дошел до нас, это было переживанием самого огромного счастья в моей долгой жизни. Трудно описать состояние этого счастья, выпавшего на долю нашего поколения. Далекие потомки будут завидовать нам, что мы были современниками этого чуда — Октября. Есть на языке человечества не то медицинское, не то психологическое, не то философское слово: «эйфория». Оно говорит о величайшем, предельно высоком подъеме в человеке лучших качеств, как бы полном обмене в нем веществ, полном, лишенном всяких других оттенков, чувстве освобождения, совершенной легкости, словно чьи-то тяжелые, железные лапы вдруг сняты с твоих плеч и тебя не покидает летящее, пронизывающее ощущение абсолютной правды, абсолютной свободы, обретенного счастья, где нет ни «я», ни «ты», а есть целое — человечество,— и ты в нем, ты — оно... Вот так было пережито мною и моим поколением единомышленников чудо Октябрьской революции.

Как жаль, что еще нет в искусстве и в литературе могучих средств — для передачи нашим потомкам воздуха Октябрьской революции, полноты, чистоты, беско-

рыстия этого Счастья, свежести и подъема этой атмосферы Великого Октября.

Не знаю, могут ли это понять до последней глубины теоретики в науке, художники в искусстве, в том числе работающие над образом Ленина, сами не пережив такое «мгновенье-вечность». Но отблеск его прошел по всему человечеству. Он создал для людей новый эталон Добра и Счастья. Его ощутили все угнетенные. Сколько государств пошло на нас тогда войной, чтобы сохранить власть эксплуататоров, обветшалое человеческое устройство. Мы были голодные, истощенные, уставшие, изнемогающие от пережитых войн! Но мы были согреты огнем Октября. И нравственное величие свершенного нашим народом зажигало сердца рабочих и лучших людей из старого мира. И они отказывались помогать своим государствам в их намерении удушить нас, они не хотели ковать против нас оружие, портовые рабочие отказывались его грузить, моряки отказывались возить его, солдаты отказывались стрелять в сердце революции... Мы победили тогда своим Нравственным Величием, отсутствием всего показного, светом всего Истинного. Это было время, когда Теория полностью сомкнулась с Практикой,— две параллельные встретились, Идея и Действительность слились в Одно.

Ленин говорил, что не надо ждать какого-то улучшения человеческой породы для свершения социалистической революции. Он говорил, что эту революцию надо делать сейчас, с теми людьми, какие есть,— реальными, а не какими-то «улучшенными». И наше поколение было свидетелем того, как эти обыкновенные люди, со всеми их слабостями, перерождались, как и мы сами, у всех на глазах в новых, настоящих людей. От воздуха Октябрьского переворота, от счастья, принесенного им, от свободы нашего дыхания, нашего порыва, от чувства полета в плечах, с которых свалилась тяжелая лапа железной бесчеловечности старых производственных отношений. Вспоминая первые годы советского строительства, сперва — на юге — в Ростове, где я была инструктором ткацкого дела, лектором на курсах повышения производительности рабочего труда, письмоводителем сельсовета в армянском селе Чалтырь (под Ростовом-на-Дону), и потом в любимом Питере и Москве, куда я вернулась, уже получив опыт новой, советской работы с ра-

бочими и крестьянами. Я стала по-настоящему отдавать свое народившееся новое понимание, свой трудовой опыт народу в профессиональном труде писателя. И тут мне пришлось наблюдать медленное и неуклонное тяготение нового, социалистического строя к будущему, к коммунизму. Если социализм развивается правильно, если объективные условия в мире не препятствуют этому правильному развитию, то в нем неизбежно начинают проступать пусть небольшие, но несомненные коммунистические тенденции. Формула Маркса и Ленина о том, что социализм неизбежно перерастет в коммунизм, стала осуществляться на глазах народа. Помню, как эта тенденция проявлялась в первых начинаниях двадцатых годов. Простейшая вещь — жилье человека, архитектура. Первые пробы советских архитекторов. Есть в Москве, в проезде Художественного театра, дом номер два, где мы, писатели, получили наши первые советские квартиры. Маленькими были эти квартиры — две комнатки, ванная и кухонька. Но внизу — шло практическое продолжение нашей «частной жизни» в жизнь общественную. Там находилась просторная общая прачечная, где все было приспособлено для стирки. И жильцы всех квартир приходили туда со своим бельем, знакомились, дружили, спорили, то есть общались, работая коллективно. Там внизу был «красный уголок», комната для домкома с библиотечкой первых книг о коммунизме, была там и комната с воспитательницей для детей, которых еще негде было оставить матерям, уходящим на первую советскую службу. И это воспитывало, это выращивало у наших детей простое и доброе чувство коллективности.

Наш первый комсомол — каким был он, наш ранний комсомол! Это сейчас кажется той самой «наивностью», устаревшей для существующих ныне скептиков, наивностью, пробужденной к реальной жизни и глубоко чтимой Лениным в его книге «Государство и революция»: строгость и чистота нравственного поведения, презрение к показухе, к тщеславию, к погоне за соблазнами прошлого, к девушкам, красившим свои живые и здоровые лица, свои свежие губы, свои упругие молодые волосы... Комсомол — с его любовью к труду и коллективизму, с его помощью товарищам в беде и в учебе, с его страстью к науке... А наука была трудна для этой первой

молодежи из народа, недаром родился тогда чудовищный афоризм: «грызть гранит науки». Но какой интерес к знанию, какое увлечение наукой у этих первенцев октябрьского поколения! Есть у меня коротенькая запись в дневнике того времени. Я была в одном из частных санаториев города Луги, под Питером. Хозяином санатория был известный врач-невропатолог. (Такие частные уголки еще существовали в ранние октябрьские годы, они помогали нашему строю.) И этот врач как-то сказал мне: «Вы не представляете, до чего много среди молодежи сейчас нервнобольных, от огромного умственного перенапряжения на учебе». А я записала в дневнике: «Но сердце мое наполнилось не жалостью, а *нежностью к этим*. Как стремятся они к науке! Какая разница между ними и прежними «белоподкладочниками», которым науку совали в рот, а они отплевывались. А *эти*, первые из народа, наконец-то пробились к праву читать, учиться, к драгоценной для них науке».

А милая, родная «новая советская интеллигенция»,— новая и из старых кадров, с энтузиазмом начавших свою новую работу! Счастье передавать народу знания, которые имеешь! Особенно привлекала меня работа тогдашних библиотекарей, радио- и киноинформаторов, лекторов, педагогов, ставших советскими энтузиастами (их было немало!). Помню, я лежала больная в одной из советских больниц,— они в те годы почти все были одинаковы, как и вся бытовая наша жизнь, имея, как казалось, драгоценные черты фактического, а не формального равенства. Тогда меня радостно удивило новшество: к каждой больничной койке были прикреплены радионаушники. Это было новым достижением технического прогресса, гордостью наших больниц. Каждая вводила их по примеру другой. Я надела наушники и услышала живой, радостный — мне хочется сказать «цветущий» — голос немолодой женщины, слегка захлебывавшийся от удовольствия передачи знания: она рассказывала о жизни французского композитора Бизе, о провале его гениальной оперы «Кармен», о его трагедии, а потом мировой славе этой замечательной оперы. Сама я об этом давно знала, и знала гораздо шире и глубже. Но у меня было ощущение яркой новизны — новизны того, как это говорилось и для кого говорилось. У меня потекли невольные слезы — какая милая, чудная эта по-

жилая женщина, делящаяся своим знанием с простым народом, счастливая от того, что она может передать людям, и у нее есть что передать...

Недалекие и не умеющие жить — жить не мещански-обеспеченно, сыто-расчетливо, растительно-прагматически, а подлинно человечески, творчески, видя в другом человеке продолжение самого себя,— люди скажут: устаревшие наивности... А мы жили в великом, растущем в будущее, в коммунизм мире этих «наивностей», мы были счастливы. И я уверена, что первая советская литература, рождавшаяся из сердца писателей Сейфуллиной, Серафимовича, Фурманова, Фадеева, Панферова, Гладкова, Шолохова,— создавалась с чувством понимания того, что принес нам Октябрь. Мы были близки тогда к полному пониманию лозунга — «От каждого по способностям, каждому по потребностям», потому что в этом лозунге скрыто величайшее Счастье отдачи!

Так пусть живет память о чуде Октябрьской революции, свершенном на нашей Земле, действительном, а не воображаемом, о чуде слияния теории и практики не как утопии, а как величайшего человеческого опыта.

23 октября 1980 г.

КАК Я РАБОТАЛА НАД «СЕМЬЕЙ УЛЬЯНОВЫХ»

I

У советских писателей первого поколения не было, мне кажется, *случайного* рождения темы. Каждая книга возникала у нас из глубокой и почти общей для всех потребности. Так, в первой половине двадцатых годов мы все чувствовали органическую потребность писать о гражданской войне, потому что мы ее почти все пережили,— в разных концах страны, при несхожих обстоятельствах, но в одном и том же лагере борцов. И мы писали о гражданской войне, от Серафимовича до Малышкина, писали по-разному, но с одним внутренним звучанием. Потом пришла первая пятилетка, и опять почти все наше первое поколение советских писателей почувствовало *потребность* писать о новостройках. Опять по-разному,— в стиле,

интонации, характере языка, ритме его,— стали мы создавать книги на одном и том же материале новостроек, от наивного первого романа Вигдоровича о Волховстрое до изощренного Бруно Ясенского, от скромного северного пейзажа до среднеазиатской экзотики. Мы отражали в этом разнообразном потоке книг какие-то общие каноны, особый типаж, особые конфликты, присущие новому общественному строю в раннюю пору его становления. Все было органично в нашей молодой литературе, потому что, повторяю, возникло из потребности, а потребность рождалась самой жизнью: мы день за днем жили вместе со своей страной. Как-то в одной из своих речей Фидель Кастро сказал: «...в душе каждого из нас живет история...»[1] Это совершенно точно. Делающие историю носят ее в себе. Наши советские книги рождались в этом смысле *исторически*.

Для меня с первых дней революции наша история была связана с образом Ленина. Я почти ничего о нем не знала, не была марксисткой, но обаяние Ленина захватило меня с первых же дней Октября. Захватило печатавшимися в «Правде» ленинскими лозунгами. После двусмысленных, не получавших никакого практического развития политических выступлений Временного правительства,— это были удивительные по прямоте и точности постановления — о мире, о земле крестьянам, о национализации промышленности, железных дорог, почты, банков... И не только точность и прямизна этих лозунгов захватили меня, но мгновенное претворение их в жизнь. Воистину стало ясно: «есть такая партия», есть сила, превратившая слово в дело.

Месяц за месяцем, год за годом я стала жадно читать Ленина. Когда появилось первое издание его Сочинений в желтоватом картонном переплете, на тогдашней жиденькой бумаге, я начала читать с первого тома и, надо честно признаться, разочаровалась.

Кончив философский факультет до революции, я привыкла к постепенному и последовательному изложению содержания в его старой логической форме, а тут меня встретила диалектика содержания, как бы непрерывный спор с противниками его идей. Это разбивало мое внимание и затрудняло изучение самих идей Ленина, отстаивае-

---

[1] «Правда», 1963, 23 апреля.

мых в споре. Странным образом мне помогло понять Ленина мое знание «Диалогов» Платона, «Логики» Гегеля и, наконец, одной из любимейших моих книг далекого прошлого: «Бесед о торговле зерном» аббата Галиани. Там истина тоже ищется и рождается в споре. У Гегеля в «Логике» в его знаменитой «триаде» (тезиса, антитезиса и синтеза) даны были основы той великой диалектики, которая получила свое развитие у Маркса и Ленина. Уже много позднее я поняла всю глубину сказанного Лениным об идеалистической философии как одном из трех источников марксизма.

Находясь в начале 1923 года в санатории ЦеКУБУ[1] в тогдашнем Детском Селе (б. Царском), где моя палата была рядом с палатой Александры Михайловны Калмыковой, я получила письмо из Москвы от редактора журнала «Красная новь» А. Г. Воронского.

Вот это письмо:

> Тов. Шагинян!
>
> Был бы очень рад, если бы Вы смогли дать продолжение «Перемены» к 15 апреля, как Вы пишете мне в открытке. Очень плохо и худо, что Вы продолжаете болеть. Очевидно, нужно основательно Вам отдохнуть. Как Вы живете в материальном отношении? Дела «Красной нови» и «Круга» идут прекрасно. Номер с продолжением «Перемены» выходит на днях. Вышлю. «Круг» работает также очень интенсивно. Выпускаем книг много и недурно. Расходятся они очень хорошо. Ваша «Перемена» пользуется большим успехом. Да, забыл: знаете, очень Ваши вещи нравятся тов. Ленину. Он как-то об этом говорил Сталину, а Сталин мне. К сожалению, тов. Ленин тоже болен, и серьезно. Ну, пока всего хорошего. Выздоравливайте. Привет.
>
> *А. Воронский*
>
> *19—17/III-23 г.*

Это письмо было решающим в моей жизни. Я почувствовала внутренний долг, высокую духовную потребность писать о самом Ленине, дать его живой образ для будущих поколений. Так родились мои первые работы о Ленине, а

[1] ЦеКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

потом, с начала тридцатых годов, творческие исследования о Ленине стали моей жизненной темой. Мной был задуман большой эпос об истоках того нравственного мира, той духовной атмосферы, в которой зародилось и развивалось учение Ленина. Время, когда начиналась моя работа над «Семьей Ульяновых», было для работы и очень трудным и очень благодарным. Многие, кто сейчас берется писать о детстве и юности Ленина, просто и представить себе не могут, чем это было для нас, писателей, в начале тридцатых годов. Ближайшие родные Ленина — сестра Мария Ильинична и младший брат Дмитрий Ильич, и верная его спутница Надежда Константиновна Крупская, с которыми я была хорошо знакома,— были еще живы. То, о чем мы собирались писать и что хотели воссоздать путем изучения источников и силою творческого воображения, они знали и несли в себе, как музыкант — свой абсолютный слух. Малейшая фальшь коробила их, и они с величайшей строгостью следили за тем неуловимым, неопределимым в слове, что зовется «точностью тона», абсолютной верностью передачи интонации и атмосферы, в которой рос Ильич. Без их разрешения ни одного слова в печать не пропускалось. Такой корректив был, разумеется, великим счастьем для писателя; но он же создавал для него и трудности, подчас непреодолимые.

Не только ближайшие родные были тогда еще живы. Были свежи для исследователя и многие реальные следы, по которым восстанавливалось прошлое. По Волге, в больших приволжских городах, и по глубинкам России, от Сызрани до Пензы, где на каждом шагу встречают путешественника литературные памятники,— поместья и музеи, связанные с Карамзиным, Пушкиным, Чаадаевым, Лермонтовым, Белинским, Языковым, Гончаровым,— сохранилось множество свидетельств, драгоценных для биографов Ленина. Живы были немногие из славной когорты «ульяновцев» — так звали народных учителей, подготовленных отцом Ленина, Ильей Николаевичем, и работавших под его руководством. Жив был учитель детей Ульяновых, Василий Калашников. Жили еще в Сурске — том самом Сурске, бывшем Промзине, школу которого посещал Илья Николаевич,— старики Зайцевы,— у народного учителя Зайцева Илья Николаевич останавливался при своих наездах. В пензенской библиотеке сохранился на старом документе автограф Ильи Николаевича; в Кокуш-

кине, под Казанью, еще живы были старушки крестьянки, помнившие «дохтура и барышень» Бланк, а в самом Симбирске — Ульяновске — кое-кто из одноклассников Володи-гимназиста и племянник той самой «ученой фельдшерицы», которая принимала новорожденного Ильича у Марии Александровны. Я застала еще в живых даже чопорного старого дворянина, который, будучи гимназистом, вместе со своим братом состоял одно время нахлебником у Марии Александровны и жил в доме Ульяновых. Все это надо было объехать, отыскать, выспросить, записать. Из всего этого надо было суметь отобрать самое достоверное и тщательно проверить по тому безошибочному «камертону», какой давался нам для «настройки» наших перьев на правильный тон Марией Ильиничной, Дмитрием Ильичом и Надеждой Константиновной. И, наконец, нужно было уметь безжалостно отсекать за недостоверность даже очень яркие, очень соблазнительные материалы, если они не получали одобрения младших Ульяновых и Надежды Константиновны.

Когда я начала писать о семье Ульяновых, решила ограничиться одной книгой, доведя ее до выпускных экзаменов Владимира Ильича в Симбирской гимназии, и хотела назвать эту книгу «Билет по истории», но впоследствии книга моя разрослась в тетралогию, а под названием «Билет по истории» была мною написана только часть предполагаемого романа. Сейчас же тетралогия названа «Семья Ульяновых», в которую вошли: «Рождение сына», «Первая Всероссийская», «Билет по истории», «Четыре урока у Ленина».

В первом варианте моего романа-хроники «Билет по истории» (сейчас, после доработки, он называется «Рождение сына») — всего четыре печатных листа, но писала я его четыре года. А если считать все, что позднее обдумывалось, прочитывалось, набрасывалось и много лет спустя вылилось в исправления и дополнения в размере добавочных трех печатных листов,— то и все двадцать лет. Я не считаю это большим сроком. Не считаю большим сроком и всю мою профессиональную жизнь, основная работа которой была посвящена Ленину.

Но есть еще одно, принципиально важное, что необходимо было учесть в самом начале моей работы. Многие романисты, советские и зарубежные, принимаясь за так называемый «исторический роман», думают, что основная

их задача — это стилизация. Чтоб воскресить эпоху, к которой относится действие романа, они часто погружаются в словесные особенности этой эпохи, возрождают архаизмы — вышедшие из употребления отдельные слова, синтаксис в его устаревших оборотах, гоняются за деталями, за формой одежды, приводят события, вычитанные из газет,— словом, добросовестно воспроизводят обстановку, а своих героев заставляют подчиняться этой стилизованной обстановке примерно так, как актеры на сцене подчиняются условиям рампы и расстановке декораций. Этот привкус преднамеренного переноса читателя в «прошедшее время» настолько силен, что вы начинаете чувствовать в чтении это «прошедшее время» именно как прошедшее, как устаревшее, как давно уже пережитое и вместе со своим собственным чувством вкладываете примерно такие же чувствования и в героев читаемого романа. В их речи все время сохраняется нарочитость, как если б с помощью стилизованного синтаксиса, подобного надутому воздухом спасательному поясу, они искусственно удерживались на поверхности навязанного им прошедшего времени. Читая порою даже очень талантливые романы, вы постоянно ощущаете, что герои, которым авторы вкладывают в сердце и душу ультрамодернистские чувства и афоризмы в оболочке ультрастилизованных архаизмов, прекрасно сознают, что живут в «прошедшем» времени. Я так подробно останавливаюсь на подобных приемах писания «исторических романов» потому, что считаю их *в корне порочными*.

Чтоб правильно представить историческую эпоху, которую вы хотите изобразить, вы должны на время совершенно забыть всякую стилизацию, всякую музейность, то есть отбросить материальные детали, устаревшие особенности речи, вышедшие из употребления одежду и обстановку, а начать с самого человека — с героя своей повести, для которого его время и есть то настоящее, современное время, каким для вас является наше время. Вы должны остро почувствовать своего героя именно в его отношении к своему сегодняшему дню. Подобно тому, как для вас в вашей эпохе нет ничего, что было бы похоже на стилизацию, а есть сама жизнь в ее течении вперед и вперед,— и острое чувство новизны, как ежеминутный подъем ноги при каждом шаге, ведет вас по пути этой жизни — подобно такому вашему бытию и бытие вашего героя было для него ежеминутным шагом в будущее, и вся материальная куль-

тура его времени была для него современной, отлично выражающей последние достижения человеческой мысли, отвечающей его вкусу.

Если для вас сейчас паровоз Стефенсона, скажем, представляется смешным, громоздким музейным экспонатом, то для человека того времени он был выражением передовой научной мысли и воплощением передовой техники. И надо суметь передать исторического человека в исторической обстановке его эпохи, именно в этом естественном и необходимом ощущении «настоящего времени», «презенса», как говорят учебники немецкого языка — *настоящего* времени, в каком он, как на краю горизонта, на переднем фронте истории, сейчас и живет. Именно «сейчас». Без этого «сейчас» в обстановке, в психологии, в языке, в самоощущении, в политическом, общественном и всяком другом рефлексе нет естественного живого человека, какой бы эпохи он ни был и в каком бы периоде истории вы его ни изображали. И только поймав и воплотив в своем воображении вот это человеческое «сейчас» своего героя, вы должны начать наращивание вокруг него строго исторических конкретностей языка, одежды, материальной культуры, способов передвижения и всего прочего. Работа историка должна начаться для вас лишь *после* того, как вы сумели у действующих лиц вашего будущего романа найти и определить «сейчасное» ощущение эпохи...

На одной из бесед с молодыми рабочими-авторами мне был задан вопрос: а как это сделать практически? С чего начать это делать? В ответ я рассказала, с чего началось у меня *понимание* этого необходимейшего процесса творческого воображения. Я читала стихи Ломоносова. Он был дорог мне в проявлениях своей мысли, дорог во всем величии сделанного им для русской науки, и стихи его я читала не для удовольствия и даже не как стихи, а чтоб познакомиться с этой стороной его многогранной деятельности. Стихи попались без заглавия, полемические. Видимо, отвечая какому-то консерватору, Ломоносов отвергал и высмеивал его требования сохранить почтенные архаизмы русского языка. Ломоносов ратовал за новый, облегченный язык, исходя из принципов вокалистики, напевности, легкости для произношения. Вот эти стихи, довольно краткие в собрании длинных од и стихотворных писем:

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
Дабы на букве А всех доле остояться;

На Е, на О притом умеренность иметь;
Чрез У и через И с поспешностью лететь,
Чтоб оным нежному была приятность слуху,
А сими не принесть несносной скуки уху.
Великая Москва в языке толь нежна,
Что А произносить за О велит она.
В музы́ке что распев, то над словами сила;
Природа нас блюсти закон сей научила.
Без силы *бе́реги,* но с силой *берега́,*
И *сне́ги* без нея, мы говорим *снега́.*
Довольно кажут нам толь ясные дово́ды,
Что ищет наш язык везде от И свободы.
Или уж стало *иль; коли* уж стало *коль;*
Изволи ныне все уже твердят *изволь.*
За *спиши спишь,* и спать мы говорим за *спати,*
На что же, Трисотин, к нам тянешь И некстати?
Напрасно злобный сей ты предприял совет,
Чтоб, льстя тебе, когда российский принял свет,
Свиные визги вси и дикии и злыи
И истинныи ти, и лживы и кривыи.
Язы́ка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота.
От яду твоего он сам себя избавит
И, вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит
Скончать твой скверный визг стонанием совы,
Негодным в русский стих и пропастным увы![1]

На первый взгляд эти стихи сами показались мне глубоко архаичными и уже трудными для понимания; например, надо было догадываться, что под «силой» Ломоносов разумел ударение, а слово «доводы» у него надо читать как «дово̀ды», а прилагательное «негодный», употребляемое у нас с предлогом «для» или «к» чему-нибудь, у него пишется с предлогом «в» — «во что». Но я прочитала все стихотворение второй и третий раз, и вдруг оно сделалось прозрачным, как стихи Пушкина. Ломоносов борется за передовой язык своего времени, смеется над книжными архаистами, желающими сохранить летописную велеречивость старинного произношения, и смело поддерживает новое. Старики крепко держатся за свое длинное и медленное И, заканчивающее глаголы: спати, держати, быти; они привыкли к величавым ударениям на первом слоге: бре́ги, сне́ги, придающим женственный оттенок этим словам. Но Ломоносов — живой, передовой, глубоко современный человек — ощущает свое время в его движении вперед; он не утратил великой жизненной способности

[1] Ломоносов М. В. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия. М., «Советский писатель», 1954, с. 296.

чувствовать и схватывать новое и бороться за него. И он стоит за более современные, облегченные речевые формы, за мягкий знак вместо длинного И: спать, быть, изволь; за ударение на конце, а не на первом слоге: берега́, снега́. Ломоносов пишет: «Без силы бе́реги, но с силой берега́». И сразу язык становится быстрей, жизненней, крепче, современней. Целая эстетика встает в этом изумительном стихотворении!

Мы говорим *«снега»*... Заметьте — *говорим*. Ломоносов как бы противопоставляет разговорную, устную речь, этот вечный источник обновления литературной речи,— письменным, книжным формам. И он советует учиться у певцов, у музыки, показывающих в песне, какая гласная буква произносится естественней и легче: искусные певцы, пишет он, всегда предпочитают букву А букве О, и ссылается на Москву:

Великая Москва в языке толь нежна,
Что А произносить за О велит она.

Какая борьба передо мной в этом стихотворении — борьба с прошлым за будущее!

«Историческое время» эпохи Ломоносова раскололось на два понятия — фронта и тыла, передового и отсталого. И человек, если он носитель нового, если он у фронта истории, борец за передовое, за движение вперед, он всегда чувствует свое время как настоящее, и его нельзя изображать стилизованно.

Автор, становись рядом с ним в его борьбе за новое, займи конкретную *позицию* в изображаемой тобою эпохе,— и ты тотчас же попадешь в реальную стихию времени, будешь чувствовать и видеть в том же сегодняшнем дне истории, в каком видел и чувствовал их твой герой.

Так примерно ответила я на вопрос моих слушателей. И так именно, с таким уважением к позиции моих героев и полностью разделяя ее, вступила я в историческое время шестидесятых и семидесятых годов прошлого столетия, начав свою работу над «Семьей Ульяновых».

Это был опыт, предшествовавший началу работы над романом. Но уже в самом процессе ее образовался понемножку второй опыт, который и стал влиять на мою работу как некоторое направляющее начало.

Дело в том, что, войдя в атмосферу семьи Ульяновых, почувствовав историческое время и среду с позиции этой

семьи, глазами и обычаями ее, я не могла не заметить удивительной *нормальности* этой семьи, той нормальности, которая уже переходит в *нормативность*. Что это значит, я сейчас расскажу более подробно.

Мы привыкли считать естественными и присущими человеку положительные вещи — правдивость, нравственную чистоту и доброту, семейную дружбу и любовь, уважение детей к родителям, внимание родителей к детям, наличие в семье начал воспитывающих, организующих, служащих добрым примером. Эти качества представляются нам как нормальное положение вещей в настоящей, хорошей, нормальной семье. Но фактически в полном и безоговорочном своем виде оно встречается не так часто. Можно — без боязни отступить от правды — сказать даже, что оно встречается крайне редко. Но если такое положение вещей действительно встречается без малейшего отклонения от нормы, то мы можем смотреть на такую семью как на образец, как на отдельное конкретное проявление черт общечеловеческих, черт, необходимых для общества. И потому нормальное, выраженное в самой полной, безоговорочной форме, приобретает черты норматива, чего-то, что можно выдвинуть как пример для подражания, как образец прекрасного, по которому хочется равняться и в атмосфере которого хочется жить.

Нормативное, подобно голосу совести в человеке, не индивидуально, то есть не заключено в одном-единственном человеке, как только его, и его одного, собственное достояние. Напротив, в отдельных, единичных проявлениях, оно присуще всем, может проявиться у каждого человека, стоит перед всеми как достижимая цель, многими испытано, пережито, передумано мысленно, представляется в воображении как желанное,— пусть не всегда, а лишь изредка, и пусть не реализованное, а только в мечте или помысле.

Начав изучать жизнь отца и матери Ленина со времени их знакомства, последовательно идя с ними по всем событиям их семейной и общественной жизни, переездам по службе отца, домашней работе и деятельности матери, рождению детей, фактам их детства, причем не только *идя* с ними, но и все время *пребывая* в их атмосфере, в их среде, на их общественно-исторической позиции, я неотступно ощущала высокую нравственную норму, неотступно жила под воздействием этой нормы, и мне на каж-

дом шагу открывалась *общечеловечность* того, что я считала *личной* историей семьи Ульяновых. Понятно, что в творческой моей работе над этой историей очень сильна была (и она усиливалась с каждой страницей) неизбежная тенденция это общечеловеческое *подчеркивать* и делать *явным* для читателя.

Вот предварительное объяснение, необходимое для рассказа о моей работе.

II

Сбор материала для меня очень длинная и трудоемкая процедура, потому что я ничего не держу в своей памяти (не обременяю ее), а вношу в тетради. Каждую прочитанную книгу обязательно конспектирую. В тетрадях для записей хоть и трудно сразу найти нужное, но все же легче, чем загромождать память сотнями тысяч прочитанных страниц. Кроме того, я ввожу облегчающий порядок — не только в тетрадях с конспектами, но и в некоторых дневниках: пишу на последней их странице «содержание» с точным перечислением, где, в каком месте, что и о чем у меня сказано, а страницы тетрадей предварительно перенумеровываю.

Библиография всего этого многообразного чтения тоже не лежит в готовом виде на столе. Обычно она разветвляется, как дерево, в самом процессе чтения,— это, впрочем, знакомо каждому аккуратному посетителю больших библиотек.

Мне нужно было прочитать комплекты «Симбирских губернских ведомостей» за несколько лет, комплекты столичных газет и журналов за те же годы, общие исторические обзоры эпохи и отдельных событий этой эпохи. Я прочитала также все то, что стоит на полках кабинета Ильи Николаевича, то есть в основном педагогическую литературу двух десятилетий.

В этом чтении меня ожидало много сюрпризов и даже открытий: например, очень большое значение для Ильи Николаевича речи Лобачевского о педагогике, речи, вообще мало известной широкому читателю, а в биографиях Ильи Николаевича никогда не упоминавшейся, или огромное воздействие на его методику и на его общие принципы «Великой дидактики» Яна Амоса Ко̀менского. Но особенно интересным открытием был для меня «Журнал Министерства народного просвещения». Мы привыкли думать, что

все в прошлом было нехорошо и что из дореволюционной периодики только оппозиционно настроенные журналы стоило читать, а уж про ведомственные, да еще министерские, и говорить нечего. Поэтому я заказала в библиотеке этот министерский орган просто по обязанности: для хронологии нужных мне событий — учительских съездов, перечня земских школ, назначений и фамилий учителей. Открыла его — и поразилась.

С 1859 года во главе этого официального журнала стал крупнейший русский педагог и замечательный мыслитель Константин Дмитриевич Ушинский. Помощником его много лет работал такой педагог и популяризатор, как Сергей Иринеевич Миропольский, написавший хорошую работу о Коменском, прекрасную статью о музыкальном образовании в России и Западной Европе, учебник хорового пения и т. д. Многое передовое в педагогике (а педагогика в шестидесятых годах имела на Руси просто замечательных представителей, взять хотя бы деятельность барона Н. А. Корфа в Александровском уезде Екатеринославской губернии!), многое нужное и полезное для народного образования находило место в этом журнале. Представляю себе, как им зачитывались люди типа Ильи Николаевича Ульянова! Этот журнал, как и сочинения самого Ушинского, и протоколы земских училищных советов барона Корфа помогли мне нащупать главную проблематику второго этапа деятельности Ильи Николаевича Ульянова в симбирский период. О ней тоже никогда и нигде в его биографиях не упомянуто, а между тем не знать о ней — значит не иметь главного ключа к трагическим последним годам службы Ильи Николаевича. В своей первой книжке «Рождение сына» я коснулась ее вскользь, но во второй книге «Первая Всероссийская» она занимает центральное место. Скажу здесь об этом лишь несколько слов.

Начало шестидесятых годов и первые пореформенные годы в России были годами робкого, но тем не менее окрыленного надеждами рождения и роста *общественных* учреждений в деревне. Это были медовые месяцы земства. Частной инициативе для устройства сельских школ был открыт путь, а для контроля и помощи этим школам начали работать при земстве так называемые училищные советы, особенно яркие и плодотворные при александровском земстве, где действовал барон Корф, один из самых передовых практиков русского школьного дела. Но царское пра-

вительство боялось роста и расширения земства и общественной инициативы. В то время как после великой реформы шестьдесят первого года — отмены крепостного права — и земство и новый суд присяжных неизбежно начали проявлять тенденции к децентрализации, царское правительство наперекор этой тенденции стало создавать новые централизующие государственные институты, со служебными постами и с ответственностью перед министерством, учебным округом и т. п. Таким институтом, против которого передовые школьные деятели (а Корф даже печатно!) выступали с явным осуждением, был и новый институт инспекции и дирекции народных училищ. Илья Николаевич Ульянов был назначен первым из инспекторов Симбирской губернии. В обязанность инспекторов и директоров входили контроль, проверка и донесение не только о постановке школьного дела в губерниях, но и о политической «благонадежности» учителей и общественных деятелей, связанных с народной школой. Отсюда роковая для Ильи Николаевича двойственность в его должности: с одной стороны, открытый доступ к народу, возможность действенной борьбы за развитие и улучшение школьного дела, с другой — тяжкое ярмо «охранной» функции и все более суживавшиеся возможности просветительной работы. Отсюда и трагически нарастающее, тяжелое неудовлетворение службой... В воспоминаниях и Анны Ильиничны, и Марии Ильиничны говорится о «растущей реакции» и о тяжелых переживаниях Ильи Николаевича, но не указана сама проблемная сторона работы инспектора и директора. А это очень важно понять, чтобы оценить все, что сумел и успел сделать хорошего Илья Николаевич в отмеренных ему тесных рамках.

За книгами и газетами в процессе собирания материалов шел архив. Мне пришлось основательно поработать в архивах городов Пензы, Ульяновска и Астрахани. В последней кое-какие документы Архива Калмыцкой АССР открывались работниками прямо при мне. К сожалению, этот архив, видимо, сильно пострадал во время Отечественной войны и после нее, так что многие виденные, переписанные и переснятые мной в тридцатых годах документы и старые фотографии сейчас утеряны. Во всяком случае, новые работники архива запрашивали меня о фотографиях могильного памятника брата Ильи Николаевича, Василия Николаевича, и их отца. Но и ар-

хивные исследования, требующие огромного терпения, времени и тяжелой нагрузки для глаз, были пустяком по сравнению с тем, что оказалось для меня самой нужной и самой срочной работой,— с разыскиванием, опросами, записями рассказов тех, еще бывших живыми современников семьи Ульяновых, кто своими глазами видел маленького Володю в кругу его семьи, слышал его живую детскую речь, мог сообщить черточки из быта семьи, ее обстановки, режима дня. Много сил потребовалось, чтоб восстановить все относившееся к гимназии, где учился Ильич, узнать фамилии и характеристики его учителей, проследить путь, каким шел он каждый день из дома в гимназию по старым улицам Симбирска. Эта работа была так тщательно сделана с помощью одной из неутомимых, прекрасных работниц Дома-музея Ленина в Ульяновске, Анны Григорьевны Медведевой, ныне покойной, что затем мы создали по этому маршруту особую экскурсию для посетителей музея.

В Ульяновске я прожила две с половиной зимы, занимая в городской гостинице своеобразную квартиру под самой крышей. С первых же месяцев работа в городе сблизила меня с местными работниками газеты, обкома партии, прекрасной Ульяновской библиотеки, картинной галереи. При мне прошла интереснейшая пушкинская конференция в селе Кременках, устроенная и самостоятельно проведенная колхозниками (см. об этом мою статью «Три речи о Пушкине»); при мне вышел город в помощь деревне на уборку хлеба, и я была прикреплена к большой группе работниц швейной фабрики, с которыми несколько дней вязала снопы, а вечером составляла и вывешивала нашу полевую газету.

Много было пережито за это время в Ульяновске, а главное — большие пространства изъезжены. В зимнюю распутицу (чтоб ближе к условиям далеких лет и трудностям работы Ильи Николаевича!) ездила я на разного вида транспорте, подчас и на дровнях, по тем деревенькам, а ныне колхозам, и теми дорогами, которыми ездил в свое время инспектор народных училищ, собирая крестьянские сходы, агитируя их на строительство школ, а потом открывая эти школы и помогая учителям в их нуждах, добывая для них учебники, школьную мебель, карты, тетради, вводя стальные перья вместо уже выходивших из употребления гусиных. Надо было все дороги «пощупать» своими ногами, все пересмотреть своими глазами, чтоб предста-

вить себе не только работу Ильи Николаевича, но и прелесть этой работы, огонь, которым горела его душа.

Так была проделана очень сложная и трудная поездка в бывшее село Промзино (ныне районный центр Сурск), где часто бывал инспектор (см. очерк «Поездка в Сурск»). Немало времени взяла и Казань, вместе с поездкой в Кокушкино и опросом крестьян. Особняком стояла Пенза — место встречи и любви родителей Ленина. Множество блокнотов, исписанных карандашом, хранится у меня с той поры, в них заключены живые речи тех, кто помнил семью Ульяновых, но уже многих из моих собеседников тех лет нет на свете. Карандаш в этих блокнотах почти стерся, читать записи трудновато, но все это был материал для второй книги «Первая Всероссийская», так же как и старые фотографии и письма ульяновцев — старых народных учителей, воспитанных Ильей Николаевичем.

Материал, медленно накапливавшийся таким «полевым» способом, был сам настолько сюжетен, что подсказал мне жанр, каким следовало его организовать при «камеральной» обработке. Я не зря употребляю термины геологии — «полевой», «камеральный». Нет, кажется, ни одной вещи у меня, малой или большой по объему, которая не прошла бы предварительно «полевой стадии», то есть путешествия на место действия, изучения реальной среды, прежде чем я могла запереться в комнате и взяться за перо. Жанр, подсказанный собранным материалом, был хроникой, но хроникой романической; он сразу лег большим многоцветным полотном; семья — но на фоне эпохи; личные события — но связанные с событиями общественными и историческими. Такой жанр требовал колоссального труда и огромной затраты творческого воображения,— того абсолютно точного творческого воображения, с помощью которого удается по разрозненным деталям восстановить целое. Когда пишешь исторический роман, который без творческого воображения вообще создать нельзя, надо помнить о главнейшем художественном требовании. Не важно, был или нет в действительности рассказанный мелкий факт (в моем случае, например, игра в «звезды» в начале романа), но абсолютно важно и необходимо, чтоб он *мог* произойти. Воображать, верней, довоображать по разрозненным деталям общий рисунок случая, о котором вы хотите рассказать читателю, как о реально бывшем, надо так, чтоб он действительно мог

произойти, и даже, в данных обстоятельствах, не мог не произойти и чтоб современники, прочитав о нем, сказали: это в духе характера, в стиле эпохи, это более чем достоверно,— это убедительно. Таким творческим воображением, связующим детали в целое, обладали великие археологи прошлого, разгадывавшие письмена глубокой древности. Таким творческим воображением должны обладать и художники, берясь за воссоздание прошлого.

Большим счастьем в выполнении этой творческой задачи я считаю для себя общение с тремя близкими Владимиру Ильичу людьми — Надеждой Константиновной Крупской, Марией Ильиничной Ульяновой и Дмитрием Ильичом Ульяновым. Как я уже писала выше, они помогли мне в работе, каждый по-своему.

Надежда Константиновна была строгим рецензентом первого варианта «Семьи Ульяновых», посланного ей редакцией журнала «Красная новь» в рукописи. Важные критические замечания ее, от первого до последнего, послужили для меня не только указателями переработки рукописи, но и вехами всей дальнейшей работы. Мария Ильинична, незадолго до своей смерти узнав о начатом мною труде, прислала мне в Ульяновск из Кремля письмо, имеющее огромное значение для всех, кто берется за тему о Ленине. В этом письме она предупреждала, как опасно доверяться всевозможным мнимым «воспоминаниям» людей, которые в те далекие годы, при постигшем семью Ульяновых несчастье (гибели Александра Ильича), сторонились от нее всячески, а после Октябрьской революции оказались нежными родственниками. Что касается младшего брата Ленина, Дмитрия Ильича, то с ним у меня также были и переписка, и личные встречи. Однажды он даже прислал мне письмо, в котором спрашивал, знаю ли я точно, кто были крестные восприемники Ленина. Привожу полностью письмо Дмитрия Ильича.

> «Ульяновск. Музей имени В. И. Ленина. Мариэтте Сергеевне тов. Шагинян. Ульянов Д. И. ст. Ленинская, Ряз.-Урал. ж. дор., Горки, дом Ленина 1939 года января 13-го.
>
> Уважаемая Мариэтта Сергеевна!
>
> Во 1-ых, довожу до В/сведения, что по радио ст. Коминтерн будут по моей заявке исполнены отрывки из оперы «Аскольдова могила» на рояле 20-го [января] 1939 года в 7 вечера, которую

исполняла в Симбирске Мария Александровна Ульянова очень часто. Вероятно, Вы и музей прослушаете это с большим интересом.

Во 2-ых, у меня к Вам большая просьба: сообщите, кто был восприемником Володи при крещении его. Мне помнится, что это была Назарьева, *имя и отчество я не помню*. Напишите мне, пожалуйста, а также, в какой деревне жили Назарьевы, он был там мировым посредником, и как его звали. Кажется, у них были отец и мать с маленьким Володей, с Олей и со мной.

Пожалуйста, не откажите сообщить мне, что Вам известно по этому поводу. Крепко жму руку.

С ком.приветом.

Ваш *Дм. Ульянов.*

Адрес — ст. Ленинская по Рязано-Уральской жел. дор., Горки, дом Ленина, Д.И.Ул-ву.

Буду весьма признателен за Ваш ответ».

Я ответила Дмитрию Ильичу, что крестным отцом Владимира Ильича был управляющий удельной конторой А. Ф. Белокрысенко, симбирский друг их семейства. Любопытно, что вопросы такого порядка, а также просьбы уточнить что-либо я стала получать даже от учреждений, например от Ленинградского архива, относительно петербургского адреса Ольги Ильиничны. Люди знали, что я работаю уже не один год над материалами семьи Ульяновых, и посылали мне такие письма.

Но об участии в моей работе членов семьи Владимира Ильича хочу рассказать подробнее.

III

Выросли целые поколения советских людей, не видевших лично ни одного из близких членов семьи Ленина. Между тем это были люди одного с ним склада и духа, и, находясь около них, вы лучше и легче понимали, что такое атмосфера Ленина, особенность его присутствия.

Анны Ильиничны я никогда не знала. Но с Надеждой Константиновной мне пришлось встречаться с начала тридцатых годов. Она ходила очень по-русски, в кофточке навыпуск и юбке, гладко зачесывая назад волосы, обнажавшие ее большой выпуклый лоб. Фотографии передают ее облик, в общем, очень схоже. Голос у нее был негромкий,

но если вы не сразу могли ее расслышать (а я уже и в те годы почти лишилась слуха), она это тотчас же замечала и повторяла сказанное, стараясь произносить раздельно каждый слог. Однажды я ее увидела на курорте (если память мне не изменяет — в Кисловодске, на площадке роз), в кругу знакомых женщин-коммунисток, рядом с Марией Ильиничной, бывшей еще не такой серебряно-седой, как в последние годы ее жизни. Они сидели рядом, а справа и слева, на полукруге скамеек, вплотную к ним — женщины. И перед ними, теснясь к ним, стояли люди. Я тоже подошла поближе, но вдруг почувствовала, как внутри меня словно все ходуном пошло от смущения: «Что сказать? О чем спросить? Удобно ли навязывать себя им, когда они обе на отдыхе?» Но тут Мария Ильинична заметила меня, узнала (должно быть, по «Правде», куда я ей носила свою статью «Производственная пропаганда и кино») и кивнула, слегка подвинувшись, словно приглашая сесть. Вот так мы, все женщины, и посидели вокруг этих двух, все время ощущая как бы невидимое присутствие Ильича.

Позднее я уже так не стеснялась, особенно когда начала свою работу. Незадолго до этого Мария Ильинична пригласила меня к себе, в «бюро жалоб», которое она называла «университетом Ильича». Туда приходило множество самых разных людей со своими горестями и обидами, подчас трудно разбираемыми. Но сестра Ильича и подобранные ею хорошие и внимательные к человеческим нуждам сотрудники разбирались в каждом деле досконально и тотчас помогали. «Писатели нас знать не хотят, обходят наше учреждение,— сказала мне Мария Ильинична.— А следует написать об этой форме работы, она очень нужная, очень ленинская. Присмотритесь к ней». И я действительно присмотрелась с пользой для себя и описала ее позднее (см. статью «Университет Ильича»). Как уже было сказано выше, 22 сентября 1936 года Мария Ильинична отправила мне в Ульяновск письмо. Написанное незадолго до ее смерти, оно может (и должно) быть рассматриваемо чем-то вроде завещания любимой младшей сестры Ленина, «Маняши», как он ее ласково звал в письмах, обращенного ко всем, кто хочет работать над прошлым семьи Ульяновых. Вот это письмо:

«Дорогой товарищ.

Я не знала, что Вы в Ульяновске, когда заезжала туда на несколько часов, и поэтому не могла спра-

виться о Вас и повидать Вас. Что касается задуманной Вами работы, то хочу предупредить Вас об одном: очень мало можно доверять тем рассказам, которые исходят о Владимире Ильиче и нашей семье от большинства его современников. В том я убедилась, когда читала их «воспоминания», написанные для разных изданий. В большинстве случаев воспоминатели высасывают из пальца, выдумывают. Не думаю, чтобы здесь была какая-нибудь злостная цель — с тех пор, как мы жили на Волге, прошло столько лет, что у людей действительность может перемешиваться с вымыслом. Как бы то ни было, нельзя брать за чистую монету те рассказы, которые исходят от многих и очень многих лиц. Чтобы не быть голословной, скажу следующее. Весной нынешнего года нам с братом несколько недель пришлось сидеть за чтением двух огромных папок с воспоминаниями, собранными каким-то сотрудником Профиздата, объехавшим приволжские города и опросившим многих лиц. Что это был за ужас. Боюсь точно указать процент выкинутого и зачеркнутого нами, но, вероятно, не ошибусь, определив его в 80—90%. Берегитесь всех этих Нефедьевых, которые выдают себя за друзей Владимира Ильича, «нянь», которых появилось теперь несметное количество, наших двоюродных сестер, которые были далеки от нас до революции, потому что боялись сношений с нами, а теперь пишут многочисленные воспоминания, которые, кроме вреда, ничего принести не могут, потому что рисуют и В.И. и других в ложном свете. Жаль, что Вы не видали упоминаемые мною папки. Вам, вероятно, не пришлось бы тратить порой зря времени. Некоторые из «воспоминаний» (того же Нефедьева, например) были в свое время опубликованы, и ими многие пользуются, считая их за истинные факты. В одной вовремя задержанной книге, кажется, Зильберштейна, было много таких воспоминаний, в том числе и гимназических товарищей В.И. Мы с Анной Ильиничной настояли тогда перед Институтом Ленина, чтобы книга была задержана. Немало сомнительных воспоминаний нашла я недавно в рукописях сестры с ее пометками: «ерунда»

и т. п. Составляя книгу «Материалы к биографии Ленина», Зильберштейн подошел к этому делу совершенно некритически (да и трудно, я думаю, человеку со стороны оценить часто, что было в действительности и что высасывается из пальца).

Между прочим, Вы задаете мне некоторые вопросы, ответы на которые можно найти в моей книжке «Отец Владимира Ильича» — видели ли Вы ее?

Так как Вы пишете, что скоро будете в Москве, я предпочитаю устно передать Вам свои соображения и ответить на Ваши вопросы, но не могла удержаться, чтобы не послать Вам этого предупреждения.

Относительно Дома-музея Вы правы, ругалась я уже с Рабичевым, но пока мало чего добилась.

Всего хорошего. Шлю сердечный привет.

Ульянова».

Приведу также и письмо-рецензию, присланную мне Надеждой Константиновной в ответ на черновик первого варианта «Семьи Ульяновых», о которой я уже писала в воспоминаниях о Надежде Константиновне.

«Тов. Шагинян, третьего дня получила Вашу рукопись «Билет по истории» и прочла ее.

Признаться сказать — я очень против романов, повестей, сценариев из жизни Ильича. Как ни старается писатель, у него обычно получается не образ Ильича, живого Ильича, а образ какого-то другого человека, а главное — искажается и эпоха. Я обычно ворчу ужасно. Обычно получается затемнение личности Ильича... С некоторой боязнью приступила и к чтению Вашей рукописи... Пишущие воспоминания пишут их обычно несколько односторонне. Читая Вашу рукопись, я почувствовала, насколько правильно подошли Вы к вопросу. Пожалуй, только опытный писатель может на основе изучения материалов дать картину той эпохи. Это имеет большое значение и с точки зрения исторической. Мне понравился не только Ваш замысел, но и сама рукопись...»

Далее следуют указания и поправки общего и частного характера, имевшие решающее значение для моей работы. Вторая часть первого варианта, то есть симбирский период, понравилась Надежде Константиновне меньше первой, то есть пензенской и нижегородской, и я ее радикально переработала. Конкретные указания (их было восемь) я тщательно продумала и осуществила. Главное было о личности Ильи Николаевича, которого в первом варианте я дала чересчур аполитичным. Надежда Константиновна указала на ошибочность такой трактовки:

> «На стр. 49 Вы пишете: «Он не был политиком, не имел вкуса к политике, он тяготел к мирной, честной трудовой жизни, верил, что можно вести ее в любых условиях, исподволь направляя и улучшая жизнь». Сказать, что И.Н. не был политиком, можно, но данная Вами характеристика слишком смела, и вряд ли соответствует истине и противоречит даже тому, что Вы пишете. А потом, в 60-е годы «политика» была не то, что в годы позднейшие. Нельзя так характеризовать Илью Николаевича. Неправильна вся 51 стр., где Вы изображаете Илью Николаевича как противника революц[ионного] движения».

Эти указания Надежды Константиновны послужили для меня ключом к поискам и воплощению образа отца Ленина.

Еще в большей степени помогли мне правильно понять и почувствовать атмосферу семидесятых годов следующие замечательные слова Надежды Константиновны. Цитируя мою фразу «длился последний отблеск подъема пережитых шестидесятых годов», Надежда Константиновна писала:

> «...семидесятые годы нельзя характеризовать как годы, когда революц[ионное] движение затихло, оно пошло только другими путями, в других формах. Влияние 60-х годов наложило глубочайшую печать и на всю дальнейшую историю».

Остальные замечания касались отдельных стилистических промахов, главным образом экзотики терминов, где я писала об «азиатской крови» Ильи Николаевича, но я восприняла их не только как указания по отдель-

ному поводу. Мне стало ясно, насколько «биологическое» в биографиях членов семьи Ленина второстепенно по своему значению по сравнению с социологическим. После письма-рецензии Н. К. Крупской я постаралась именно в этом духе переработать первый вариант романа, с одной стороны, доведя стилистически его речь до наивозможно простой формы и убрав литературную экзотику, с другой — дав на первом плане место историко-социологическому фактору.

Обращаю внимание читателя на маленький как будто факт. Безмерно занятая, загруженная делами и обязанностями, уже серьезно больная, Надежда Константиновна «третьего дня получает» чужую рукопись, в течение двух дней прочитывает ее и сразу же садится отвечать, причем дает детальный разбор всего, что требует в рукописи поправок. Вот это, собственно, и есть *ленинская* черта в самых близких ему людях.

Но подруга Ильича не только разобрала мою рукопись и сделала нужные критические замечания. Как раз в те дни один из ульяновцев, народный учитель, воспитанный в школе Ильи Николаевича и испытавший на себе его большое моральное воздействие, прислал об этом подробный рассказ Надежде Константиновне. Видно было, что бесхитростное, но очень яркое воспоминание старика об отце Ленина не только понравилось Надежде Константиновне, но и увлекло ее, пробудив в ней охоту написать об этом статью или как-то литературно использовать его. Кое-что в рукописи было поправлено ее рукой, последняя строчка дописана. Этот материал Надежда Константиновна приложила к своей рецензии и написала мне, что посылает его на мое усмотрение,— он может пригодиться в моей работе над образом отца Ильича. Позднее в своих «Воспоминаниях» и она использовала его. Думаю, что второй такой рецензии на рукопись автора, какую посчастливилось мне получить от Надежды Константиновны, наверное, не имеет ни один советский писатель.

Дмитрий Ильич последние годы жизни был тяжело болен. Он жил с семьей в Горках, прикованный к креслу. Когда появилась моя книжка «Семья Ульяновых» в печати, он дал на нее очень теплую рецензию («Известия», 1938, 24 марта), целиком перепечатанную в ульяновской газете «Пролетарский путь» от 2 апреля

1938 года, в день моего пятидесятилетия. Вот эта рецензия:

«Роман о семье Ульяновых

Дм. Ульянов

Исключительно ответственную и благодарную задачу поставила перед собой Мариэтта Шагинян. Она решила создать роман, нарисовать образ Владимира Ильича в детские и юношеские годы и охарактеризовать ту семейную и социальную обстановку, в которой он вырос.

В романе при описании душевных переживаний и поступков действующих лиц, которые в данном случае являются реальными историческими людьми, необходимы предположения и допущения, более или менее произвольные, — и в романе их не может не быть. Между тем всякие такие предположения и допущения обязательно являются в той или иной степени вымышленными, а значит, в известной степени неточными в смысле исторической правды.

Поэтому, чтобы избежать этих неточностей, этих уклонений от исторической правды, казалось бы, следовало предпочесть образной просто описательную форму изложения, где автору дается возможность строже придерживаться фактов и меньше прибегать к фантазии.

Так казалось бы. Но М. Шагинян не стала на этот путь. Она не просто фиксировала исторические факты о семье Ульяновых, а воплотила их в художественные образы. Тем не менее она не исказила исторических фактов. Этому значительно помогло и то, что тов. М. Шагинян предоставила нам — мне и Надежде Константиновне — возможность познакомиться с первой книгой романа «Билет по истории»[1] в рукописи, до ее напечатания, и мы предварительно обменялись с ней мнениями, внеся некоторые коррективы и фактические исправления. Это обстоятельство позволило автору романа внести соответствующие изменения в роман, благодаря чему

[1] См. первую книжку журнала «Красная новь» за 1938 г.

изложение первой части значительно выиграло.

Первая книга романа М. Шагинян озаглавлена: «Семья Ульяновых». События в ней доведены до рождения Ильича. Перед читателем встают живые, исторически правдивые образы, книга вводит его в круг интересов и чаяний, какими жила семья Ульяновых. Автором очень хорошо обрисован пензенский период, общая политическая характеристика его, учительство Ильи Николаевича в дворянском институте и его первое знакомство и сближение с Марией Александровной.

«Заставить забыть все вокруг и слушать урок — было огромное, трудное искусство. Физику Илье Николаевичу оно удавалось не только потому, что он любил свой предмет и увлекался, когда говорил о нем. Не только потому, что говорил он очень просто, понятно... А удавалось оно физику из-за редчайшей его деликатности к человеку.

Деликатность и такт — свойства трудные и более редкие, чем талант. Их нельзя представить или разыграть, не сорвавшись. Их нужно иметь,— и тогда они скажутся сами собой в тысяче пустяков... Илье Николаевичу было свойственно почти физически чувствовать чужое бытие,— характер, натуру, настроение ученика,— чувствовать с подлинным внутренним равенством, главным условием деликатности... И в классе тотчас почувствовали, что в каждом из них он видит и уважает равного себе человека».

Глубоко правильно! Это свойство было полностью унаследовано от отца Владимиром Ильичем и в значительной степени содействовало успеху его дела.

В нижегородском периоде также вполне правильно обрисовано стремление Ильи Николаевича в Симбирск, тяга его в деревню, к крестьянству, для того, чтобы «учить его, учить, вывести его из темноты к свету».

У Ильи Николаевича была глубокая вера в народ, в скрытые в нем силы. Это хорошо выявлено в романе, в рассказах Ильи Николаевича

Марье Александровне о русских талантах-самородках (Мякишев, Кулибин).

«И подумай, ведь этот народ был насильственно закрепощен самодержавием... Сколько же талантов он даст, освобожденный».

Он увлекается занятиями со взрослыми на землемерно-таксаторских курсах в Нижнем. «Маша, это прямо какая-то особенная порода людей пошла,— хватают теорему с полслова и сейчас же в практику; вот я теперь на опыте замечаю, какая разница детям преподавать и взрослым. А главное — работы, работы в деревне! Эх, надо бы нам с тобой тоже в деревню». Но сейчас и на уроке — в гимназии не тот Илья Николаевич. Он думает о таксаторах. Вспоминает бородатые лица, окающие волжские простонародные голоса, большие руки на партах, вопросы о самом жизненном,— запах земли, древний запах земли вдруг мерещится ему в пыльном классе, и опять странное, необузданное желание уехать, сняться с места мучает Илью Николаевича.

Не боится Илья Николаевич трудностей в работе, его не смущает и то, что служба в Симбирске будет правительственная, ибо он готовился и на этой работе быть полезным народу. «Да ведь служба эта — министерская? Ты заранее не очень идеализируй. Все-таки сейчас ты педагог, а там будешь чиновником»,— говорит Мария Александровна.— «Я душу в нее вложу»,— отвечает Илья Николаевич.

Илья Николаевич страстно хотел ехать. Живой человек не мог не хотеть ехать, когда все двигалось и менялось вокруг,— за таксаторами пошли в деревню фельдшера, учителя, врачи; заработало земство... По всей стране поднималась волна интереса к народу... Молодежь тянулась в деревню. Учить народ, изъездить большие пространства, дышать воздухом деревенских просторов,— от одной этой мысли он чувствовал, как молодеет в нем кровь...»

«Как только стало известно место его нового назначения — Симбирск, он стал прочитывать о Симбирске все, что под руку попадало...

И где ни встретит в обществе человека из тех мест, непременно подсядет к нему и прислушивается... Попался ему и настоящий купец-симбиряк, его Илья Николаевич завел к себе в опустелую квартиру поить чаем и чуть не шесть часов выспрашивал подряд, что там и как». Эта особенность Ильи Николаевича разузнать все досконально о том ближайшем новом, что его ждет, была свойственна в полной мере и Владимиру Ильичу. Что можно — прочитать, где можно расспросить живых людей о тех местах, куда предстояло ехать. И это было весьма характерно для него.

Таким образом, можно сказать, что картина жизни родителей Владимира Ильича в Пензе и в Нижнем в общем нарисована в романе правильно. Будем надеяться, что и симбирский период, по-видимому, основной в романе, будет нарисован не хуже.

Необходимо внести две фактические поправки: в романе старшая дочка Веретенниковых названа Катюшей, на самом деле ее звали Любочкой. В другом месте читаем: «к ноябрю 1864 года Мария Александровна почувствовала себя неважно... Она ждала через месяц ребенка». Фактически же Анна Ильинична родилась в середине августа 1864 года.

В целом же появление этого романа нужно приветствовать, как попытку показать ту среду, в которой рос, воспитывался и формировался Владимир Ильич».

Все замечания я при дальнейшей работе учла.

Когда я вернулась в Москву, Дмитрий Ильич пригласил меня в гости.

И вот я снова еду в Горки, иду по зимнему снегу, вижу знакомые аллеи парка, фасад белого старинного дома, скамейку, где сиживал больной Ильич, любимую его дорожку. Дмитрий Ильич сперва принял меня у себя, среди своих медицинских книг и рукописей, которые он показал мне. Почерк его тонкий, с небольшим наклоном вправо, был немного похож на ленинский. В те дни Дмитрий Ильич писал свои заметки о детстве Ленина, и в аккуратной школьной тетради, исписанной

этим бисерным почерком, я увидела заглавие «Игра в брыкаски». Каково же было счастье мое, когда Дмитрий Ильич подарил эту тетрадку мне. Сейчас она хранится в моем архиве, в числе самых драгоценных предметов, собранных за долгую жизнь.

Есть еще очень многое, что можно было бы порассказать читателю о каждом этапе работы над первой книгой моей тетралогии о Ленине. Трудно, например, даже представить себе, сколько дней, нет — недель затяжного труда в различных архивах и библиотеках пришлось провести мне, чтоб восстановить во всех подробностях, но зато и с абсолютной исторической точностью, только *один день — 10 апреля 1870 года*. Надо было *войти* в этот день, войти как его современник, досконально зная, какой это день недели, в каком отношении к тогдашней пасхе, какая была погода, зима или уже весна, тронулся ли лед на реке, светило ли солнышко и какие происшествия случились в этот день в городе Симбирске.

Шаг за шагом я углублялась во все находимые детали.

Помощью тут оказались газеты; «памятные книжки» губерний, издававшиеся в те годы вместо справочников, старые календари и метеорологические бюллетени, с величайшим трудом извлекаемые из архивов,— словом, все, что относилось к календарной дате.

Старый дворянский Симбирск сугубо чтил церковные праздники; они проходили во всей пышности традиций, всегда отмечались в печати, и по ним легче было установить погоду. Пасха в 1870 году пришлась на воскресенье 12 апреля старого стиля. Владимир Ильич родился в пятницу 10 апреля,— по тогдашнему календарю «в страстную неделю на плащаницу». Семья Ульяновых, как и все семьи в те годы, готовилась к традиционному празднику: то есть в четверг красились яйца, в пятницу месилось тесто на куличи, в субботу с раннего утра нужно было разлить в марлю по формочкам творожную пасху и поставить ее до вечера под пресс. Рождение сына прежде всего нарушило традицию и сбило все приготовления,— пасха в этот год в семье Ульяновых попросту не вышла — не до нее было. И с той же неожиданностью все перевернула и погода. Вот что писалось тогда о ней в газетах: «Погода в Симбирске с первого дня пасхи до настоящего времени стоит очень хо-

рошая, ясная и теплая, так что с 15-го апреля жители города сняли с себя зимнее платье и теперь почти уже все ходят в летнем. 13-го числа вскрылась и пошла Волга. 17-го пришел первый пароход. 16-го числа был слышен первый гром, который повторился 20-го числа во время небольшого дождя, выпавшего с градом. Впрочем, град был невелик, и, при падении на землю, тотчас таял. 22-го числа в шестом часу пополудни тоже были сильные удары грома, причем шел довольно сильный дождь, продолжавшийся, впрочем, не более четверти часа» (см.: «Симбирские губернские ведомости», 1870, апрель). Многословное перечисление дождей объясняется тем, что предыдущий, 1869 год, был на Волге неурожайным, крестьяне люто голодали, были смерти от голода, в Нижнем свирепствовала холера как раз в те месяцы, когда Ульяновы покидали Нижний Новгород для Симбирска,— и дождя в народе дожидались с великой тревогой и надеждой. Но перемена к теплыни от морозной зимы («сняли с себя зимнее платье») упала как раз на последние дни страстной недели, и 10-го внезапный переход к теплу охватил город, как духота; лед на Волге, тронувшийся 13-го, стал трещать и ломаться уже 10-го. Этот резкий переход от зимы к весне тоже отразился на домашнем быту Ульяновых — хозяйка дома была исключена на время от насущнейших задач: достать и перетряхнуть от гвоздики и мяты (употреблявшихся вместо нафталина) весенние пальтишки старших детей, зашить в футляры, чтоб спрятать от моли, зимние, проследить за обувью, за чистотой одежды Ильи Николаевича к празднику. А Илья Николаевич лишь недавно вернулся из объезда народных школ и был тоже сверх меры занят: в день рождения своего нового ребенка он принимал в типографии корректуры первого своего отчета «О состоянии народных школ в Симбирской губернии», еще подписанного, правда, Вишневским, но фактически сделанного им, а на следующий день, в субботу, 11 апреля, отчет этот появился в «Симбирских губернских ведомостях». Отдыхать ему или помочь по хозяйству лежавшей после родов жене тоже не было никакой возможности — надо было готовить большое продолжение отчетов, прошедшее целыми полосами в газете 11, 21 и 25 апреля. В эти отчеты Илья Николаевич вкладывал свою душу — он очень сошелся с редак-

тором Е. Лебедевым, человеком, выдвинутым на редакторский пост шестидесятыми годами; ему нравилась статья Лебедева, помещенная в двух номерах газеты еще в конце января, «Желает ли простой народ учиться грамоте?», и своими отчетами он как бы развивал и двигал дальше мысли редактора, сразу же тесно внедряясь в жизнь и заботы лучших людей губернии. Вот почему эти отчеты ни на миг не были для Ильи Николаевича простой формальностью или обычным делом высокого чиновника. Е. Лебедев в своей статье (которую и сейчас читаешь с живым удовольствием) приводил отписку народных учителей, что будто бы в плохой посещаемости народных школ виноват сам русский народ, он невежествен и не желает посылать своих детей учиться. И, приведя ту отписку, блестяще оспорил ее: начал с древней истории, со времен Ярослава, показав тягу русского народа к просвещению, к книге, дошел до неграмотного мужика, указал на нищету, в которой живет он, на необходимость видеть в десятилетнем сыне подмогу в труде,— тяжком труде для куска хлеба, которого всегда не хватает; представьте мужика зажиточным — и вы сейчас же увидите, как он потянется и детей потянет к образованию, к школе,— писал Е. Лебедев. И еще добавлял строки, которые особенно должны были понравиться Илье Николаевичу: «Нужно только, чтоб обучение в этих школах было разумное, то есть чтоб учеников не заставляли произносить слово за словом, без объяснения смысла самого слова». И протестуя против «начетчиков», читающих в деревнях крестьянам «Жития святых» со своими темными комментариями, Лебедев прямо обращался к учительству: «На это не мешает обратить внимание всем, которые взяли на себя труд руководить его в его умственном развитии (имеется в виду народ.— *М. Ш.*). Пора избавить его от влияния его доморощенных мудрецов и вывести его с ложного пути на торную дорогу. Простой народ, повторяем, вовсе не бежит просвещения — он желает идти навстречу ему. Поговорите с ним толково и понятно о звездах, о луне, о земле и о том, что на ней, и посмотрите, с каким вниманием он будет все слушать». («Симбирские губернские ведомости», 1870, январь.) Как бы отвечая Е. Лебедеву, Илья Николаевич писал в своем отчете: «Необходимо озаботиться заменой неудобных во всех отноше-

ниях церковных караулок более удобным помещением, потому что в этих сырых и холодных караулках, несмотря на все усердие и умение преподавателей и охоту учеников, нельзя ожидать успешного хода ученья... Сочувствие крестьянских обществ к делу народного образования в некоторых местностях выражается в составлении приговоров о сборе известной суммы на содержание училищ и в постройке училищных домов. Степень же сочувствия крестьян школе находится в прямой зависимости от пользы, приносимой училищем их детям, а польза, в свою очередь, прямо обусловливается личными качествами и добросовестным ведением дела преподавателем» («Симбирские губернские ведомости», 1870, 25 апреля).

Ясно, как заняты и перегружены были дни появления Владимира Ильича на свет для его родителей. Было это, кстати сказать, в маленьком деревянном флигельке во дворе дома № 15 на Стрелецкой улице (ныне улица Ульянова, дом № 21), где уже становилось тесно разрастающейся семье.

В более удобную и не такую стеснительную квартиру в самом доме — Ульяновы перебрались уже гораздо позднее, когда освободилось там место. Помогала в эти дни Марии Александровне Ульяновой посторонняя женщина, очень популярная в городе, так называемая «научная фельдшерица», Анна Дмитриевна Ильина, принимавшая новорожденного Ильича. Узнать, кто и какова была эта женщина, тоже потребовалось немало труда. К счастью, я еще застала в живых в Ульяновске примечательного человека, ее племянника, оставившего мне в своем роде единственный документ, имеющий, кроме всего прочего, и литературную ценность портрета. Племянник этот, Ильин, всегда подписывавшийся своим псевдонимом «Нилли», был литератором, писал книги (правда, не нашедшие себе места в печати), пробовал все виды труда, чтоб пробиться, и в самые голодные годы, очень нуждаясь, сделался донором, отдавая свою кровь бойцам (1941 г.), и писал мне об этом патриотические письма. Ушел этот человек как-то незаметно, оставив свое — пожалуй, наиболее удачное литературное произведение у меня на руках[1].

[1] Письмо Ильина (Нилли) приведено в очерке «Земля, по которой начал ходить Володя Ульянов».

IV

Вжившись в историческую и домашнюю обстановку семьи Ульяновых, я уже не могла оторваться от своей работы о Ленине. Нельзя было начать писать о детстве маленького Ильича, не воскресив важнейшего этапа в жизни его отца — Первой Всероссийской политехнической выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Великого.

Передо мной развернулось огромное полотно семидесятых годов, о которых Надежда Константиновна в письме ко мне сказала, что их никак нельзя назвать реакционными — это было продолжение развития шестидесятых с медленным угасанием революционной атмосферы восьмидесятых.

Первая политехническая выставка в Москве и стала темой моей второй книги о Ленине. Событие это имело огромное значение для развития русской культуры, не только промышленной, но и научно-педагогической.

Началась предварительная моя работа и подготовка к роману-хронике «Первая Всероссийская», и длилась она не один год.

Работники наших крупных архивов знают, сколько часов и дней я просиживала за многочисленными папками огромного фонда документов, посвященных этой выставке. Интерес к архивным изысканиям был у меня всегда, но тут я впервые почувствовала сложную связь документа с действительностью. По Тютчеву, «мысль изреченная есть ложь». Но то, что написано в архивных документах именно в написанном виде, не всегда отражает правду, а очень часто является лишь отражением человеческих интересов, государственных и личных, не всегда совпадающих с фактами самой жизни. Поэтому архивный работник — это не механический чтец того, что написано, а непременно аналитик, своеобразный рационализатор, открыватель реального, исторического значения документа, связи его с действительной жизнью. Нет ничего более неверного, более ложного, чем представление об архивной пыли, о мертвечине архивных материалов. Когда входишь в живую атмосферу времени и документ становится выражением разных классовых интересов и противоречивых, иногда прямо противоположных утверждений, дипломатий, государственных ведомств

и учреждений, и не так уж часто — прямой правдой, ты как бы сам превращаешься в участника изучаемой эпохи. Передо мною как бы раскрылись ворота в Выставочный городок. Я читала номер за номером материалы обо всем содержании выставки... Я слушала речи городских гласных, посвященные ее организации. Увлеклась ее архитектором, как увлекся им мой герой Федор Иванович Чевкин. Архитектора Дмитрия Николаевича Чичагова мне было очень трудно воскресить, поскольку печатных сведений о нем было очень мало. Старший его брат, Михаил Николаевич,— был известным русским строителем, получавшим огромные заказы, строившим и в России и за границей здания по своим проектам. Но Дмитрий Николаевич был архитектором скромным, поручение ему проектировки Выставочного городка было для него очень большим заказом. Он вложил душу в него. Неотлучно бывал на стройке. Я долго не могла найти его фотографии, и мне пришлось создавать его облик по внутренней интуиции. И почему-то он возник передо мной так: тонкое интеллигентное лицо москвича с бородкой и — неожиданно для меня самой — в заграничном черном берете. Из-за этого берета я пережила счастливейший день моей профессиональной жизни. Когда книга вышла в «Роман-газете»[1], я получила письмо от Галины Чичаговой (дочери или внучки, не помню, Дмитрия Николаевича Чичагова). В письме она выражала теплую благодарность за данный мной образ Дмитрия Николаевича Чичагова, очень на него похожий. А дальше шли потрясшие меня строки: она спрашивала, откуда я знаю, что он носил заграничный берет. Ведь у нее хранится портрет Дмитрия Николаевича в таком берете, но он никогда не воспроизводился в печати и я как автор нигде не могла его видеть. То была минута, когда пером писателя двигает могучий фактор интуиции, и эта интуиция, как Пушкинская муза

....радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем[2].

[1] Роман-газета № 5 за 1966 год.

[2] Пушкин А. С. Сочинения. ОГИЗ. Государственное издательство художественной литературы, 1949, с. 88.

Эти случаи сбывшейся интуиции писателя очень редки, но они убеждают автора своей неожиданной точностью, что его работа — подлинное творчество.

Начиная с архивного документа — письма за подписью «Москвичъ» — у меня документирован весь роман. Своего героя Федора Ивановича Чевкина я сперва выдумала, и не знаю, как пришла мне в голову фамилия Чевкин, а потом я узнала, что в родовой книге русского дворянства Чевкины — один из старинных родов, и мой выдуманный Чевкин оказался отдаленным родственником знаменитого Чевкина, работавшего вместе со Сперанским в комиссии по отмене крепостного права.

Я читала о выставке все, что выходило о ней до и после нее в русской и иностранной печати.

Я видела все иллюстрации павильонов, пересмотрела все программы тогдашних концертов и зрелищ. Больше того! Меню знаменитого обеда, съеденного одним из моих народных учителей, бывших на выставке, было списано мною с подлинного меню богатого выставочного ресторана. Короче сказать, я жила выставкой день за днем, страница за страницей моего романа — воистину — исторической хроники.

Писала я его в Ялте, в нашем Доме творчества, почти не отрываясь, в течение трех месяцев, а готовилась к нему и вживалась в него в течение ряда очень трудоемких лет. Этот труд многое осветил мне в дальнейшей судьбе Ильи Николаевича и в поведении двухлетнего малыша Володи Ульянова.

В плане моем стояла очень большая работа о жизни семьи Ульяновых после смерти Ильи Николаевича, о террористическом замысле Александра Ильича, о процессе над ним и казни и о том, как во дни гибели старшего брата Володя Ульянов держал выпускной экзамен по истории.

Ученик Миша Кузнецов, сидевший рядом с Володей Ульяновым в классе за партой, сохранил замечательный билет, который Володя вытянул на выпускном экзамене по истории. Тогда билеты растекались по различным событиям истории в разное время и в разных странах. Поразительно, что билет Володи как бы пробежал по революционным событиям разных эпох — от восстания Спартака в Древнем Риме до чартизма в Англии.

Но я уже не имела ни сил, ни времени справиться

с огромным объемом подготовительной работы к этому роману. Взявши его основную идею — веру в возможность прогрессивного, честного труда в любых реакционных условиях у Ильи Николаевича и убеждение его на опыте, что это невозможно, и труд его будет задушен реакцией; веру Александра Ильича, что террористический акт в отношении тирана улучшит положение народа, и бесполезную гибель его и, наконец, слова Владимира Ильича — будущего марксиста: «Нет, не таким путем надо идти» — и перевернувшего в Октябре страницу истории, я написала короткий рассказ «Билет по истории» с подзаголовком — Эскиз романа.

А после этого третьего звена моей Лениниаиы, уже на старости лет, со зрелым багажом мыслей и чувств о Ленине, как итог пережитых мною и накопленных знаний, я решила взяться за четвертое звено своей тетралогии (четверокнижия) — «Четыре урока у Ленина».

Этот труд я считаю моим лучшим и наиболее глубоким трудом. Отдельное его издание (вне целой моей Лениннаны) я подарила Партии и Народу. Оно внесено в нашу школьную программу для старших классов.

1960—1981

II
ХУДОЖНИК БОЛЬШОЙ, НАСТОЯЩИЙ

1

Если вы захотите вдохнуть аромат вишневых садов в цвету, распахните первые страницы первого тома «Тихого Дона». Какая прелесть весенней природы ворвется к вам вместе с вишневым цветеньем в вашу душную городскую комнату!

Но не только прекрасно у Шолохова описание южнорусской природы. Оно пронизано жизнелюбием, радостью жить человеку на земле, сердечной теплотой к человеческому бытию. Тем, что мы называем книжным словом древнего латинского корня — оптимизмом.

Творчество Шолохова глубоко оптимистично. Жизнелюбием дышит начало «Тихого Дона»,— и это тем удивительней, что самый роман в основе своей трагичен.

Вершиной этого жизнелюбия (мне хочется прибавить к нему наши новые эпитеты русского языка: **большевистского, ленинского**) является рассказ Шолохова «Судьба человека».

«Судьбу человека» нельзя читать без слез. Я не могла. И впервые читая, и перечитывая. Но какие это облегчающие, обнадеживающие слезы! Вся боль, горечь утраты, как дождь под лучами солнца, начинает испаряться, превращаться в неугасающую в человеке, подобно Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, потребности в любви.

Долго, долго после прочтения «Судьбы человека» меня преследовал образ бездомного мальчонки, заснувшего, раскинувшись поперек убогой солдатской кровати. Тот человек, кто спас ему жизнь, пожалел, приютил его и сам нашел спасение для себя в возникшей привязанности к живому бесприютному комочку жизни, спасенной им.

Потребность в человеческой любви, человеческой

привязанности, которая спасает и тебя самого, твою омраченную горем душу,— вот то, что дает так называемый «смысл жизни»; то, что дает силы на подвиг, что питает корни революций. Наше поколение помнит, с какой любовью к угнетенным, к рабочему классу, к обездоленному беспросветным трудом народу приобщались мы к далекой заре восстаний, к зовущему пламени революций. Увлеченные могуществом теории, Марксом, Лениным, логикой движения социалистической мысли, мы подчас забываем, что не только теория влекла нас к революции (теория давала знание), но любовь к народу, любовь к труженику, любовь к правде, справедливости и добру на земле. Любовь, рожденную по большевистскому завету переходом знания в **убеждение**, без которого нет могучей душевной силы на борьбу и жертву.

Образ мальчика, заснувшего **поперек** постели несчастного человека, показался мне символом перечеркивания горечи прежней жизни, переходом на новую страницу возрожденного бытия.

Горе народу, горе классу, горе человеку — тому, кто потерял большевистскую мудрость перехода своего знания в убеждение. Горе каждому, кто потерял потребность в человеческой любви, в привязанности хотя бы к малому клочку жизни на нашей родной планете — Земле.

Вот что, быть может, незаметно и бессознательно, выносит читатель из рассказа «Судьба человека».

Одного этого впечатления, даруемого художественным творчеством, достаточно было бы для долгой жизни шолоховских книг.

Но Шолохов дал не только это.

Большой и настоящий художник, Шолохов достиг труднейшей классической высоты творчества в «Поднятой целине».

II

Высшей областью художественного творчества является создание типа. Оно дается особым даром постижения людей, наблюдения их не просто как отдельных особей человеческого рода, а в реальной исторической ситуации, узле преломления личного характера с социальным строем. Разумеется, любую отвлеченную ситуа-

цию можно выдумать и на фоне этой выдуманной жизни создать психологические конфликты, отдельные характеры людей, но не **типы**. Только в вынужденных приемах сатиры, чтобы проскочить цензуру своего времени, от древних комедий Аристофана до гротескного мира Рабле — создаются не реальные типы, а вымышленные подобия реальных характеров. На фоне выдуманного условного строя создать реальный исторический тип невозможно.

Вспомним, как создавался бессмертный типаж «Мертвых душ». Пушкин предложил Гоголю интересный сюжет из русской крепостнической действительности. В крепостном праве был любопытный подсчет крепостных. Он производился в известные промежутки времени. В так называемые «ревизские сказки» вносили живых крепостных крестьян, и до следующей ревизии они числились живыми. Но в промежуток между «описями» многие умирали. Эти покойники — до следующей ревизии — считались все еще живыми. Все можно было сделать с ними — купить, продать, как живых. Целое море для приключенческих, юмористических повестей типа знаменитого в свое время и забытого сейчас Барона Брамбеуса... Но что сделал Гоголь? Он использовал реальную историческую ситуацию для вершин классики — создания великой галереи незабываемых типов. Он взял своим пером не комизм ситуации, а узлы преломления характеров с исторической реальностью ситуации. И мы имеем много материалов, как изучал он для своей работы над «Мертвыми душами» экономику того времени, юридические законы, все, что связывало комизм ситуации тогдашнего общественного строя с человеческими отрицательными характерами. Типы, созданные им, стали бессмертными, многие личные имена превратились в нарицательные.

В «Поднятой целине» у Шолохова была другая задача. Рождался, еще только рождался новый общественный строй на земле. Он создавался коммунистами. Времени прошло так мало! Люди нового типа еще не оперились, еще не стали целостными, ярко отличительными в новой массе молодого исторического множества, а гениальное перо писателя уже подметило, отличило и само выделило их из массы...

Давыдов, Разметнов, Нагульнов...

Давыдов: черты стойкости, руководящего разума,— верности тому компасу развития социализма, какой сочетается у нас с понятием «генеральной линии партии». Спокойный и твердый характер, знающий, сумевший превратить свое знание в убеждение, руководитель, которому можно довериться, за которым можно пойти... Пусть этот тип дан еще в зачатке. Но он рос — и вырос в своем типичном облике. Пусть еще недостаточно было тогда у нас Давыдовых, но бытие их уже реально в истории, уже узнаваемо, уже любимо народом.

Разметнов: наиболее сложная фигура, с которой читатель местами связывает нерешительность, неумение принять резкие, но необходимые решения, жалостливость. Он не растет, вернее, может не расти, застояться на одном месте, уклониться в правую сторону, но тем не менее он коммунист, верный партии.

Нагульнов: размашистый, радикальный тип, связанный с некоторым левацким заскоком,— ему мало Октябрьской, он размахнулся на мировую революцию, но у него мало знаний, он сидит, сидит ночами над английским языком. И тем не менее он страстный и тоже верный партии коммунист.

...Типы, взятые из жизни, растущие, узнаваемые в современниках, как бы схваченные в своем историческом развитии. Они кажутся эпическими, возникшими из глубин русского образного творчества. И, наконец, как образ древнего русского скомороха, незабываемый юмористический тип деда Щукаря...

«Поднятая целина» живет и растет вместе с нами. И Шолохов — большой и настоящий писатель — растет и раскрывается в своих книгах как народный писатель, выражающий развитие народного социалистического сознания.

11 мая 1980 г.

ИДУЩИЙ НАВСТРЕЧУ

Во всей сложности чувств, во всей глубине мыслей, во всей мудрости, унаследованной от народа, поэт Расул Гамзатов никогда не писал о себе «про себя», то есть утаивая, маскируя, недосказывая, зашифровывая

в поэтическое косноязычие, в метафоры, в немоту голос своего сердца. Он всегда шел и сейчас идет навстречу читателю с открытым душевным богатством. Он делится им прямо, пригоршнями, из сердца — в ладони читателю с той великой щедростью, с какою в Кавказских горах принимают гостя.

И эта открытость делает Расула Гамзатова как бы хозяином огромного, нескончаемого, вынесенного из четырех домашних стен — на зеленый простор планеты — пиршественного стола, за который хочется читателю сесть гостем. Но поэзия Расула Гамзатова — не только пиршество. Открытость души и мысли делает сказанное им слово афористичным, простым, как истина, как хлеб насущный, нужным, сразу оседающим в памяти. Вслушайтесь в это поэтическое слово:

И резко дунув, как на пиво,
Чтобы пустую пену сдуть,
Пил жизни суть: она не
лжива.
Она правдива — жизни суть.

Вот этой правдивой сутью жизни наполнены его стихи, о чем бы ни писал он, в радости, в горечи, в сомненье. И всякий раз, встречаясь с его стихами, вы чувствуете в этой встрече себя самого, свою жизнь, свои мысли. Всем сердцем переходишь на «ты» с поэтом, говоришь ему мысленно «друг», вдыхаешь с ним чистый горный воздух.

Среди веселой, «компанейской» жизнерадостности он вдруг останавливается, мрачнеет, темнеет,— он усомнился во всем:

Зря познал я усердье
И касался пера.
Зря будил милосердье
Я во имя добра...

Все, все зря: и путешествия по дорогам мира, и влюбленность, и спор с невеждами, и вера в удачу, и даже

Зря оплакивал мертвых,
Если сам я уйду
В царство временем
стертых,
У живых на виду.

Все дороги одинаковы, все женщины одинаковы, и удачи не приходят, и глупца не оспоришь, и сам умрешь... А наперекор этому «зря» — в сердце читателя встает протестующее «нет, нет, не зря...». И стихотворенье, словно услышав своего читателя, бежит ему навстречу. Не зря,— отвечает сама строчка поэта, сказанная правдиво. Не зря,— отвечает женщина, одна из множеств, оставшаяся верной поэту. Не зря,— шепчет благоуханная, воспетая им, природа вокруг.

И над кручей отвесной
Снова в холод и в зной
То вдовой, то невестой
Жизнь встает предо мной!

Человек живет тысячами настроений; на палитре его судьбы — много красок. Гениальный художник, смешивая, выбирая, облюбовывая своей кистью многоцветный разлив красок на палитре,— всегда создает на своих картинах то, что мы называем колоритом: оттеночное преимущество то золотистой (Фра Беато), а то сумрачной (Тициан), а то красноватой (Рубенс) — красочной гаммы, передавая в ней особенности своего душевного склада. Тысячами настроений живет идущий нам навстречу поэт Расул Гамзатов. Он видит перед собой диво — смеющегося коня:

Подобное кого не озадачит.
Решил взглянуть поближе
на коня.
И вижу: не смеется конь,
а плачет,
По-человечьи голову клоня.

И обращается к читателю, подошедши к нему: когда смеюсь, ты, милый мой, приблизься и повнимательнее посмотри!

А читатель, готовый посмеяться со смеющимся дивным конем, чувствует в глубине своих глаз — собственные слезы. Жизнь так скоро проходит. Человек так, потихоньку от себя, лукавит со своим возрастом,— ему страшно стареть, страшно уходить,— среди молодеющей каждую весну природы. Идущий навстречу стыдит за этот страх, за это лукавство:

...Не лги, будто пух
тополиный,
А не снег на виски наши лег.

И утешает:

Мы с тобой не поля,
а вершины,
Что белы́ даже в летний денек.

И учит высокогорной, вечно молодой мудрости:

Не все из смертных старятся,
поверьте.
Коль человек поэт,
то у него
Меж датами рождения
и смерти
Нет, кроме молодости,
ничего.

Встретясь с Расулом Гамзатовым, сидя с ним рядом за пиршественным столом его поэзии,— читатель, откуда б он ни был, сам может почувствовать себя поэтом. И за этот щедрый душевный дележ поэтическим богатством, за открытую ду́шу поэзии, за открытую поступь в жизни, полной колючек и терний в пути, за вечное утвержденье жизни и радости жить,— несмотря ни на что,— огромной любовью платит читатель своему большому поэту.

1973

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ

Можно забыть постепенно самое дорогое из личной своей жизни. Но тому, кто многие годы провел в тишине библиотеки,— совсем особой тишине, строго обязательной и нерушимой, но насыщенной безмолвными голосами тысяч читаемых страниц, едва шелестящих под пальцами, когда их переворачиваешь; тому, кто смолоду узнал дорогу к этой насыщенной тишине и научился духовно расти в ней, как кристаллик в питательной среде,— нельзя, невозможно изгнать из памяти библиотеку и свое чтение в ней. Такой неувядаемой памятью встает сейчас перед людьми моего поколения на-

ша сегодняшняя «именинница», когда-то ласково называвшаяся нами «Румянцевкой», а ныне носящая великое имя,— Библиотека имени В. И. Ленина.

Я переступила ее порог в первый раз около семидесяти лет назад. Больше, чем средняя цифра человеческого века,— так это было давно. «Румянцевка» находилась тогда в старом здании, вдвинутом в старый двор, куда вход был из переулка. Читальный зал — больше чем скромный, хотя он казался нам очень большим, в зеленых бабочках крылатых абажуров. Каталоги еще не были бесконечно дифференцированы, как сейчас. Их смешанное богатство, подчиненное лишь единому принципу алфавита, обрушивало на нас, когда мы начинали в нем рыться, бесчисленные соблазны свернуть с дороги своей узкой темы, пуститься вдогонку за таинственной маской-книгой, чье названье звало в неведомые миры. Так, на самой ранней заре моего библиотечного чтения, погналась я за странным аббатом Галиани, который взялся почему-то за «Беседы о торговле зерном»... Но об этой книге, ставшей роковой для всей моей позднейшей жизни, я уже многократно рассказывала читателю... В те давние времена, раннее начало века, которому пошел сейчас семьдесят пятый год,— в «Румянцевке» не было ни разных консультантов, ни справочных бюро в помощь читателю,— и самих читателей не разделяли по залам, соответствующим их чтению. Не было ни буфета, ни столовой, а только бак с кипяченой водой в коридоре, где мы могли запить из общей кружки водицей свой вкусный кусок хлеба с сыром, захваченный из дому. Не было... но какое же множество удивительных вещей **было** и тогда в нашей родной «Румянцевке»!

Прежде всего — близость библиотечного работника к читателю. Отнюдь не административная. Я еще застала традиции философа Н. Ф. Федорова, автора «Общего дела». Официально он был «при каталогах», а фактически ведал чтением чуть ли не каждого читателя, заинтересованно помогал ему советами, сообщал о вышедшей новинке, и не только сообщал,— если ее еще не имелось в библиотеке, он покупал ее на собственный скромный заработок и вкладывал в заказанный читателем материал... Сколько добра и внимания видели мы от библиотечных работников в нашем чтении вразброд, без профиля, с жадностью ко всему, ко всему!

Тогдашний читальный зал источал особую атмосферу автодидактики, тяги к самообразованью, к расширению знаний. И наша, еще очень примитивная техника записи читаемого была сродни этой атмосфере. Почти ни одной книги не возвращалось большинством из нас без того, чтоб не сделать из нее выписок в свою тетрадку. Писали мы школьными ручками. Они, как деревянные стебельки цветов, пачками стояли в стаканах на столе у библиотекарей,— выби́рай и пробуй любую, а если нужно — попроси новое стальное перо. Ранним зимним утром,— а зимой утро глядело в библиотечные окна еще черной синевой ночи,— старик-служащий в мягких шлепанцах обхаживал столы в прохладном, проветренном зале и наливал в чернильницы, как донор свою кровь,— свежие чернила. Корм засыпал нашим перьям.

Чтение без записи прочитанного не оседает в мозгу надолго. Но занесенное в тетрадь,— как скульптура, как резьба по камню,— сохраняет для вас ту ребристость, те важные узловые выпуклости книги, которым предстоит не только запомниться, но и дать ростки в работе вашего собственного сознания...

Но я ушла мыслью в далекое прошлое, в начальную фазу опыта библиотечного чтения. А сейчас — на месте старой и скромной «Румянцевки» — выросла огромная, светлая, Ленинская Библиотека,— с ее книжным фондом, богатейшим в мире, с ее комфортом и дифференцированными залами, со всем, что требуется для основных государственных книгохранилищ. И яснее видима стала еще одна великая роль этой народной сокровищницы нашей страны, роли, о которой мы как-то мало и редко упоминаем. Библиотека, осваивающая и двигающая культуру народа, каждым своим работником, каждым читателем в ее залах вливается могучей силой в борьбу человечества за мир на земле. Библиотека в основе своей международна. Голоса ее книг — это голоса всего творческого человечества, всех лучших сынов человечества, без различия расы, языка, веры. И голоса эти учат Добру, Созиданию, Дружбе, Взаимообмену найденными, открытыми, созданными духовными ценностями. И сегодняшний праздник нашей Ленинки — это праздник великого форпоста борьбы за мир на земле.

2 февраля 1975 г.

СКАЗАТЬ ЖИЗНИ «ДА!»

Интервью газете „Ленинское знамя“

— Мариэтта Сергеевна, вы прожили большую и интересную жизнь. В чем, на ваш взгляд, состоит мудрость жизни? Иначе говоря, как правильно прожить отпущенный человеку век?

— Я считаю, что для того, чтобы прожить жизнь, не жалея о прожитом времени, надо с первых лет зрелости неизменно думать о том, что ты умрешь. Я всю жизнь не упускала из виду того факта, что и меня ждет смерть. А это значит стремиться жить так, чтоб перед уходом из жизни смочь сказать «Да!» этой прожитой жизни. Да, я жил не зря, не попусту,— я трудился, труд мой приносил пользу людям. И если делал ошибки — а ведь нельзя живому человеку прожить без ошибок,— они всякий раз были для меня уроками, на них учишься, их преодолеваешь с пользой для себя, выходишь из них с новым опытом, новым ростом сознания.

— А что, по-вашему, самое важное в профессии писателя?

— Отвечу на этот вопрос одной, очень мало известной замечательной цитатой из Ленина. В 54-м томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина, на странице 446, помещено письмо к тов. Е. С. Варге. Датировано это письмо первым сентября 1921 года. «Нам нужна полная правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить». Бездонно-глубокие слова, которые каждый писатель, по-моему, должен носить в своей памяти. Подумайте над этим! Правда не конъюнктурна, правда служит только самой себе. И от правды, полной правды, не может никогда родиться что-нибудь плохое, вредное. Настоящая, честная правда писательского пера всегда идет на пользу человеческой совести, на пользу Родине. По мере своих сил и таланта писатель должен стремиться к ней, добиваться точности образа, правды мысли, правды чувства.

— Ваша жизнь, Мариэтта Сергеевна, началась в конце девятнадцатого века. Интересно, каковы были ваши первые детские впечатления?

— Родилась я 21 марта 1888 года в Москве в Салтыковском переулке. Первые детские впечатления связаны у меня с этой частью Москвы. Помню очень хорошо рассказы о Ходынке, когда мимо нас с Ходынского поля везли на телегах трупы задавленных во время коронации Николая Второго. Наша няня тоже была на Ходынке и принесла оттуда «царский подарок» — эмалированную жестяную кружку с двуглавым орлом и вензелем нового самодержца, которому народ дал эпитет «кровавый». Она тяжко заплакала, передавая моей матери все ужасы гибели народа на Ходынке, увиденные ею собственными глазами. Это было, пожалуй, самым сильным, хотя и неосознанным, детским впечатлением, заронившим в мою душу острую ненависть к царю.

— Ваши произведения нравились Владимиру Ильичу Ленину. Приходилось ли вам встречаться с ним или хотя бы видеть его?

— Вопрос, видела ли я Ленина, мне задают очень часто за границей, особенно в капиталистических странах, в тех кругах, симпатизирующих Советскому Союзу, где более или менее знают по переводам мои книги.

К великому сожалению, я не видела Ленина ни вблизи, ни издалека. Хотя с Надеждой Константиновной Крупской я часто общалась и переписывалась. В одном письме она даже рассказала мне свою очень интересную биографию.

— Закончена ли работа над хроникой семьи Ульяновых?

— Да, работа закончена, но создание истории семьи Ульяновых не было главной моей целью. Работая над книгой о семье Ульяновых, я старалась понять и воссоздать для читателя те исторические истоки, которые привели к нравственной и политической атмосфере в семье Ульяновых,— атмосфере, питавшей духовный рост и становление характера юного Ильича. Эта работа была как бы первым вхождением моим в понимание Ленина, в точность передачи его образа — в тот первоначальный «рисунок углем», с которого художник обычно начинает намечать портрет... А работа над Лениным,

мне кажется, прекратиться никогда, до самой смерти, не может. Вы с ней срастаетесь, вы чувствуете потребность постоянного общения с Лениным, вчитывания в страницы его книг, с годами становящихся все прозрачней, все яснее и нужнее для вас.

— Правда ли, что вы написали для серии «Жизнь замечательных людей» книгу о Ленине?

— Нет, неправда! Ленина нельзя вставлять ни в какую «серию», он выше понятия «замечательный человек». Ленин перевернул страницу истории, создал небывалое, новое общество на Земле, обновил наше сознание, открыл духовный источник идей, которые будут осмысливаться человечеством грядущие тысячелетия. Как же можно вставлять его в «серию»? По крайней мере я этого никогда не предполагала сделать, да и «Молодая гвардия», по-моему, не собирается это делать.

— Какое свое произведение вы считаете самым удачным и почему?

— Матери всегда кажется, что последний ребенок милее ее сердцу. Хотя она больше всего любит своего первенца. Я не могу сказать, какое произведение мне дороже. Могу только ответить, чтó именно и когда мне было интереснее писать. К работе над каждой своей книгой я приступаю после тщательной предварительной подготовки, изучения всего того, что относится к материалу книги. И начинаю писать лишь тогда, когда чувствую толчок: выполнила, словно сосуд получения нужных знаний наполнился доверху, всю свою предварительную работу — и настал момент перехода к отдаче. Поэтому наиболее интересны для меня те вещи, для которых был пережит такой внутренний толчок отдачи. Но бывает так, что меня торопят, собирательное накопление знания еще не закончилось, еще я не целиком, не доверху готова к отдаче,— и тогда наступает страдание. Не только для большой вещи,— для любой маленькой статьи необходим такой толчок. Помню, как я тосковала, когда меня торопили со статьей «Янтарный берег». Написала первый вариант и была недовольна, неинтересно было перечитывать: чего-то недовыполнила,

недодумала. И вдруг осенило меня: где-то в глубине впечатления от разработки и выделки янтаря тлело у меня неясное недопонимание — почему Земля, из которой вымывают янтарь, голубого цвета и почему эту землю смывают и выбрасывают? Я еще ничего не знала об этой голубой земле... Схватилась за работы по геохимии, за моего любимца В. И. Вернадского, за данные немецких исследований — и что же? Мы из чистого янтаря выделываем янтарное масло, а вот оказывается — голубая земля сама содержит множество нужных элементов, ее можно использовать как рудную землю, и для выделки дорогого масла, и еще много для чего... А мы ее смываем, выбрасываем! Плодом нового, более полного изучения предмета родился «толчок» к отдаче, и стало интересно писать.

Мне кажется, это должен испытывать каждый настоящий творец. Рабочий у станка, если он приступает к работе, не очистив своего рабочего места, не наладив станок, не может работать с интересом и дать хорошую продукцию. Колхозник не соберет хорошего урожая, если он не взрыхлит землю, не унавозит ее, не подготовит семена. Всякая отдача требует подготовительной работы накопления.

— Как повлияла газетная работа на формирование вас как писателя, как человека?

— Я люблю работать для газеты и работаю для нее всю жизнь. Газетная работа воспитывает в писателе вот эту потребность предварительной подготовки, умение освоить материал, приучает к точности, к чувству нужного объема очерка, умению рационально распределить части: начало, середину, конец — то, что называется композицией. А главное — она воспитывает интерес к тому, что делается вокруг нас — в природе, в обществе, в культуре сегодняшнего дня.

— Кто из больших людей оказал на вас решающее влияние?

— Поскольку я уже по возрасту могу подводить итоги, считаю, что самое сильное влияние на всю мою жизнь оказал Владимир Ильич Ленин.

— Если бы можно было начать жизнь сначала, как бы вы прожили ее?

— Я прожила бы ее точно так же, как и эту мою жизнь. Даже с теми же ошибками, потому что на ошибках я училась и познавала правильное через ошибочное. Так набирался тот растущий багаж, который мы называем опытом.

— Первая ваша публикация в газете была в 1903 году, первая книга вышла в 1909 году. Только что вышел девятый том собрания ваших сочинений.

Вы так много работаете, Мариэтта Сергеевна, и в писательстве и в журналистике. Откуда вы берете столько энергии и времени, ведь в сутках только двадцать четыре часа?

— Припомните очень старое выражение, которое понимаешь не сразу и большей частью ошибочно. Оно, это выражение, имеет очень практический и в то же время научный смысл. «Имеющему много — прибавится; от неимеющего — отнимется и то малое, что он имеет». Если взять эти слова в социально-экономическом понимании, то они гнусны и античеловечны. Но если подойти к ним научно, то ведь чем больше масса, тем больше в ней силы притяжения другой массы... Один военный врач сказал мне как-то удивительную вещь. Он сказал о донорах крови, что они умные люди, потому что чем больше отдают свою кровь, тем сильнее и больше их организм вырабатывает новую кровь. Отдача — это постоянный стимул к возмещению. Я привела примеры из разных областей, но в них есть нечто общее. При творческой затрате энергии она увеличивается с годами, она как бы выработала в себе привычку возрастать при затрате. Прямая пропорция — чем больше, тем больше... Я просто жить не могу без постоянной затраты энергии. Энергия в человеке возрастает в такой же прогрессирующей степени, в какой выражается ее отдача. Чем больше работаешь, тем больше сил образуется в организме для работы. Конечно — до последней стадии жизни, именуемой одряхлением.

— Вы много ездили по свету, какое самое сильное ваше заграничное впечатление?

— С европейскими странами я знакома давно. Особенно со Швейцарией, Германией, Австрией. Эти страны я исходила пешком, будучи студенткой. Мне очень помогает знание европейских языков. О жизни этих стран я много писала в газеты. И могу сказать, что самое сильное впечатление оставила во мне культура земли европейца, выхоженность полей и лесов. Однажды я стала рассказывать немцу, как красивы наши поля колосистой пшеницы, разукрашенные васильками. Он не понял слова «василек» и, когда я описала ему василек, воскликнул: «Пфуй, пфуй! Ведь это сорняки, вы их у нас не найдете!» На Западе поражает выхоленность лесов, где все лишнее, вымершее очищается, чтобы дать расти молодняку. И еще меня поразило уважительное и доброе отношение к животным. Как-то раз на улице Лондона, это было не так давно, я наступила нечаянно на хвост кошке. Никогда не забуду ее удивленного взгляда, которым она, повернув ко мне мордочку, будто бы говорила: «Вот так раз! Такого со мной еще не бывало». Так чувствуют себя животные в Англии, где к кошкам и собакам уважительно относятся. Правда, все это не мешает чудовищной эксплуатации человека человеком и далеко не уважительному отношению к тем, кто создает своими руками материальную культуру человечества...

— Кого из писателей, пишущих на сельские темы, вы больше всего цените?

— К сожалению, я мало знаю литературу на темы сельской жизни. Очень любила яркие очерки покойного Радова. Когда-то меня потряс своими «Районными буднями» Валентин Овечкин. Из тех, кто работает сегодня, особенно интересным кажется мне Федор Абрамов. Шукшин был очень талантливым, но, на мой взгляд, несколько сусальным. Переборщать в искусстве, даже делая это на высоком уровне, вряд ли полезно.

— Вас что-нибудь связывает с Подмосковьем?

— Родилась я в Москве, училась в Москве, но в дет-

стве и молодости лето проводила в Подмосковье. А вообще Московская область мне хорошо известна больше своими промышленными центрами, такими, как Люберцы, например, или Раменское, где приходилось бывать по заданию редакций.

— Ваши творческие планы?

— Об этом я никогда не говорю. Тем более сейчас, когда через два года мне исполнится девяносто лет. В нашей стране, как известно, планы составляются заранее, но они почти всегда перевыполняются. Так что я лучше помолчу о своих планах и посвящу оставшееся время жизни их перевыполнению, нежели недовыполнению. Особенно тянет поработать вместе со всей страной, радостно и направленно, к XXV съезду партии.

Беседу вел Ф. Покровский

1975

ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ

Письма Николая Метнера[1]

Широкая общественность, к сожалению, мало знает музыку Метнера. Исполняют ее у нас очень редко. Между тем полвека назад москвичи не пропускали концертов Метнера, доставлявших своим слушателям огромное духовное наслаждение. Самый младший из тогдашней знаменитой троицы (Скрябин, Рахманинов, Метнер), он имел свой ярко выраженный путь в музыке, свою тему, свой стиль исполнения. Рахманинов, очень строгий в своих оценках, много раз, устно и печатно, называл Метнера величайшим композитором нашей эры.

И вот перед нами легли письма Метнера, собранные в огромный том. Всю жизнь ненавидевший процесс писания, с трудом, урывками, находивший время для писем,— Метнер нежданно-негаданно оставил после себя книгу

[1] Метнер Н. К. Письма. Составление, редакция, комментарии и вступительная статья З. А. Апетян. Изд-во «Советский композитор». М., 1973.

удивительной мудрости, глубоко нужную для каждого, кто творит искусство. В своей переписке, как и в жизни, поразительной по своей цельности, — он знал как будто только одно содержанье: музыку.

Начиная с письма почти мальчика, семнадцатилетнего ученика Московской консерватории, и кончая предсмертным письмом старца семидесяти одного года, Метнер всюду сохраняет эту цельность, остается верным себе, своим вкусам, убежденьям, образу жизни. В первом письме, полном отчаянья, он пишет старшему брату о смерти профессора консерватории Пабста, у которого учился три года... И в последнем письме, больной, задыхающийся, за несколько дней до своего конца: «...я накануне смерти не могу оставаться вполне равнодушным к единственному земному делу...», завещанному великими представителями музыкальной классики, «голос которых я продолжаю слышать с любовью и с угрозой всей современности...»

Какое же это «единственное земное дело», которому он хочет служить до последнего дыханья?

Обычно биографы и критики представляли себе Метнера как бы человеком «в слоновой башне искусства», изолированным от всего житейского. Каждый день жизни Метнера, если судить по внешним признакам,— это «рабочий день». Выходных нет. Он не выходит из рабочего цикла — концертов, композиции, давания уроков. Он живет музыкой и деланием музыки, как живут едой и дыханьем. Московские критики до революции доходили иной раз до упреков Метнеру не только в аполитичности, но и в равнодушии, в отсутствии лиризма, в сухости, черствости... Но эта «башня из слоновой кости» при чтении писем Метнера оказывается не только мнимой, она предстает перед нами подобной радио- и телебашням, антенной, уходящей ввысь, приемницей всей дрожи, всех судорог, всего движенья человеческого общества нашего времени. Из писем видно, как волны современности, ее философии, социологии, направлений искусства, событий истории в войне и мире — буквально захлестывают и сотрясают ум и сердце Метнера, пронзают его душу, вызывая реплики и выводы думающего, наблюдающего, чувствующего, непрестанно реагирующего человека. Только лучи и волны голосов современности, сотрясающие эту «башню», передают свое содержанье Николаю Метнеру на особом языке, почти единственном, полностью до него доходящем, — на языке

музыки. С двадцатых годов нашего века Метнер находился в Европе, бездомный, в постоянных поисках места, где можно целиком отдаться труду (композитор должен трудиться, как шахтер,— сказал он однажды), в постоянной нужде и борьбе за кусок хлеба, в неизживаемой, нарастающей, глубокой тоске по родине, любви к родине. И он буквально с ужасом воспринимает кричащее, свистящее, диссонирующее, раздирающее слух и зренье искусство, именуемое модернизмом. Правда, он думает, что воспринимает только это новое искусство, его фиглярство и трюкачество, но через разрушающую суть модернистических крайностей до него доходит и весь мир последней стадии капитализма, вся продажность и обесчеловечивание этого мира. Музыка «модернистов» вонзается в его слух вместе с «какофонией» общественной, с гангстерством, пауперизмом, чудовищным обогащеньем одних, погибаньем других, со своеобразным «последним днем Рима». Сквозь музыку он как бы переживает предчувствие гибели современной западно-империалистической цивилизации. И единственным, возможным для него, земным делом становится борьба его с модернизмом. Письма Метнера — это потрясающий документ борьбы одинокого гениального композитора против «развития» его родного искусства «не в ту сторону», борьбы за возврат к человечности, чистоту и ясность музыкального языка, а значит — за пушкинский язык в музыке и гуманизм ее содержания.

Страстная сила такой борьбы за классику, против модернизма захватывает, буквально до костей пронизывает читателя при чтении этой книги. Нет нужды останавливать вниманье на крайностях этой борьбы, нет нужды упрекать Метнера в нелогичности, в делении творчества таких композиторов, как Скрябин, таких художников, как Пикассо, на два периода (молодой Скрябин, молодой Пикассо),— не стоит вообще разбираться в том, что Метнер хорошо знал, и в том, о чем высказывался только по первому впечатлению,— важна принципиальность его борьбы. И, говоря о его борьбе, хорошо вспомнить мудрую мысль Ленина, что не всегда новое означает действительно прогрессивное... В «движеньи вперед» истории были на протяжении тысячелетий явленья инволюции, одичанья, гибели цивилизаций,— и забывать об этом гибельном движении назад на коротком отрезке истории человеческой культуры — не следует.

В книге писем Метнера читатель как бы слышит этот предостерегающий голос. Он получает пример глубокой, принципиальной цельности всей прожитой человеком-творцом жизни, множество удивительных по мудрости и глубине мыслей, уроков, наблюдений. И нам, особенно тем, кто работает творчески в искусстве, такая книга — это необходимый сейчас глоток чистого, прохладно-свежего целительного озона, наполненного «угрозой» по адресу того, что нам враждебно в западной современности.

Нельзя закончить эту заметку, не высказав благодарности З. А. Апетян, огромному труду которой обязано появление в печати писем Метнера, так же как несколькими годами раньше — писем Рахманинова и воспоминаний о нем.

1974

ЛИЦО ПОЭТА

К 100-летию со дня рождения Аветика Исаакяна

Казалось бы, нет более изученного поэта, нежели Аветик Исаакян. Его много раз переводили, над подстрочниками его стихов склонялись Блок, Брюсов, Ахматова, Пастернак. Стихи его поются не только армянским народом, и не только армянские композиторы писали на них музыку,— писали Рахманинов, Цезарь Кюи, А. Н. Александров,— но громче этих громких имен в перечне многих его песен звучат два слова: «Композитор неизвестен». Это значит, что музыку к ним создал сам народ, они сами «запелись» в народе. И все же, несмотря на такую огромную популярность, мы не можем сказать, что знаем самого поэта, изучили его жизненный путь, характер его мышления, историю его духовного роста. К столетнему юбилею Аветика Исаакяна мы подходим с очень небольшим исследовательским багажом его творчества. Мы как бы приняли его образ implicite — слитно и цельно, подобно эпическому рождению героя в народном эпосе: певец любви к матери-родине, скорби о трагической судьбе родного народа в прошедшие века, прелести армянских нагорий, аромата родных долин — и все это свое, национальное, армянское...

Так вошел его образ — эпически, почти легендарно — в сознанье народа еще до смерти самого певца. «Варпет», мастер с большой буквы,— звали его армяне.

Была, правда, несколько десятков лет назад попытка расчленить армянских поэтов, под углом зрения не только географии, но и культурных воздействий,— на «восточную группу», живших в России, и «западную», живших за рубежом, и следы этой схемы можно проследить в блестящей статье Валерия Брюсова, впервые познакомившего еще в 1916 году русского читателя с богатством армянской поэзии в своем капитальном труде — сборнике «Поэзия Армении». По этой схеме Аветик Исаакян, родившийся сто лет назад в армянской деревушке возле Александрополя (нынче Ленинакан) и учившийся в Эчмиадзине,— принадлежит к «восточной группе». Но он много лет провел за рубежом, главным образом в Париже. И Брюсов, отнесший его к «восточной группе», учел это. В те годы почти не было данных о жизни Исаакяна в Париже. Необыкновенная утонченность его лирики, изысканность его поэтических форм могли привести к мысли о воздействии на армянского поэта французского «декадентства». И если такое представленье было у Брюсова,— оно роковым образом отразилось на его переводе крупнейшей поэмы Исаакяна «Абул Ала Маари»,— переводе, до сих пор считающемся, по своей музыкальной красоте,— классическим, а значит — неоспоримым.

Но прежде чем перейти к этой поэме и ее переводу Брюсовым, главной цели моих заметок,— я должна сказать свое слово о понятии «национальное» в применении к творчеству великого армянского поэта. Да, эпический образ поэзии Исаакяна и его самого, как певца своей родины, правилен; и все, что сказано выше об этом образе, вошедшем в сознание армянского народа,— бесспорно. Однако для каждого внимательного читателя стихов и прозы Исаакяна — оно не может не показаться **недостаточным.** Дело в том, что, кроме любви к своему, к **своей** родине, — у армян вследствие исторического взаимодействия их с многочисленными культурами: римской, византийской, арабской, персидской, а позднее — русской и западной,—выработалась с течением веков еще одна черта: это любовь к чужим культурам, понимание их, интерес к ним, бескорыстное проникновение в них и умение **передать** свое знание их — другим народам. Армяне издавна, с незапамятных времен,

считались хорошими переводчиками. Они сохранили в переводе на армянский язык несколько творений греков, оригиналы которых позднее погибли и знание которых стало возможным лишь благодаря этим переводам. И рядом с уменьем любить и постигать чужое,— как глубоко национальная черта у армянских творческих работников есть и бесконечная педагогическая страсть к передаче своих знаний. Я назвала слово «варпет», мастер по-армянски, как бытующее в армянском языке. Но есть еще более определительное, другого порядка многосмысленное, старое армянское слово: «варжапет» — учитель. Осмысливать, осваивать, познавать, чтоб передать другому,— эта склонность ученичества и учительства встает как своеобразное национальное качество, лишь только представишь себе образы Абовяна, Иоаннисяна, Налбандяна, Ширванзаде и других крупных деятелей-армян. Воздух Матенадарана, хранилища-библиотеки древних армянских рукописей,— насыщен ароматом этого педагогического качества армян, атмосферой нескончаемой школы.

Аветик Исаакян начал свое детское чтение с Абовяна, он сам рассказывает о времени своего детства, когда запрещенный царской цензурой роман «Раны Армении» считался священной книгой. Его учителем в Эчмиадзинской духовной семинарии был поэт Иоаннисян. Мог ли он не воспринять от них это педагогическое качество интернационализма, расширяющее душу, широко охватывающее мир, жадное чувство любви ко всему миру, пониманье чужого? На мой взгляд, именно черта общечеловечности в национальном характере крупнейших армян-творцов — является основной и в национальном звучании бессмертной поэзии Аветика Исаакяна, хотя именно о ней пишут меньше всего.

Начну, правда, не со стихов, а с его самовысказываний, «мыслей вслух», афоризмов, которые позволяют себе писать и печатать только очень большие творцы. Удивительны у Исаакяна эти «мысли вслух»: **«Чтоб быть художником, надо пить из всех родников культуры»... «Человек большой души — тот, кто способен любить других. Если ты любишь народ, значит, ты шире душою того, кто любит только своих друзей. Любить все человечество — значит стать выше того, кто любит только свой народ»... «Человек велик в той степени, в какой он способен любить других»... «Содержание человеческой жизни — вся вселенная»...** И много, мно-

го высказываний того же рода. Мысли человека на протяжении долгой жизни могут быть случайными, противоречивыми, опрометчивыми. Но в отобранном из потока, отдаваемом на суд читателей,— всегда есть частица прочной правды, всегда всплывают главные тенденции характера. А кроме того — у Исаакяна есть свое творческое «Credo», бросающее яркий свет убедительности на все, что он пишет. Задолго до Керуака, этого теоретика американских «битников», призывавшего писать «внутренним монологом»,— Исаакян дал мудрый совет поэтам и прозаикам: **«Надо писать так, словно разговариваешь сам с собой, ведешь ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ. Вот тогда рождается искреннее** литературное произведение»...

Всем этим мыслям в прозе есть соответствие и в образах его лирики. Возьмем наиболее частую у него тему матери, оставшейся одинокой там, на родине, вдали от сына. Можно разрешить ее обычным движением образа — от общего к частному, от чужого — к своему: нищая, больная незнакомая старуха, увиденная на улице чужого города, в чужой стране, пробуждает в душе образ своей, родной матери, тоже одинокой, покинутой в нищете,— как она там, что с ней? Это — традиционный путь образа. А вот как решается тема у Аветика Исаакяна: он видит во сне свою собственную мать стоящей у стены нищенкой, больной, в лохмотьях, просящей подаянье,— и:

Я зарыдал во сне и, пробудясь,
Проплакал до утра, тоской терзаем.
Ах, сколько гибнет матерей вкруг нас,
А мы про то не ведаем, не знаем![1]

От увиденной во сне гибели собственной матери — мысль о гибели множества матерей вокруг, — **от личного — к общему.**

Или — тема о себе, как о вечном страннике, потерявшем родной «очаг», исходившем землю Европы, землю России, одиноком бродяге «без кола и двора». Как он ее разрешает? Схватит ли вас за душу тоска, передастся ли вам безнадежное чувство одиночества? А вы читаете:

...Пойду через пустыни
и моря
Средь неизвестных
дальних стран блуждать,

[1] Исаакян Аветик. Стихотворения и поэмы. Гослитиздат, М., 1960, с. 175 (стихотворение 1908 г.).

Где юная рождается заря,
Хочу все видеть,
все душой познать.
И ощутить природы чудеса,
Ее — мильоноликую —
узреть,—
Ее стотысячные голоса
Услышать, и запомнить,
и пропеть.
Я прожил жизнь
бродячую не зря...
...Я стал крылатым
ей благодаря...[1]

Самому дорогому, что есть у поэта, внуку своему, Авику, прежде чем заговорить с ним о любви к родине, Исаакян завещает:

Горячей, доброю душой
Люби весь этот мир
большой...[2]

Я могла бы привести еще десяток примеров, если не больше, перекликающихся с его афоризмами. Правда, они — как редкостные цветы в пышном букете стихов об Армении,— но в полевом букете они, эти редкостные цветы, тем заметней и ярче — и тем сильней раскрывают природу поэтического очарования творчества Исаакяна. Глубинную красоту придает его поэзии — **приобщение чувства к мысли.** Мне кажется, именно это расширенье любого чувства от малого собственного мирка — до всеохватной обобщающей мысли — и составляет силу поэзии Исаакяна.

Он был глубоким мыслителем, никогда не изменявшим себе в своей творческой работе. Таким он запомнился мне, когда я впервые с ним встретилась в Ереване. Глубокая, мудрая, добрая мысль, как постоянное выраженье, глядела из его узких, прищуренных глаз уже немолодого, много повидавшего на своем веку человека. Он сам понимал великое значение мысли в поэтическом творчестве. Привожу еще один его афоризм,— он мог бы стать темой для научной диссертации биофизика: **«Мыслящие люди и в старости сохраняют молодость души. Мысли обладают долголетием».** Молодость души — это способность чувствовать; долголе-

[1] Исаакян Аветик. Избранные произведения. Гослитиздат, М., 1952, с. 155 (стихотворение 1903 г.).

[2] Исаакян Аветик. Стихотворения и поэмы. Гослитиздат, М., 1960, с. 334.

тие мозга — тянет за собой сердце, освежает и омолаживает сердце... Таким был в свои старые годы и сам Исаакян.

И вот мы подошли к его основному труду — философской поэме в восьми песнях (сурах), написанных двустишиями (касыдами), об арабском поэте Абул Ала Маари. Русский читатель не сможет правильно прочесть ее даже во дни юбилея, из-за безоговорочного признания в Армении перевода Брюсова, обаятельного по своей поэтической красоте. Именно из-за этой красоты к нему более чем за полвека никто не подошел критически, не попытался хотя бы сличить перевод с подстрочником. Содержание поэмы на первый взгляд очень однообразно, и оттенить незаметное нарастание смысла и движенья чувств у Абул Ала Маари — в переводе Брюсова почти невозможно. Арабский поэт, изведав ложь и фальшь людей, скверну и гниль человеческой жизни,— проклял с гневом и ненавистью эту скверну, собрал караван из верблюдов, навьючил его провиантом и — помчался на восход, навстречу солнцу, не останавливаясь, ничего не жалея, в экстазе приближенья к солнцу, в экстазе отверженья всего, что было в прошлом,— друзей, семьи, женщин... Создается впечатление глубокого пессимизма, стремления к огненной гибели... Так в переводе.

Но — подойдем, как **историки,** ко времени и месту созданья: во-первых, самой поэмы, и во-вторых — ее перевода. Аветик Исаакян написал «Абул Ала Маари» в 1909 году, в родном армянском селе. Это было время сильнейшей реакции после разгрома революции 1905 года, отразившейся и на судьбе армян,— в закрытии их школ, преследовании их печати, угнетении их царизмом. Исчез воздух свободы, благодатный воздух, каким мы дышали в год 1905-й. Аветик Исаакян был измучен тоской по ней, надругательством над родной культурой, тяжким общим и личным разочарованием. И в этих условиях, в глухой деревушке, где особенно чувствуется духовное одиночество, он написал свою знаменитую поэму, вложив в нее страстный протест против насилия, страстный призыв к свободе.

А что было в годы, когда Брюсов создал **перевод** этой поэмы,— годы, предшествовавшие Октябрю? Как я уже отметила, Брюсов склонен был приписать утонченную музыкальность формы этой поэмы — влияньям Запада. Тогдашняя «декадентствующая» молодежь еще бредила стихами Малларме, Бодлера, Верлена, Рембо,— «Цветами

зла, пессимизмом, скепсисом, опьянением, наркозом отчаянья и — сильней всего — экстатическим **сном**, великим **забвением**, в ходу было даже увлеченье буддизмом, нирваной — последними стадиями вымирающего декадентства... «Музыки — прежде всего!» — это Верлен. А у нас:

В мире нет ничего
Вожделеннее сна,—
Чары есть у него,
У него тишина...
...Не понять, как несет,
И куда, и на чем,—
Он крылом не взмахнет
И не двинет плечом.

Это — «Сон» Федора Сологуба. Перевод Брюсова создавался в атмосфере этого умирающего декадентства. И самый главный вопрос, который должен был задать себе переводчик и выяснить у тех, кто помогал ему, создавал для него подстрочник,— выпал из поля зрения Брюсова, давшего себе увлечься концепцией «отрешения от жизни», «бегства от человечества», «опьянения отчаяньем», «экстаза сгорания». В поэме, кроме Абул Ала Маари, есть еще одно «действующее лицо» — Солнце. Солнце с большой буквы. И следовало прежде всего выяснить,— какое это Солнце и что вложил в этот образ Солнца, в свое стремление к нему Аветик Исаакян. Оно для него «единственное добро», «единственное святое», «вечно милосердное, поражающее смерть», «материнское объятие», «непобедимый противник мрака» и главное — свобода, свобода, безграничная, бесконечная Свобода! (смотри подстрочник, сура седьмая).

Для армян, их мифологии, сказок, фольклора — солнце,— Арэв,— это синоним жизни, справедливости, истины, свободы, высшего начала. Абул Ала, обращаясь к нему, много раз называет его «ты — выше бога, ты — сильней бога». Его стремленье к древнему мифологическому образу Солнца — многократно показано как стремленье к Добру, Свободе, Истине, особенно в седьмой и последней суре. Посмотрим же, как переведена эта сура у Брюсова, развернем и сравним подстрочник и перевод. Очарованные великолепием и музыкальностью брюсовского перевода, критики и литературоведы никогда, видимо, этого не делали. А если бы сделали...

Когда я сделала это,— я запуталась в последних сурах. Захваченный текстом поэмы, словно сам — опьяненный ею,

Брюсов допустил переносы отдельных двустиший из одной суры в другую; он самовольно ввел в текст отзвук персидского огнепоклонства, упомянув Зороастра: он изъял из пятой суры изумительные строки против царизма: «**И вот семикратно ненавижу я власть, пожирающую поколения, жадного ростовщика, ненасытного тунеядца, власть, вечно измышляющую войны**» (подстрочник, с. 216), правда — приведя множество других обличительных слов против законов и власти,— но не заменив ими конкретную выразительность этих строк. Он нарушил структуру поэмы. В ней семь сур (песен) плюс восьмая, названная в подстрочнике «сура последняя», следующая за седьмой сурой. Брюсов, видимо желая соблюсти пифагорейское число семь, соединил шестую и седьмую суры в одну, шестую,— а «последнюю суру» назвал седьмой. Поэтому получилось неравновесие объема: в последней суре по подстрочнику — 22 строки, 11 двустиший. А в соответствующей ей седьмой суре перевода, тоже последней в поэме,— только 16 строк, 8 двустиший. Для точности художественной переводчик может допустить иногда известные вольности, но лишь до той степени, когда ради красоты перевода — не переиначиваются мысль и замысел оригинала.

Сравним же «суру последнюю» поэмы Исаакяна с «сурой седьмой» (последней) перевода Брюсова.

В своей последней суре, завершающей всю поэму, Аветик Исаакян говорит косноязычными словами подстрочника:

АБДУЛ МААРИ, ПОДОБНО ОРЛУ,
НЕМИГАЮЩИМИ ГЛАЗАМИ,
устремленными на солнце,
Летел недремлюще...

Здесь отчетливо сказано Исаакяном, что Абул Ала Маари, продолжая свой бег к солнцу, **глядит**, как **глядят орлы**, — немигающими глазами прямо на солнце, и пребывает в бодрствующем, **бессонном**, возбужденном состоянии. Что дает Брюсов вместо этих строк в своей последней суре? Вот в его переводе двустишие, заканчивающее поэму:

И, пурпурным плащом одет, Маари летел,
ПОГРУЖЕН в божественный СОН,
Лазурным путем, от зари до зари, все
к Солнцу, все к Солнцу летел ОПЬЯНЕН[1].

[1] Иссакян Аветик. Стихотворения и поэмы. Гослитиздат, М., 1960, с. 334.

В подстрочнике эти две окончательные строки тоже имеются, но они звучат иначе:

И с золотопенистой
мантией
на плечах Абул Маари,
великий поэт,
летел НЕУСТАННО,
ПОБЕДНО,
ВЕЛИЧЕСТВЕННО все
к солнцу,
бессмертному солнцу.

Ну скажите, по совести, читатель, есть ли сходство между полетом, подобным орлу, немигающе, прямо глядящему на солнце, летящему **бессонно, победно, величественно** у Аветика Исаакяна, — и между полетом **«в божественном сне, в опьянении»** у Валерия Брюсова? Есть ли сходство между бодрствующим и погруженным в сон? Немыслимо серьезному исследователю не остановиться перед таким искажением перевода в месте, важнейшем для пониманья смысла и **направленности всей поэмы.**

Через 33 года, в 1942 году — опять на родине, но уже в иных, счастливых условиях победившего Октября, в свободной, новой Армении,— Исаакян страстно обращается к бойцам Великой Отечественной войны, борющимся против фашизма,— в удивительных стихах, напоминающих образы и сравнения его поэмы:

Сердце мое
на вершинах гор,
Вместе с орлами,
в приволье родном,
С тучами гневно
в грозный простор
Молнии мечет,
бросает гром...
...Буря, промчись,
гроза, разразись,
Смой с человечества
гниль и грязь!
Крылья расправив,
взвейся ввысь,
К солнцу, наша
бессмертная мысль!..[1]

---

[1] Исаакян Аветик. Избранное. Издательство «Художественная литература», М., 1970, с. 207.

Образы «орла», «крыльев»; глаголы «взвиться ввысь», к Солнцу; призыв «бури», урагана, чтоб смыть с человечества «грязь и гниль»,— все это есть и в словаре поэмы, как есть из глубины армянской мифологии взятое Солнце, наделенное качествами Добра, Свободы, бессмертной Мысли, Истины, Гнева — смывающего пороки с человечества. Нужно начать серьезное, в рамках истории, исследование «Абул Ала Маари», да и всего творчества Аветика Исаакяна, чтоб огромная сила его поэзии, кроме эстетического,— давала бы и нравственное, воспитывающее, познавательное наслаждение. А при анализе поэмы ориентиром пусть служит собственное, безоговорочное признанье поэта в его афоризме: **«О себе я могу сказать, что Абул Ала Маари, — это мое второе «я»[1].**

Дубулты
11.VIII.1975

БОЛЬШОЙ ТЕАТР МОЕГО ДЕТСТВА

Странички воспоминаний

1

Когда я просматриваю сейчас старые статьи, печатавшиеся 25 лет назад к 175-летию нашего Большого театра, меня поражает сухость и абстрактность этих статей, их конъюнктурность, а главное — отсутствие в них живого «аромата», живой исторической атмосферы зрительного зала, сохранившего свое обаяние и свое сказочное воздействие на зрителя целых два столетия. Главный упор в этих статьях делается на «идеологическую борьбу за национальное русское искусство», совсем не играющую в его истории такой исключительной роли. Идеологическая борьба за национальное искусство отнюдь не однородна; она может исходить из разных источников. За национальное искусство боролись революционные демократы: Белинский, Добролюбов, Чернышевский; и за национальное искусство бо-

[1] Афоризмы Исаакяна я цитирую по рукописи, подготовленной к печати С. Хитаровой в ее превосходном переводе. А подстрочные переводы — по ереванскому изданию 1975 года подстрочника избранных стихотворений Исаакяна.— *М. Ш.*

рились реакционеры. Первым дорога была жизненная правда, реализм, направленный вперед — к будущему; вторые умилялись на «старину», на все в этой старине — домостроевское, допетровское, любовно тянувшее назад, к прошлому. И когда речь идет о борьбе за национальное в истории нашего театра, надо **крепко помнить об этой** огромной разнице, о дистанции, отделяющей Глинку от Верстовского.

Русская передовая общественность во дни моего детства и юности видела борьбу за национальное искусство,— за реализм против сусальности «Домостроя» или лежанья на животе перед Западом,— не в Большом театре, а в возникавших вокруг него новаторских оперных начинаниях Мамонтова, Зимина и других театральных коллективов — частных и общественных. А Большой театр мы воспринимали на заре нашей жизни **как гранитную глыбу традиционности,** без критики и вне критики.

Но что это такое — гранитная глыба традиционности?

На этот вопрос нельзя ответить коротко. Почти во всех юбилейных очерках и заметках авторы приводят имена русских архитекторов, строивших здание Большого театра. Это справедливо. Но не полностью. Если читатель побывал за рубежом и посетил старые оперные театры в разных городах Европы, особенно в Италии, во Франции, в лондонском Ковент-Гардене,— он наверняка заметил поразительную **схожесть их интерьеров,** того внутреннего мира, что когда-то называли «театральной коробкой». Типичная театральная «коробка» — это внутреннее устройство, материал, цвет, свет, — ожерелье **лож,** опоясывающих зал партера, сами названья: **«партер», «бенуар», «бельэтаж»** — второй, третий, четвертый **«ярусы», «галерка»** над ними; бархат, плюш, позолота, величественный облик расписного плафона, сверкающий хрусталь люстры, расположение сцены, яма оркестра, мягкая поступь ваша, утопающая в ковровой дорожке этого праздничного великолепия, когда вы вдруг окунаетесь в атмосферу двух-трех столетий назад,— «капельдинеры»... Даже это слово живет столетия, **капельдинер,** — служитель **«капеллы»,** когда все шло от капеллы,— певцы, дирижеры, хор, и даже звание «мастер капеллы», капельмейстер. Лет пять назад мне случилось быть в Болонье, на опере Россини,— в такой же «коробке», как у нас в Большом, и капельдинеры расхаживали там в костюмах XVIII столетия. Вот этот оперный интерьер родился не у нас, он пришел **во все страны** с юго-запада

Европы,— и прижился, как «оперный театр» повсюду в мире, «оперный» той эпохи, когда балет входил в оперу лишь обязательной частью, но еще не претендовал на жанровую самостоятельность.

Отсюда, именно из этого «интерьера», вырастало понимание традиционности, как праздничности. Искусство, большое мировое искусство, празднично возносило зрителя к максимальной остроте восприятия, к тому, что мы определяем глаголами «воодушевлять», вдохновлять, поднимать над «буднями жизни»; «ando a stelle» (вознесло к звездам), восклицали в XVIII веке итальянцы о понравившемся им спектакле,— чтоб влить новую силу и энергию для этих «трудовых будней».

Традиционность — как праздничность, приподнятость мирового искусства, как зарядка для трудовых будней. Но в «глыбе традиционности» нашего Большого театра есть и свои черточки, присущие только ему. Во-первых, особая школа труда, неведомая Западу и часто забываемая у нас. Первые актеры, певцы и танцовщицы приходили на императорскую сцену из «крепостных театров» разных именитых вельмож. Могучие таланты из простого народа были собственными «душами» помещика, подвергавшего их труду почти каторжному, выучке бесчеловечной, лишенной уваженья к личности артиста; их подвергали «физическому воздействию», вколачивали в них (буквально — кнутом, розгами) дисциплину и напряженный труд,— и труд этот переходил в привычку, в постоянство школьного режима, в науку преодоления трудностей, в суровое подчиненье,— а привычка, после падения «крепости» — вошла в традицию, в очень строгие условия русской театральной школы. Во-вторых, начиная свой триумфальный путь еще в Петровском театре, русская опера использовала народную драматургию. Почти все авторы юбилейных статей, старых и новых, описывая первую фазу развития нашей оперы, называют ряд русских пьес,— типа современных «мюзиклей», где комедийные тексты как бы иллюстрируются музыкальными мелодиями, и среди этих пьес неизменно называют знаменитого тогдашнего аблесимовского «Мельника, колдуна, обманщика и свата» (текст Аблесимова, музыка Соколовского) — классический образец сюжета, построенного на социально-исторической основе. Содержание «Мельника», к сожаленью, не пересказывается,— а это содержанье типично именно для народной комедии, почти

всегда обыгрывающей историко-социальную основу своих коллизий и ситуаций. Вот оно вкратце: пять главных действующих лиц — крестьянин, его жена, их дочка, тайный возлюбленный дочки и деревенский сват и советчик, мельник. Крестьянин хочет выдать дочку за такого же землепашца, как он сам, жена его, баба чванливая, мечтает заполучить зятя-дворянина, ну а дочь хочет выйти за своего парня. Все трое тайком просят мельника о помощи. Мельник каждому обещает. И «колдовство» заключается в том, что все три взаимно противоречивых желанья он удовлетворяет в одном лице, приводя любимого дочкой парня. Когда родители возмущаются и негодуют, мельник торжествующе восклицает: «Однодворец, однодворец! Сам и пашет, и орет, за сохою сам идет!» Однодворцы — потомки барских и служилых людей, дворяне по званию, но с таким крохотным наделом (один двор), что по форме труда они те же крестьяне. Парень, выбранный девушкой, оказывается таким однодворцем. Курьез старого крепостного права — на реальной исторической основе. Такая же «социальная черточка» огромной старорежимной действительности, как «мертвые души», числящиеся в ревизских списках как живые. Но если тему мертвых душ Гоголь использовал для гениальной сатиры, тему дворянина-мужика Аблесимов обыграл в добродушной комедии. Невольно задумываешься, как важна для крепкого литературного сюжета — реальная коллизия, взятая из производственных отношений эпохи... Вот эти две особые, наши, черты в развитии Большого театра придают, как мне кажется, чудесную теплоту «гранитной глыбе праздничной традиционности», какой воспринимали мы в детстве очарование Большого театра.

2

А связей у нас с ним было в конце девятнадцатого века очень много. Мы воспитывались с сестрой в пансионе частной гимназии Л. Ф. Русевской,— а в те годы каждое закрытое учебное заведение в Москве получало во дни «царских праздников» бесплатную ложу в императорские театры. Этих «тезоименитств их величеств, высочеств, августейших особ» — именин, рождений — было множество, и приходились они почему-то, к радости школьников, главным образом на зимнее время. Мы ходили в театр по оче-

реди, в праздничных белых фартучках, с очередной классной дамой,— и знали: в бархатной ложе будет лежать на кресле длинная коробка с шоколадом, а на другой — плетеная корзиночка с фруктами. Это бесплатно угощали нас в честь «высочайших особ» кондитеры,— наперегонки Эйнем Жорж Борман, Абрикосов, Трамбле,— и фруктовщики-охотнорядцы. В антрактах на всех ярусах и в главном буфете были выставлены тоже бесплатно целые батареи тортов, целые бочки лимонадов и белый миндальный оршад, любимый напиток. Странным образом эта пропаганда «верноподданности» при всей детской любви к сладостям вызывала у нас критическое чувство «подлизыванья к нам», может быть, потому, что наши классные дамы, немка Метцлер и француженка Муше,— скрытно питали оппозиционные чувства к царизму,— первая была балтийкой, вторая швейцаркой. Но Большой театр, хоть императорский, не был виноват в «подлизыванье», был для нас чудным праздником, переносом в мир высокого, истоком музыки, наслажденьем для глаз и ушей,— и движенье чинными парочками в антрактах к буфету, жирный крем на губах от торта, это обязательное «чересчур» лакомств,— только раздражало нас, мешало осмысливать, отстаивать в памяти прослушанное действие.

Сильнейшими впечатлениями одарил мое детство Большой театр,— и сейчас, во дни его юбилея, мне хочется — как знак благодарности, пронесенной через десятки лет, рассказать читателю о двух главных впечатлениях, вынесенных из его волшебного зала. Они живут, магически сохранив свою свежесть, в глубине моей старой памяти. Одно впечатленье я отношу к разряду общественных. Другое... Но лучше все по порядку.

Однажды известный бас Большого театра, армянин Амирджан, познакомившись с нашей матерью где-то на юге России, узнал от нее, что «две ее девочки скучают, бедные, почти весь год в пансионе в Москве — и нельзя ли...». Он тотчас же обещал и заехал к нам в приемный день в гимназию,— большой, с добрыми круглыми глазами, приглаженный, пахнущий «фиксатуаром», с гвоздикой в петлице. Он повез нас с сестрой в Большой театр, на «Искателей жемчуга».

Мы с сестрой сидели на одном стуле в директорской ложе, недалеко от сцены,— но в середине оперы вдруг что-то произошло. Занавес упал, в партере начали вста-

вать, Амирджан исчез было, потом, вернувшись, со слезами в своих круглых, почти детских глазах, сунул мелочь в ладонь и тихо сказал: «Девочки, простите, вернитесь одни на извозчике домой,— я не могу сейчас,— большое несчастье — погибла наша эскадра, погиб адмирал»... он всхлипнул и отвернулся. Мы с сестрой поспешили одеться и втиснулись в толпу, двигавшуюся к выходу. Мы еще не знали, что для части зрителей наше поражение в войне с Японией и гибель любимого народом вице-адмирала Макарова означали удар по их безмятежному бытию. Начало «смуты» — так называли они назревавшую революцию. Неустойчивость русских банков. Беспорядки в армии. В университетах. Вообще «спаси и помилуй!». А множество — за стенами театра — испытывало особый подъем: «Началось!» Подъем был разлит в воздухе, в темноте вечера,— и мы, еще ничего толком не зная, вдруг почувствовали его, пережили его, заразившись этим незнакомым чувством подъема, лихорадочного ожиданья чего-то необыкновенного...

Второе огромное впечатленье я буду помнить до конца дней своих, оно осмысляется мной до сих пор. Дело было в старших классах. Мы, девочки, вырастая, заводили себе карточки наших «героев»,— и что это были за герои! В первой шеренге числились «чахоточные», — **он** был бледен, покинут всеми, умирал от чахотки, и его надо было спасти; за ними — тогдашние самые знаменитые актеры на роли «первых любовников»; напоследок — просто вырезанные откуда-то романтические физиономии или те, чья фамилия звучала романтически с окончаньем на «асский», «осский», «исский». Все мы хорошо знали по фотографиям Шаляпина, даже по имени-отчеству, но никому и в голову не пришло бы изобразить его своим «героем». На фотографиях он казался нам грубым — лицо блином, мясистое, глаза маленькие, ресницы белесые, волосы зачесаны по-приказчичьи — ничего романтического, ничего, чтоб полюбить,— невозможный для героя тип. И вдруг начальница, Любовь Федоровна, купив за аховые деньги ложу в Большой на пятом или четвертом ярусе, задумала взять одну из пансионерок, поскольку в ложе — драгоценной ложе — оказалось лишнее место. А спектакль был особый, шел «Демон» Рубинштейна с Шаляпиным в заглавной роли. Шаляпин (бас) рисковал — петь надо было высоко для него,— почти баритоном. Это было его первое выступ-

ление в «Демоне»,— и, кажется, он пел Демона в России только дважды. Любовь Федоровна взяла на этот спектакль меня.

Глухота моя тогда еще только начиналась, зрение было, как записывали врачи, «абсолютное», втиснули меня, как еще маленькую, в самый удобный угол первого ряда,— и все, до мельчайшего измененья в лице, до последнего diminuendo (угасания звука) этого голоса, единственного такого голоса в мире по бархатной силе, по тончайшей гибкости выраженья,— дошло до меня, вошло в меня, пережилось мною до физической дрожи, до трепета рук на бархате, до странного, зябкого чувства в позвоночнике — шевеленья волос на голове. Когда меня спросили дома — ну что, понравилось? — я ничего не могла ответить. Я была охвачена нечеловеческой, непереносимой жалостью, — почти задыхалась от жалости к образу, созданному Шаляпиным. Схватилась за Лермонтова,— в Лермонтове был не такой Демон. Мне показалось, что Шаляпин много думал над ролью — и потому захотел спеть Демона, что сам, по-своему, раскрыл этот образ. Из Лермонтова он взял только: «Один, как прежде, во Вселенной» и «Смертельный яд его лобзанья». Почему Тамара умерла от его лобзанья? Шаляпин захотел дать подлинную, страшную фигуру Люцифера, того, кто был одарен всем, что только можно дать человеку, но захотел бо́льшего. Не «быть как бог»,— потому что быть как бог,— равным богу,— значит быть одним-единственным во Вселенной, полным, абсолютным хозяином неделимого обладания властью, — и он пал. И так всегда будет со всяким, кто захочет стать «одним-единственным» во Вселенной, кто все раздробленное бытие человечества, составленное из миллионов людей, людских индивидуальностей, людских судеб, это бесконечное единство неисчислимых частиц бытия захочет соединить в себе одном, представить собой Вселенную... «Сумасшедшее фортепьяно», возомнившее, «что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем». По Дидро. И — по Ленину![1]

Из всего богатства лермонтовской поэмы Шаляпин как будто выбрал один этот мотив одиночества. Его «Демон» погиб не потому, что не получил любви Тамары, а потому, что сам не смог любить. У «одного-единственного» нет

---

[1] См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 18, с. 31.

дара постичь чужое «ты». «Один-единственный» — не может раздвоиться, не может изведать реальность чужого бытия,— то, что дано природой каждой тычинке в цветке, каждому червю, всему многоликому земному. Он захотел стать «единственным» — и остался «один, как прежде, во Вселенной». Когда другие певцы в «Демоне» поют: «И будешь ты царицей ми-и-ра, подруга первая моя!» — голоса их звучат триумфально. А дивный голос Шаляпина прозвучал в этой арии смертным отчаянием, мукой, полной безнадежности.

Понимание всего этого пришло не сразу ко мне. Но в те минуты на спектакле Большого театра я испытала свое первое приобщение к гениальному искусству. И оно стало мерой моего восприятия на всю последующую жизнь. Вот почему велика моя благодарность Большому театру. И хочется пожелать ему, в двухсотлетний день его рождения всегда помнить, что он может быть воистину «Большим» и стараться **быть** этим «Большим» в жизни советского общества.

22 апреля 1976 г.
Переделкино

БЕССМЕРТИЕ

Музыка Шостаковича влилась в мировую классику,— она звучит сейчас всюду, где музыкальным языком говорят у народов мира инструменты, где поют человеческие голоса. И речь этой музыки нашего великого композитора — речь советская. Она вносит в музыку мира уже не только русский, внесенный великими предшественниками Шостаковича — Глинкой, Мусоргским, Чайковским,— но и советский вклад.

Во все этапы строительства нового мира у нас, на всех стадиях развития социалистической культуры, в тяжкие минуты войны и разрухи, светлые минуты счастья, в борьбе, в мирном труде, в народном веселье, в достигнутых нами победах — она говорила с нами, говорила о нас,— говорила всеми музыкальными жанрами — камерным, оркестровым, вокальным; балетом, оперой, опереттой; созданием особой формы высоких по совершенству и глубоких по вложенной мысли симфоний.

Никогда не забудутся человечеством Пятая, Седьмая, Одиннадцатая, Четырнадцатая, бесконечно полюбившиеся нашему сердцу. Никогда не смолкнет волна доброты и нежности, идущая к нам от пленительных звуков квинтета...

Какую же особенность советского духа вносит в мир эта музыка? Я могу только повторить слова, сказанные мною давно и постоянно живущие в моем восприятии, когда снова и снова слышу музыку Шостаковича.

Характер развития, развертыванья всего потенциала музыкальной мысли у Шостаковича отличается такой непреодолимой логикой, так мощно энергичен, несравненно бодр и позитивен, что в любой его теме, даже и посвященной скорби или гибели,— энергичное развитие самой этой темы всей своей логикой, всей надежностью железного ритма, всей бодрящей остротой гармонии всегда производит на слушателя глубоко **оптимистическое, укрепляющее и взбадривающее действие!**

1976

ЛИЦО ПЕЧАТНОГО СЛОВА

(О корректуре и редактуре)

1

Когда мы критически говорим сейчас о качестве книги (а борьба «за качество и эффективность» касается и нашей писательской профессии), мы обычно имеем в виду ее содержание. Изредка прибавляется анализ ее оформления — разбор иллюстраций, обложки, бумаги, шрифта. Но ни разу не приходилось мне услышать разбора одного из важнейших слагаемых качества книги — грамотности ее печати, **грамотности** в буквенном смысле слова.

Авторский текст идет в набор в виде букв, знаков препинаний. От наборщика в прежнее время, как от нынешнего линотиписта, требуются хороший навык, внимание, известная степень интеллигентности. Оттиск с готового набора идет в руки корректоров и проходит с их помощью через три фильтра: первую корректуру, вторую корректуру, сверку. Текст тоже имеет свой очищающий фильтр — редактуру. Редактор правит не ошиб-

ки наборщика, но ошибки, описки, запамятования, неточность цитаты — самого автора. Какая высокая техника фильтрации!

На минуту обернемся к далекому прошлому. Был в мое время, когда я кончала гимназию, странный факт: все мы до пятого класса делали грубейшие ошибки в диктантах. А вот с пятого класса начинали писать абсолютно грамотно. Причины этого факта обсуждались в педагогике. Как сейчас помню один из выводов преподавателей русского языка: приближаясь к пятому, дети все больше и больше **читают**, сперва медленно, потом быстрее. Читают интересную для них классику — Тургенева, Гоголя, Гончарова... А книги ложатся перед ними в своей абсолютной грамотности: без опечаток набора, без перепутанных строк. Глаз **приучается** к чистому, грамотному, безупречному **лицу печати.** А ведь «лицо» это в старые времена было куда сложнее, чем нынешнее, и набирать было куда труднее: и «ять», и **женские окончания прилагательных**, и **твердые знаки** на концах слов, и женские **множественные числа**, и так называемые «и с точкой»... Но вот поди ты! Все трудности так легко преодолевались в наборе, так легко, автоматически, овладевались рукой школьника в диктанте, что из школы люди выходили грамотными. За вычетом причин социальных (преобладание детей интеллигентных слоев), огромную роль тут играла зрительная память. Дети гораздо больше читали дома и в школе, а страница книги воспитывала их зрение на высокой грамотности печати. Читали гораздо больше, чем нынче, не отвлекаемые ни телевизором, ни кино, где краска, линия, образ действуют сильнее на глазную сетчатку, чем слово, а само слово доходит не начертательно, а через слух. Тогдашние наборщики,— многих запомнили старые писатели, еще живущие, о многих сердечно писали в эпоху Горького,— были люди, знающие, любящие свое дело. В моей памяти еще сохранился худощавый седой старичок в очках с ваткой на переносице, набиравший мою первую книгу стихов в типографии Воронова и критикнувший одно стихотворенье... Это были замечательные наборщики, любившие книгу.

Я припомнила тут прошлое для сравнения. У меня на столе — письма студентов с орфографическими ошибками; письма начинающих писателей — с такими же

ошибками... И всякий раз больно смотреть на них, потому что еще больнее смотреть на многие наши книги, раскрытые перед миллионами читательских глаз, воспитывающие миллионы человеческих привычек, западающие в миллионную человеческую память зияющими своими опечатками, путаницей строк, пропущенными грубыми ошибками текста,— и вся эта «муть» не из «сырой воды», а из воды дистиллированной, пропущенной через могучие очистительные фильтры издательских корректоров и редакторов.

Чтоб не быть голословной, обращусь к примерам,— и таким, в которых я сама уверена. Это значит, что мне придется говорить «pro domo sua», о своем собственном. Сперва — о работе «корректуры». Но надо сказать, что оба эти издательских фильтра — корректирование набранной рукописи и редактирование самой рукописи — очень часто совпадают у нас или где-то встречаются в одном лице. Корректор ставит на полях знак вопроса,— ему что-то непонятно в тексте, и тогда автору говорят: «Тут есть к вам вопросы корректоров». И редактору, опытному, добросовестному человеку, часто приходится править пропущенные корректором опечатки, когда он читает верстку. Так вот, сперва — о корректорском фильтре.

Давно, давно, в первой половине 20-х, была у меня, в одной из ранних книг, фраза о группе опят на пне. Первая правка принесла мне ее «группой опять на пне». Я вычеркнула мягкий знак, ни к чему на грибах-опятах не нужный. Но в книге, вышедшей из печати, он был опять налицо. Это «опять» разозлило меня в грибах, куда оно заползло, как муравей, невзирая на авторскую правку. Я терпеливо объяснила корректору: «Ведь вы же видите своими глазами, упорно ставя мягкий знак, что он создает бессмыслицу?» Сказала — и надолго забыла, на многие десятилетия. Каково же было мое изумление, когда в прошлом году большое издательство, выпуская старую мою книгу по четкому машинописному тексту, где все было на своем месте, опять кинуло мне в глаза знакомого муравья: «группой опять на пне»! Опять «опять»! И опять ответ: «Опят — непонятно». Слово было воспринято молодым корректором вне текста.

Но трагедией для меня стало упрямство опечатки, когда она застряла не на десятилетия, а на три вечера

подряд,— при упорной, ударной, нервной борьбе с ней. Одна из газет прислала мне первую корректуру большого «подвала», где речь шла о Чернышевском. Несмотря на точную машинную копию оригинала, наборщик вместо Николая Гавриловича набрал почему-то Николая Григорьевича. Я исправила Григорьевича на Гавриловича, написав на полях корректуры выпускающему номер газеты: «Проследите! Безобразие! Имя Чернышевского знает каждый школьник! Пришлите верстку!» И всю ночь не могла заснуть, стараясь представить себе, как можно, глядя на рукопись, перепутать в наборе такие разные отчества. На следующий вечер мне прислали верстку. Надела очки. Смотрю. Опять вместо Гавриловича Григорьевич! Хватаю верстку, хватаю шапку... Мчусь сама в редакцию. Вхожу к «главному», вызываем литературного секретаря, вызываем выпускающего, вызываем... Все, что нужно было, сказано и указано. «Главный» возмущался. Я вернулась домой успокоенная. А на следующее утро дочери моей звонят Кукрыниксы: «Что это с твоей мамой? С каких пор Чернышевский стал Григорьевичем?» В газете опять стоял **Григорьевич**. Это похоже на анекдот, но это было. И миллионы читателей до сих пор уверены в моем невежестве. Совсем недавно один из добросовестнейших редакторов и я сама, бывшая в ту пору за рубежом, не просмотрели корректуры, доверившись тем, кому это делать надлежит. Что же получилось? В вышедшей книге — около ста опечаток, и почти столько же возмущений пришло от читателей в письмах и по телефону — издательству и мне.

Но перейдем ко второму фильтру, редакторскому. Уверена, что не только я, но и многие из нас, авторов, благодарны товарищам редакторам за вовремя замеченную ошибку, неточность, исправленную цитату, добрый совет. Все это в многотрудном деле редактора бывает, и за все это не всегда воздается ему честным «спасибо». Но зато и ошибки самих редакторов тоже угасают без публичного воздаяния, в недрах издательской кухни, оставляя для публики пятно на одном пострадавшем авторе. Поскольку цель моего разговора — принести пользу делу, перехожу к примерам отрицательным.

Один редактор-друг, встретив в моем стихотворении незнакомое слово «чебрец» (не все редакторы обязаны быть ботаниками), стал, для точности, искать это слово

в украинском словаре. И там он нашел слово «чабрец». И радуясь, что может принести другу посильную пользу, поставил вместо чебреца украинский чабрец. Он уподобился в этом добром деле медведю из басни Крылова «Пустынник и медведь». Каково было моей восточной красавице в час полнолуния произнести: «Днем чабрец на солнце я сушила». Красотка превратилась в кухарочку-хохлушку. Другой редактор-друг, очень опытный и знающий, тоже захотел меня **исправить**. Исправление это настолько невероятно и выставило меня, гетеанку, хорошо, с юных лет, знающую Гете, написавшую о Гете монографию, дважды изданную в Германии, изданную в Японии и других странах, в такое дурацкое положение перед читателями-гетеанцами, что — при всем моем уважении к своему редактору — я не могу не рассказать здесь об этом.

У Гете есть замечательное стихотворение — маленькая поэма, написанная белыми (без рифмы) стихами: «Путешествие в Харц зимой», или по-немецки «Harzreise in Winter». Немцы — для сокращенья — зовут (и знают) ее просто как «Harzreise». Она не только написана — она пережита Гете; и в этом году, кстати сказать, исполняется ровно 200 лет со времени ее пережитости и написания. Ни в одной серьезной биографии Гете нельзя обойти «Харцрейзе» и значения этой гениальной поэмы в его литературном наследстве. А через 47 лет (почти через полвека!) такое же путешествие на Харц решил предпринять и Генрих Гейне. Он был на 48 лет моложе Гете, и для него, родившегося в 1797 году, как для гетевского «Харцрейзе», наш 1977 год тоже юбилейный — 180 лет со дня рождения. Между двумя большими произведениями двух больших германских поэтов не только полвека разницы, но и нет никакого сходства. Гете свою небольшую поэму написал белыми стихами, вложив в нее огромное, благодатное для него переживанье (о нем — после). Гейне свою остросатирическую повесть написал прозой, перемежая ее изредка жемчужинами своей прелестной рифмованной лирики. Внешнее сходство — если говорить о сходстве — было лишь в возрасте путешественников: Гете — 28 лет, Гейне — 27. Да еще в желанье убежать, уединиться — для Гете от разгульной охоты веймарского герцога с его придворными, для Гейне — от невыносимо мещанского, напы-

щенно-тупого профессорско-студенческого быта Геттингенского университета. Вот и все. Цели и результаты обеих поездок были бесконечно разными.

В одной своей книге я цитирую три стихотворных строки из «Харцрейзе» Гете,— соотносящиеся у меня с моим текстом,— и тут же указываю источник, откуда они взяты. Но редактор, видимо знавший о существовании только одного «Харцрейзе», гейневского (хотя, возможно, его и не читавший), вычеркивает у меня в верстке имя **Гете** и ставит вместо него имя **Гейне**. И думает, может быть,— оказал услугу автору. Не заглянув в текст хотя бы того же Гейне, не справившись хотя бы в энциклопедии, наконец даже не снесясь с самим автором! И книга вышла, оставив в недоумении читателей, знающих Гете. И знающих меня...

Сколько таких обид претерпевает автор, если жизненный путь его долог! И нет возможности крикнуть читателю: это не я! Потому что в юридическом отношении вы тут бесправнее, чем воришка, у которого есть право на доказательство. Впрочем, я тут «зарываюсь». Редакторы, конечно, не боги. Они, конечно, не всезнайки, не полиглоты, не ходячие энциклопедии. Но в сомнительных для редактора случаях не лучше ли проявить доверие к автору? Особенно к автору, знающему свой предмет? И не лучше ли проверить себя самого путем справки в легкодоступных книгах?

Снисходительный к редакторской правке читатель может заметить: «Ну да все это не так важно! Все это мелочь! В хорошей книге все это проходит незамеченным!»

Нет, все это не проходит незамеченным. Я уже сказала выше, что «зрительная память», воздействие печатного набора на глаза имеет педагогическое значение, несет свою долю в овладении грамотностью школьника, приучает пластически чувствовать написание слов, ведет — если можно так выразиться — к ручной автоматике грамотности. Но есть и более важное,— очень, очень важное обстоятельство, когда требование редакторской точности становится шире простой грамотности, становится актом повышения качества не только печатного лица книги, но и — ее внутреннего **содержанья**. И больше того: когда отсутствие необходимейшей редакторской правки ведет к снижению качества содержанья хорошей

книги, к оскорбительной фальши большого исторического образа в этой книге.

Опять приведу пример, на этот раз — не из своего писательского опыта.

Передо мною совсем недавно изданная книга, для которой издательство не пожалело большого тиража (200 000). И она стóит этого тиража, потому что интересна в чтении. Это не исследование, не исследовательский очерк, а беллетристика. В ней содержанье «беллетризовано», как роман: действующие лица сами говорят, автор смело сообщает читателю, что они думают, испытывают, чего хотят, их внутренний мир открыт автору, как струны под приподнятой крышкой рояля. Но если речь идет о таком действующем лице, главном «герое» этой книги, как Владимир Ильич Ленин, читатель вправе требовать, а редактор **обязан** проследить, чтоб нежные молоточки правильно били по струнам, чтоб этот «внутренний мир» под открытой крышкой рояля рождал правдивую мелодию, давал правдивую интонацию, а не выстукивал «отсебятину», искажая точность образа. Книга, о которой я говорю, называется «Точка опоры». Автор ее — А. Коптелов, сибиряк, написавший очень давно превосходную повесть «Великое кочевье». Его позднейших романов о Ленине я, к сожалению, не читала. Но в издательской аннотации к этой книге, охватывающей важный период ранней эмиграции Ленина (годы 1901—1902), авторитетно сказано:

«Писатель с подлинно исследовательской глубиной изучил события, факты, письма, документы, связанные с биографией В. И. Ленина, его революционной деятельностью, и создал яркий образ великого вождя революции, продолжателя учения К. Маркса в новых исторических условиях».

Книга вышла из печати в конце 1976 года, и я прочитала ее с удовольствием, как читаешь интересную беллетристику.

Но разверните книгу на странице 94. Прочитайте сами вот эту страничку,— привожу ее почти целиком. Ленин и Вера Ивановна Засулич ждут приезда запаздывающего Струве и ведут о нем разговор:

«— Посмотрите,— Владимир Ильич развернул на столе один из свежих немецких журналов.— Полюбуйтесь на тщеславную подпись: «Peter von Struve». Фон! Не

как-нибудь! С шиком! А я, откровенно говоря, не подозревал, что он — барон.

— Ненастоящий. У него только мать урожденная баронесса Розен. Может, слышали, астраханская губернаторша! Потом — пермская. Новоявленная салтычиха. Рассказывают, разъезжала по городу верхом с нагайкой в сопровождении конной полиции. Вместо мужа принимала доклады полицмейстера. И только сенатская ревизия доконала их: губернатора прогнали. И она уехала сюда, в Германию, кажется в Штутгарт. Там Петр Бернгардович и учился. А после смерти отца ушел от матери. Вот тут-то его и взяла на воспитание, к тому времени овдовевшая, тетка — бывшая сенаторша Калмыкова.

— А теперь он, всуе произносящий имя Маркса, решил незаконно присвоить девический титул матери, блеснуть перед немцами. Какой пройдоха!» (Так отвечает Ленин Вере Засулич.)

Тут, в этом отрывке,— и на последующих страницах, где Струве приезжает и где Коптелов снова повторяет (и не раз) эти слова «баронская подпись»,— столько фальши, что становится неловко и стыдно за редактора. Частица «фон» перед фамилиями немецкими, как и частица «дё» перед фамилиями французскими, обозначает просто дворянское происхожденье. Она не имеет никакого отношения к титулам, никакой связи с титулом «барон». Это в кабацкой уличной речи в старое время насмешливо говорили, когда хотели как-то уязвить знатную персону: «Фу-ты, ну-ты, фон-барон!» Но такая речь не может быть вложена в уста Ленина. Каждый интеллигент в старой России знал значенье слова «фон». Величайший интеллигент, Ленин просто **не мог**, увидя словечко «фон» перед фамилией Струве, счесть его бароном, принять эту частицу за титул. По возрасту автор книги, Коптелов, мог не знать дореволюционной действительности, ему простительно, если уж быть снисходительным, ошибиться,— но редактор, редактор! Ведь это вопрос партийного чутья, чутья речи Ленина, умения правильно разбираться в ленинских документах, не переносить сказанное в одном каком-то месте и с одним оттеночным смыслом — в другое место, другие обстоятельства, не вкладывать от себя, не увлекаться авторской «исследовательской» уверенностью, да, наконец,— это вопрос обязательной проверки! И он строго обяза-

телен для редактора, для его осторожности, для его добросовестности.

Дальше, в речи Засулич,— ехидное «разоблачение» биографии Струве, которую можно прочесть в любой энциклопедии, и попутно задевается уважаемое Лениным и Надеждой Константиновной, достойное их уважения лицо — покойная Александра Михайловна Калмыкова. Миллионный читатель может не знать, что «Тетка» — это ее партийная кличка; что на доставаемые ею деньги издавалась «Искра»; что после Октября она доживала у нас в почете и уважении свою жизнь, как доживали и доживают ее старые большевики, ветераны Октябрьской революции. Бросить в ее адрес: «Тетка»,— бывшая сенаторша Калмыкова»,— да еще после слов о баронессе Розен,— «салтычихи» и «губернаторши»,— как-то не вяжется с речью о Калмыковой. Еще живы люди, знавшие эту прекрасную женщину. Я месяц была ее соседкой в больнице ЦеКУБУ — в тогдашнем Детском Селе (бывшем Царском) — в 20-х годах. Много общалась с ней, храню ее записочки ко мне из палаты в палату. Для нее и Владимир Ильич и Надежда Константиновна были близкие люди. И комочек легкомысленных слов, брошенных якобы Верой Засулич по ее адресу,— никак и ничем в исторической беллетристике не оправдывается.

Не почистил, кстати сказать, редактор и другие места в книге, где неприятно бросается в глаза некоторая модернизация и недостаток знания тогдашней заграничной жизни. В языке чехов выпадает буква «е» из родительного, дательного и творительного падежей имен собственных. Модрачек склоняется: Модрачка, Модрачку, Модрачком. А в книге «е» остается. Чая в бумажных пакетиках, на нитке опускаемых в стакан, в практике 1901—1902 годов в Германии не было. Все это — неисправленные «блошки», но когда их много, создается впечатление о поверхностном знании современного Запада Европы и незнании Европы начала нашего века. И всего этого с помощью редакторской правки можно было бы избежать, спасти от критики книгу, где есть интересные и увлекательные места — о Горьком, о зубатовщине, о Сибири, о жизни ленинских соратников в сибирской ссылке...

2

А теперь, читатель,— нечто историческое. Вернемся к тому же гетевскому «Харцрейзе» — путешествию, совершенному зимой 1777 года в Харц. Это — не только двухсотлетний юбилей важного, как пишет сам Гете, периода в его жизни, но и одной опечатки, доказавшей, как может быть опасна опечатка для содержания книги. И как она может отнять у критика, у биографа одно из доказательств для правильного понимания социальной «настроенности» великого поэта. У Гете в литературных произведениях почти не было документальных свидетельств о душевной его привязанности к «малым сим», о желанье пребывать в среде трудящихся, о любви к бедным и к самой бедности, о кровной связи своей с простым народом. Образ «олимпийца», «сына фортуны», «баловня богов», окруженного славой, почестью, полною чашей земных благ, вытеснил из памяти читателей деревенского кузнеца — прадеда Гете, и бедняка-портняжку, с ножницами своего ремесла за поясом, когда-то вошедшего в ворота Франкфурта-на-Майне в поисках работы,— деда Гете по отцовской линии.

Но — кровь гуще воды,— говорит немецкая пословица. Существует документальное свидетельство обо всем сказанном выше. Оно существует и в литературном произведении, и — как личное признание — в письме. Только путь к нему на некоторое время закрыла **опечатка**.

Есть в немецком языке два похожих слова: Reicher и Reiher. Первое слово означает «богатый», а второе «цапля». Гете — молодой, двадцативосьмилетний, но уже переживший период «Бури и натиска», занятый критическим обозрением всего, что он пережил,— удаляется от герцогской охоты. Один, на коне, при очень плохой погоде, предвещающей снегопад, в самом конце ноября 1777 — отправляется в Харц, чтоб подняться на высочайшую вершину Германии, легендарный Брокен. По дороге — остановка в Вернигероде, где надо навестить и подбодрить своего незнакомого корреспондента, некоего Плессинга, пишущего ему под влиянием «Вертера» письма, полные отчаяния и грозящие самоубийством. И еще остановка — для посещения начавшейся разработки горных руд... Гете ведет «геогностический дневник» — записывает залегания местных пород, каж-

дый их слой. Через много лет, уже после его смерти, этот «дневник» будет опубликован. Расширяющее чувство творческой энергии, глубокое вдыхание разреженного горного воздуха, влажные от снега кудри,— молодость! А конь идет плавной, танцевальной рысью, ритмически отбивая такты копытами, и в этом ритме рождаются, складываются у Гете изумительные стихотворные строфы. Совершенство полноты и лаконизма: только этапы поездки, группы мыслей. В позднейшем комментарии к своей «Харцрейзе» он напишет: «Ее (поэму) очень трудно распутать, потому что она касается самых разнообразных обстоятельств... приключение (авантюра), которое можно назвать причудливым, но мотивы которого — слегка в стихотворении намечены». Выше, окрыленней становится мысль, глубже дыханье, величественней — вместе с подъемом — сознанье своей свободы, гордость одиночества,— и все ниже и ниже остается город, где:

С воробьями вместе
Опустились богатые
В свои болота.

Но — двести лет назад тоже были корректора, был — если не редактор, то наборщик! И они, наборщик (Setzer) и корректор (Korrektor),— так странно слышать это в устах Гете,— допустили **опечатку** (Druckfehler)! Вот что говорит об этом сам Гете: «Удивительная опечатка» возникла в первом издании «Харцрейзе»: должно быть, оттого, что слово «богатые» наборщику или корректору показалось тут бессмысленным, они превратили его в «цапли», более подходящие к упомянутым «воробьям»[1]. Сам Гете исправил опечатку для последующих изданий, но много раз, даже в некоторых почти современных изданиях (сборник «Alles um Liebe», Мюнхен, 1907), вдруг появляются, вопреки комментариям самого Гете, эти корректорские «цапли». А Гете объясняет, почему он представил себе «богатых» залегшими в свое болото: «Тот, кто пренебрегает собственными удобствами, охотно презирает тех, кто испытывает от этих

---

[1] «Goethe's sämmtliche Werke», Verlag von Philipp Reclam jun Zweiter, Leipzig. S. 174.

удобств приятные чувства удовольствия»[1]. Удобства, комфорт — болото богатых.

Между тем «цапли» помешали многим исследователям прочитать по-новому (в связи с презрением к «богатым») потрясающие письма Гете к Шарлотте фон Штейн — он писал их тогда же, во время поездки,—4, 6, 9, 12 декабря 1777 года. Писал той, кого любил со страстью и мукой, чье бытие чувствовал так же реально, как свое, кому хотелось излить душу, открыться, как никому другому, сказать самое главное, самое потаенное, почти святое... Вот эти признания:

«...Как сильно я снова чувствую на этом темном пути любовь к тому классу людей! Тому, кого считают низшими! И кто, конечно, высший у бога! В нем все добродетели вместе, ограничение, довольство малым, прямота, верность, радость от малейшего добра, безобидность, терпение... терпение... Я сушу свою одежду возле печки. Как мало нужно человеку, и как приятно ему становится, когда он чувствует, как сильно он в этом малом нуждается... У меня странное ощущение — бродить бы по свету никому не известным человеком, мне кажется — мое отношение к людям и к вещам стало бы тогда гораздо правдивей, истинней... Но польза для моих фантастических чувств от общения только с теми людьми, кто делает определенное, простое, длительное важное дело,— она несказанна, она как холодный душ, который извлекает человека из чувственной буржуазной расслабленности снова к новой и крепкой жизни»[2].

Вот эти вырвавшиеся честные, задушевные признания у великого поэта, правнука деревенского кузнеца... Гете никогда не был более искренним, чем в этом, вырвавшемся у него, сына простого, трудового немецкого народа, признания.

И на пути к этому признанию встала двести лет назад малюсенькая, совсем безвредная на вид, но тем не менее очень вредная опечатка, отвлекающая читателя и биографа от гетевской критики богатых — к невинным болотным цаплям.

1977

---

[1] «Goethe's sämmtliche Werke», Zweiter Band, s. 174.— перевод мой.— *М. Ш.*

[2] «Alles um Liebe». S. 204—206.

НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ

I

В биографиях Гейне, особенно ранних, когда память о нем, живом и современном, еще не отодвинулась в прошлое, постоянно упоминается о противоречиях, двойственности, верней, раздвоенности поэта: его удивительной природной мягкости, нежности, доброте к людям — и озлобленной колкости, беспощадных сарказмах, какими он осыпал в стихах и прозе своих противников.

Двойственность появилась у него как будто с самого начала жизни. Он родился в Дюссельдорфе 13 декабря 1797 года в зажиточной еврейской семье и был назван именем Гарри. Именно Гарри Гейне был студентом в Бонне и в Геттингене, а Генрихом он стал после крещения, приняв лютеранство[1]. И нам сейчас как-то странно представить себе бессмертного Генриха Гейне озорным Гарри в студенческой шапочке, высмеивавшим геттингенское мещанство и тупую университетскую профессуру.

Двойственно было и его физическое бытие. Родившись хрупким, он и в юности не отличался крепким здоровьем. Но поразителен конец его жизни. В длинном деловом письме Энгельса Брюссельскому коммунистическому комитету из Парижа от 16 сентября 1846 года он сообщает:

«...Гейне опять здесь... третьего дня я был у него вместе с Э[вербеком]. Бедняга в ужасном состоянии. Он исхудал и похож на скелет. Размягчение мозга распространяется дальше, паралич лица также. Э[вербек] говорит, что Гейне может внезапно умереть от отека легких или от удара; но может также протянуть еще года три или четыре, чувствуя себя то лучше, то хуже. Настроение у него, конечно, несколько подавленное, грустное и, что самое характерное, он очень благожелателен (вполне серьезно) в своих суждениях. Только по поводу Мейера он непрерывно острит. В общем, он сохранил всю свою духовную энергию, но его облик, еще более странный благодаря седой бородке, которую он отпустил (ему нельзя больше брить подбородок), спосо-

---

[1] 28 июня 1825 года, в 27-летнем возрасте.

бен привести в глубочайшее уныние всякого, кто его видит. Страшно мучительно наблюдать, как такой славный малый постепенно умирает»[1]. А через неполных полтора года, 14 января 1848-го, уже непосредственно Марксу, Энгельс пишет:

«Гейне при смерти. Две недели тому назад я был у него, он лежал в постели, с ним случился нервный припадок. Вчера он встал, но находится в крайне жалком состоянии. Он с трудом может сделать три шага, опираясь о стены, пробирается от кресла к постели и Vice versa»[2]. И вот этот «умирающий», «находящийся при смерти» — таким видят и описывают его друзья,— живет и живет,— в страшных муках, но не думая умирать,— живет еще восемь долгих лет, восемь лет «при смерти», до 17 февраля 1856 года. И не только живет — продолжает творить, создает свои пленительные «Романсеро», свое мудрое послесловие к ним, последние лирические стихотворения, прозу. Он острит, когда смерть сидит у его изголовья; влюбляется в последний раз в милую девушку, Камиллу Сельден; за день до смерти шесть часов подряд пишет свои мемуары; произносит прощальную просьбу, звучащую как приказание: «Бумаги и карандаш!» — и это, по рассказам биографов, были его «последние слова», а на следующий день смерть наконец настигает его. Таким он встает, умирая, во весь рост, если верить воспоминаниям Мейснера и французской книжке предмета его предсмертной влюбленности Камиллы Сельден,— «Мушки», Mouche, как он ее звал. Болезненность, слабость, мягкость — и бурная, неиссякаемая творческая сила духа, заставляющая даже Смерть присесть и подождать у постели...

Противоречие. Но что такое «противоречие»?

Есть страничка у Ленина, где он, один на один с книгой, как бы вслух с собой говорит, конспектируя чужой текст. «Книга»,— кстати сказать, одна из самых «сильно действующих» в истории печатного слова,— это гегелевская «Наука логики». Конспект Ленина — это двадцать девятый том его Полного собрания сочинений. «Одна страничка» — это страница 89, где все, каждое слово без

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М., Госполитиздат, 1962. Т. 27, с. 44. На обороте письма: «Г-ну Карлу Марксу».

[2] Там же, с. 107. Vice versa — обратно.

исключения, имеет огромную важность, хотя, казалось бы, тут только выписки из Гегеля. Но Ленин отзывается о том, что он выписывает из Гегеля: «Очень важно!!»[1] Он по-своему объясняет «два основных требованья», поставленных Гегелем («Необходимость связей» и «имманентное происхождение различий»), и опять же по-своему приходит к выводу на конце странички. Я не ставлю, выписывая это место, в кавычки слова самого Ленина, чтоб перед читателем не перепутались тексты Гегеля, поставленные в кавычки Лениным, с его собственными. Я переношу также переводы гегелевских текстов, сделанные редакцией издания, из сносок — рядом с немецким текстом, опять же для удобства читателя. Итак:

Две важные вещи:

(1) Die Objektivität des Scheins

(редакция в сноске переводит это место «объективность кажимости»).

(2) Die Notwendigkeit des Widerspruchs

(редакция переводит это место «необходимость противоречия»).

Дальше у Ленина идут не менее важные выписки из Гегеля, взятые им в кавычки,— сперва без кавычек:

Selbstbewegende Seele

(опять же переведенная редакцией в сноске, как «самодвижущаяся душа», хотя точнее, по-гегелевски, было бы «себя движущая душа»).

Потом в кавычках: («внутренняя негативность») ...«принцип всякой природной и духовной жизненности»...

То есть Ленин, выписывая отдельные слова и фразы из гегелевской «Науки логики», как бы сам для себя поясняет внутренний принцип диалектики, лежащий в основе развития природы и духовной жизни человека,— себя самое движущей души.

Думайте, читатель, над этой страничкой Ленина, где он как бы сам себе поясняет глубочайший урок Гегеля! Где он двумя восклицательными знаками подчеркивает его важность!! **Необходимость противоречия для себя — движущей души,** потому что это «принцип всякой природной и духовной жизненности».

---

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. М., Госполитиздат, 1963, т. 29, с. 89. Философские тетради.

Спустя много, много лет советский ученый, ленинградец Б. П. Токин, воскрешая мысль покойного советского биолога Бауэра, создал учение (а точнее, бросил гениальную мысль) о необходимости «устойчивого неравновесия» как принципа жизненности, длительного поддержания и воспроизведения энергии человека. Устойчивое неравновесие — что это? Не то же ли самое, о чем Ленин написал с двумя восклицательными знаками в начале своей странички: «Очень важно!!» Необходимость противоречия (неравновесие — механика вечного двигателя), но и вечный стержень этого неравновесия — **связь**, происхождение противоречий из одного корня, «имманентность» различий. Вечные противоречия, терзавшие душу великого поэта-лирика, создателя лирической прозы,— не они ли растянули долгую жизненность его предсмертия, огромную длительность его негасающей энергии,— «устойчивое неравновесие» его слабеющего тела, разлагающейся материи? Но это — между прочим, вопрос — наедине с поэтом, для себя. А насчет противоречия: вся эпоха, весь тот отрезок времени, когда прожил Гейне свою половину века, были полны ими, буквально кишели ими, как корзинка фокусника-факира, наполненная клубком змей.

Гейне пережил множество «переходов» явлений из количеств в качества. На его глазах прошло и закатилось огромное по размаху бытие Наполеона, закованного англичанами в граниты Святой Елены. Он видел, как изжившие себя тени средневековья шарахнулись от шагов этого гиганта человеческой энергии, начали изгоняться из европейского юридического права, из затхлых уголков лоскутного одеяла немецких княжеств, из мрачных монастырских застенков католицизма, из невежества, мещанского филистерства. Но тут же на плечи двинувшегося было вперед человечества опустилась тяжелая рука Тройственного союза, русского царизма, растущей Пруссии, нового «сговора», нового «вождизма», но уже попятного движения «вождей», отступающего океанского вала истории. А вместе с отступающей пеной океанского вала поползли от берега легковесные человечки, те, кто так легко участвовал в борьбе человечества за свободу, поднимаясь вверх вместе с валом, и так легко,— по легкости веса,— отхлынули вместе с ним назад — в пене отступающей волны истории. Гейне ви-

дел — и пережил — утро «Молодой Германии», казавшееся смелым вызовом всему, что устарело,— и ее вечер, когда утренняя свежесть превратилась в гнилые испарения фальши, в перерождение борьбы, в приспособленчество. Друзья, становившиеся врагами, фальшь остающихся фасадов без содержания за ними, как нарисованные на сцене декорации,— все эти «превращения» истории проделывались живыми людьми, знакомыми «актерами» театра жизни. У них были имена, известные в то время. И Гейне, перекраивая имена, но так, что можно было сразу узнать и указать пальцем, кто под ними, высмеивал, колол остротами, осыпал их отравленными стрелами в своих стихах, поэмах, путевых очерках. Изменившиеся обстоятельства,— и люди, изменявшиеся вместе с ними, вставали в образах «Атта Троллей», «Крапюлинских», «Вашлапских», индусских королей, ведших войну из-за короны («Висвамитра») Кобеса Первого,— и многих, многих других — во множестве «Anspielungen»,—намеков, дразнений, высмеиваний, тончайших «шпилек», уколов, наигрываний, какими беспощадно разил их Гейне, разил той типично немецкой сатирой, заставлявшей хохотать каждого немца, хватавшегося от хохота за живот,— сатирой, основанной на интонации,— когда смешное преподносится серьезным тоном. В переводе оно теряет свою силу. Ну, например:

Zu Aachen, im alten Dome, liegt
Karolus Magnus begraben,—
Man muß ihn nicht verwechseln mit Karl
Mayer, der lebt in Schwaben[1].

(В Аахане, старом соборе,— лежит погребен Карл Великий,— не надо смешивать его с Карлом Мейером, тот живет в Швабии.) Нашему уху это серьезное предупреждение — не смешивать Каролюса Магнуса с Карлом Мейером, живущим в Швабии,— уже не кажется смешным, но я уверена, что и сейчас немцы хохочут над этим четверостишием из «Зимней сказки»,— тут сцеплено много всего, смешное под видом серьезного,— Карл Мейер, бездарный швабский поэт-романтик, со Швабией, особо известной наивной глуповатостью некоторых своих жителей. Для нас это исторически уже отжило.

[1] Heinrich Heine. Собрание сочинений в 12-ти томах. Берлин. Издание Weichert'а. Том 2. «Германия. Зимняя сказка». С. 205 (глава III).

А Гейне жалит и жалит издевательской серьезностью своей интонации, разделывается с врагами, с отступниками, с сентиментальностью, переходящей в пошлость, со смелостью, соскользнувшей в мистику и реакцию, с борцами, ставшими приспособленцами, с «Молодой Германией» и ее романтиками, когда-то близкими, но перебежавшими в поповство; с прусским солдафонством во всех его видах. Две шутки-шпильки из этой бессмертной кладовой политического юмора Гейне:

Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein! sei'n Sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück[1].

(Барышня,— не вообще барышня — ein, а барышня определенная— das — стояла на берегу моря и долго и тяжко вздыхала: уж очень ее трогал закат солнца. Моя барышня, подбодритесь, эта старая штука: здесь, спереди, оно заходит, а там, сзади, возвращается обратно.)

Или еще одно, с очень яркой, почти актерской переменой интонации, явным баритоном первого куплета и визгливым сопрано второго:

O, mein gnädiges Fräulein, erlaubt
Mir, kranken Sohn der Musen,
Daß schlummernd ruhe mein Sängerhaupt
Auf Eurem Schwanenbusen!

«Mein Herr! Wie können Sie es wagen,
Mir so was in Gesellschaft zu sagen?»[2]

(О, моя милостивая барышня, позвольте мне, больному сыну муз, чтоб моя голова певца отдохнула, дремля на вашей лебединой груди! — Милостивый государь, как

---

[1] Heinrich Heine. Собрание сочинений в 12-ти томах. Берлин. Издание Weichert'a. Том 2, с. 26. Verschiedene. Разное. (1832—1839).

[2] Heinrich Heine. Собрание сочинений в 12-ти томах. Берлин. Издание Weichert'a. Том. 1. «Добавление к «Песням любви», 23-я песня, с. 194.

смеете вы говорить мне нечто подобное — в обществе!)

Я уже заметила выше, что под всеми вымышленными именами и событиями осмеивались поэтом реальные исторические лица и происшествия. Читающее человечество давно бы забыло их, перестало понимать заключенный в них смысл, если б они не сделались оружием в политической борьбе. На вооружение их взял Маркс. Если прочесть несколько томов писем Маркса и Энгельса, изданных у нас в «Собрании сочинений» Институтом марксизма-ленинизма,— примерно с 27-го по 35-й том, то увидишь, насколько пронизаны письма Карла Маркса (а также — в меньшей степени — и письма Энгельса) цитатами из Гейне. Маски имен спадают с лиц, вы узнаете в «Крапюлинском» ничтожного Луи Бонапарта, в Атта Тролле — Арнольда Руге, в Вашлапском — Августа Виллаха, отколовшегося от Союза коммунистов в 1850 году,— и т. д. Исторические персонажи, друзья, ставшие врагами (как Руге), сектанты, мешавшие созданию Коммунистического союза, соглашатели всякого рода — все они оживают, и замечательно, что на всех них находит Маркс острое оружие в поэзии Генриха Гейне. Это оружие становится для него таким обычным и «сподручным», тут же, под рукой (в памяти) оказывающимся в нужную минуту, что даже имя самого поэта не произносится, цитата сразу угадывается, откуда ее берет Маркс, и вы испытываете огромное, почти личное, удовлетворение от того, насколько художественная литература может помочь политику-борцу. Временами над чтением писем Маркса я невольно вспоминала свое чувство «нужности писателя — политику», когда работала над взаимоотношением, а точнее — отношением Ленина к Горькому.

Маркс цитировал Гейне из поэмы «Атта Тролль», из «Путевых картин» («Зимняя сказка»), из стихотворений «Два рыцаря», «Рыцарь Олаф», из больших циклов «Романсеро», «Возвращение на родину», «Северное море» — причем роль политического оружия иногда играли у него строки чисто поэтические, по-своему неожиданно остро повернутые Марксом в сторону публицистическую. Не один раз использовалась в переписке Маркса — Энгельса стихотворная строка из «Атта Тролля», со страшной силой бросавшаяся ими на головы бездарных своих противников в качестве их характеристики:

Не талант, зато характер![1]

Маркс, как правило, не отличался в своих письмах особой сентиментальностью и был очень целомудрен в открытом проявлении своих чувств. Резкий и беспощадный в борьбе, умевший рвать отношения с теми, кто переставал быть его единомышленником,— он никогда не порывал с Гейне и только к нему в своей переписке вдруг проявил какую-то особенную теплоту, почти нежность. Известное его письмо к Гейне от 12 января 1845 года перед отъездом Маркса в Брюссель:

«Дорогой друг!

Я надеюсь, что завтра у меня еще будет время увидеться с Вами. Я уезжаю в понедельник. Только что у меня был издатель Леске. Он издает в Дармштадте выходящий без цензуры трехмесячный журнал. Я, Энгельс, Гесс, Гервег, Юнг и другие сотрудничаем. Он просил меня переговорить с Вами о Вашем сотрудничестве в области поэзии или прозы. Я уверен, что Вы от этого не откажетесь, нам ведь нужно использовать каждый случай, чтобы обосноваться в самой Германии.

Из всех людей, с которыми мне здесь приходится расставаться, разлука с Гейне для меня тяжелее всего. Мне очень хотелось бы взять Вас с собой. Передайте привет Вашей супруге от меня и моей жены.

Ваш К. Маркс»[2].

Так необычно, не по-марксовски, почти по-женски звучат последние строки письма — и это употребление в третьем лице фамилии Гейне, словно стесняется Маркс написать прямо «разлука с Вами». Но при всей уникальности такого письма в переписке Маркса я считаю еще более ярким выражением дружбы и такта — и даже нежности — другое письмо Маркса к Гейне,— уже из Брюсселя (около 5 апреля 1846 года). Гейне, измученный своей страшной болезнью, лежит в Париже. Людвиг Берне, с которым он когда-то дружил и о котором издал правдивую, честную и политически нужную книгу, отомстил ему «из-за гроба», в посмертном издании сво-

[1] Heinrich Heine. Издание Weichert'a. Berlin. Том 2, с. 188. В сносках русского издания Маркса — Энгельса неправильно указывается 24-я глава «Атта Тролля». На самом деле она помещена в 25-й главе, заканчивает эту главу.

[2] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М., Госполитиздат, 1962. Том 27, с. 386—387.

их писем, где он злобно оклеветал Гейне. В такую минуту — лучшая поддержка для писателя — это умное понимание того, что произошло. Маркс пишет ему:

«Дорогой Гейне!

...Несколько дней тому назад мне случайно попался небольшой пасквиль против Вас — посмертное издание писем Берне. Я бы никогда не поверил, что Берне так безвкусен, мелочен и пошл, если бы не эти черным по белому написанные строки. А послесловие Гуцкова и т. д.— что за жалкая мазня! В одном из немецких журналов я дам подробный разбор Вашей книги о Берне. Вряд ли в какой-либо период истории литературы какая-нибудь книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали Вашей книге христианско-германские ослы, а между тем ни в какой исторический период в Германии не ощущалось недостатка в тупоумии.

Может быть, Вы хотели бы сообщить мне еще что-нибудь «специальное» относительно Вашей книги,— в таком случае сделайте это поскорее.

Ваш К. Маркс»[1].

Замечательно, что даже в первом томе «Капитала» Маркс не обходится без Гейне. В одном месте он цитирует его, не называя по имени, а в другом, говоря о Бентаме, пишет: «Если б я обладал смелостью моего друга Г. Гейне...»[2]

И все-таки даже такие большие проявления настоящей дружбы, как эти высказывания, мне кажется, уступают выражению глубокой и настоящей идейно-политической близости Маркса к Генриху Гейне нескольким словам Маркса в официальном документе. Надо держать в памяти, что Маркс был моложе Гейне на двадцать один год. Предыдущие его письма, как и цитирование, как и теплое чувство к Гейне, были отношением двадцативосьмилетнего, еще не полностью раскрывшего свои силы, еще молодого Маркса к уже больному, зрелому, широко известному поэту. Но вот перед нами официальный документ — огромное информационное письмо сорокадвухлетнего Маркса, признанного вождя коммунистического движения во всем мире, адресованное 3 марта 1860 года из Манчестера в Берлин юстицрату (советни-

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Том 27, с. 393.

[2] Там же, т. 23, с. 624.

ку юстиции) Веберу, взявшемуся вести процесс Маркса против берлинской газеты «National-Zeitung». В этом письме Маркс со скрупулезной точностью сообщает Веберу обо всем, что тот должен знать из его политической деятельности и между прочими сведениями, на одной из последних страниц, дает справку: «В Париже вместе с Фридрихом Энгельсом, Георгом Гервегом, Генрихом Гейне и Арнольдом Руге (с Гервегом и Руге я впоследствии порвал) я издавал «Deutsche Französische Jahrbücher»[1].

Ничего как будто особенного. Но с Гервегом и Руге Маркс «впоследствии порвал». А Генрих Гейне остался в списке рядом с самым близким Марксу человеком — с Фридрихом Энгельсом. Эта справка писалась спустя четыре года после смерти Генриха Гейне. Маркс никогда не порывал с ним. Не переставал цитировать его до конца собственной жизни. А значит, не переставал и читать. И читать не только «публициста», не только великого **революционного** поэта Гейне, как сообщается нам во всех наших биографических справочниках, но как великого лирика, давшего человечеству бессмертные песни о любви... За одиннадцать месяцев до своей смерти, лечась в Алжире от плеврита, Маркс пишет Энгельсу в Лондон 18 апреля 1882 года шутливо-ироническое письмо о себе, о своем сложном лечении, о болях, бессоннице и о том, что он хорошим сном «должен вознаградить себя за бессонные ночи». Он обращается сам к себе с наполненной горечью шуткой и заканчивает ее, перефразируя горькую лирическую строку из Гейне:

«В самом деле, спи, «чего ж тебе больше желать»
Mein Liebchen, was willst du mehr?[2]
(Моя милочка, чего ж тебе больше желать?)

II

Нельзя ставить точку, не сказав ни слова о главном. А главное, разумеется, в тайне очарования самой поэзии Генриха Гейне, в том, что живет, живет и продолжает жить в каждом сердце, прикоснувшемся к ней.

Есть слова... И есть музыка. И было в древнее время,

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Том 30, с. 419. «Немецко-французские ежегодники».

[2] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М., Госполитиздат, 1964. Том 35, с. 46.

на заре человечества, у греков, слитное звучание двух этих слов в одном-единственном понятии: «Мелос». Очень, очень редко у величайших лирических поэтов попадаются образцы такого слитного звучания музыки и слова, когда композитору легко найти свою музыку в словах поэтического текста, а читателю, когда он глазами видит перед собой стихотворение, оно безмолвно поет ему голосом извлеченной из него композитором мелодии. Словно неразрывны они. Словно родились одновременно. Так случилось, например, с одним из лучших произведений мировой лирики — стихотворением Генриха Гейне. Самим поэтом оно оставлено без названия. Но композитор окрестил его словом «Двойник», взятым из того же текста. По-немецки «Doppelgänger».

Думаю, что многие мои читатели знают дивную музыку, извлеченную из него Шубертом[1]. Когда читаешь про себя только слова, даже просто видишь их перед глазами,— вам кажется, что в ваших глазах стоит видимая музыка. Есть такое выражение «мурашки по коже». Спокойно слушать эти слова-звуки невозможно — волосы шевелятся у вас на голове, холодный трепет проходит по позвоночнику. А все так просто и даже обыкновенно как будто. Приведу первое четверостишие в оригинале:

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
In diesem Hause wohnte mein Schatz,
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
Doch steht noch das Haus auf demselben Platz[2].

Тихая ночь, покоятся переулки, поэт видит дом, где жила его возлюбленная. Она давно покинула город, но дом стоит там же, на том же месте, где он раньше стоял... И еще — стоит человек перед домом, он глядит вверх, на окно, и ломает руки в порыве любовной тоски. Поэту страшно: он в лунном свете узнает в человеке себя самого. «Ты, мой двойник, ты, бледный малый, зачем обезьянишь муку мою, терзавшую меня многие ночи на

[1] Heinrich Heine. Издание Weichert'a. Том 1, с. 41—112. Из «Возвращения на родину». Франц Шуберт, кстати сказать, тоже «празднует» в этом году свое 180-летие. Он, как и Гейне, родился в 1797 году.

[2] Heinrich Heine. Собрание сочинений в 12-ти томах. Берлин. Издание Weichert'a. Том 1, с. 95—96. Цикл «Возвращение на родину». Стихи 1823—1824 годов.

этом же месте в старое время!») Таким возгласом кончается все стихотворение, если пытаться передать его «суконной прозой». Но что тут страшного, необычного? Почему волосы дыбом, мурашки по коже? Музыка начинается глухо, повествовательно, на низких нотах, ничего мягкого. В слове «ruhen» (покоятся) мерещится что-то трубное, духовой инструмент. Словно в темноте вы проходите мимо кладбища. А ведь поэт мог бы сказать другое слово, schlummern (дремлют) — и не Gassen (переулки), а Strassen (улицы), и запела бы виолончель, грудное контральто, и ни размер, ни рифма не нарушились бы. Но у Гейне не улицы, у него — переулки, пространства суживаются, темнота густеет, квартал делается старой частью города, где еще сохранилась угловатая готика средневековья. Но что же все-таки потрясает, страшит? Вдумываясь, вживаясь в холод поднимающейся снизу глухой мелодии, в слова, так точно подобранные по движению смысла к образу, начинаешь вдруг нащупывать нечто. Как всегда, у Гейне потрясает напряженность внутри, когда ритм речи, как живое существо в мешке, рвется и содрогается от крепких оков метра; и то, что я написала выше, движение смысла к образу или, наоборот, образа к смыслу в повествовательной картине обрушивается на ваше восприятие огромной силы противоречием, **противостоянием** двух разных вещей: **жизни** и **памяти** — одновременно, сразу, друг против друга. В жизни все течет, все проходит. В памяти все останавливается, все стоит. И вдруг они — вместе, и это переживается. Так остро переживается в самом поэте, что он раздваивается и кричит, кричит на самого себя.

Не знаю, чувствуют ли то же самое другие читатели Гейне, разбираясь в остроте восприятия его лирики. Но вот еще одно стихотворение, и опять по-немецки, потому что оно тоже дышит музыкой, а музыка не нуждается в переводчике, она сама говорит на всех языках мира:

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlornes Lieb! Ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,

Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist[1].

Слово «grolle» — злобствую, гневаюсь, сержусь, ворчу — здесь имеет свой какой-то звуковой смысл, выражающий нечто от звуков рокота, заимствованных от природы. Обыкновенные словари никогда не пускаются в долгие объяснения наподобие «толковых». Но вот неожиданно старый немецко-русский словарь Павловского, изданный в 1902 году в Лейпциге, обнаружил какую-то звуковую заинтересованность и, приведя этот глагол, прибавил к нему от себя в скобках: «глухо катящиеся тона; от грома; от волн». Это значит, глагол в первом своем смысле родился из звукоподражания грозным явлениям природы. И Гейне выбрал этот глагол (хотя мог бы взять вместо него ich klage nicht, ich weine nicht — «я не жалуюсь», «я не плачу») — опять, может быть, по признаку низкого, грудного тона его звучания:

«Я не гневаюсь (не гремлю, нарастая, не бушую, не веду себя бурно),— хотя у меня разрывается сердце... Навеки потерянная любовь, я не злобствую. Хоть ты и сияешь в роскоши своих бриллиантов,— ни один луч не падает в ночь твоего сердца. Я давно это знаю. Ведь я видел тебя во сне. И видел ночь в каморке твоего сердца. И видел змею, пожирающую твое сердце. И видел, любовь моя, до чего ты несчастна».

По-немецки это стихотворение тоже потрясает и тоже страшно. Оно достигло такой вершины поэтического лаконизма, что кажется прозой. Прозой, хотя это непереводимо, необъяснимо, до боли, до отчаяния прекрасно. В каком-то странном, словно предсмертном преображении при взгляде на змею, обвившую сердце изменницы, змею, пожирающую ее сердце, у поэта из его собственного обманутого, разбитого ею сердца, внезапно на ваших глазах вырастает цветок божественного милосердия. По страшной силе чистоты переживания этот лирический перл Гейне поднимается до лермонтовского «По небу полуночи»...

А может быть, и выше.

Сентябрь 1977 г.
Переделкино

---

[1] То же. Том 1, с. 66. Из «Лирического интермеццо» (1822—1823).

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

К 40-летию Первого съезда советских писателей

Нам трудно сейчас,— хоть и прошло сорок лет,— писать о нашем Первом съезде исторически, с учетом всех его слагаемых. Но каждый из нас, участников съезда, имеет свой опыт пережитого, и этим личным опытом я хочу поделиться.

Август был в 34-м году необыкновенный. Было жарко. Но — как в стакане комнатной воды, куда брошен кусочек льда,— на дне вашего дыхания вы вдруг ощущали льдистую, приятную прохладу. Тех, кто оставался летом в Москве, лихорадило нервной предсъездовской суетой организационной подготовки нового для нас события.

Было бы ложью сказать, что все шло гладко и просто. Наоборот, было всякое — и скептицизм, и полемика в газетах, и ворчуны, и скептики, и самолюбцы, всегда чем-то обиженные и недовольные. Именно в эти сложные дни, перед началом съезда, я встретила на улице вернувшегося с юга, загорелого, взволнованного Малышкина. Он тут же, заговоривши милым своим заикающимся говорком, радостно-возбужденно внес свою, очень простую, даже примитивную ноту в наши психологические сложности:

— Трогает, трогает забота Советской власти о писателях... Такой большой праздник для нас! Хочется выступить. Только вот не умею, трудно выступать с моим заиканьем... а надо, непременно надо. Столько у нас, у всех, накопилось сказать!

Это говорил не «примитивист», а тонкий и сложный писатель, за плечами которого уже были великолепный «Севастополь», поэтическое «Падение Даира». Как сейчас помню свой конфуз перед этой искренней, чистосердечной речью. Что-то откликнулось во мне. Съезд вдруг повернулся лицом — праздником, возможностью встретиться, познакомиться, высказаться с трибуны, честно, полно, об итогах сделанного, об опыте пережитых и написанных книг. Открыто высказаться,— со всеми и перед всеми,— а не поддаваясь случайным толкам по уголкам и закоулкам, не в атмосфере заранее заготовленных представлений... Большая это мудрость, не всем

доступная сразу: уметь дать говорить собеседнику — прежде чем сунуться самому в разговор,— и уметь встретить любое событие, прежде чем наклеить на него заранее заготовленные ярлыки.

...Съезд действительно стал праздником, с первых его шагов, с минуты, когда мы в день открытия двинулись к Дому союзов, бывшему «Благородному собранию» дооктябрьской Москвы. Мы вдруг очутились в лавине народа. Стеной, справа и слева от нас, стояли москвичи, они переполнили улицы, по которым пришлось нам идти. Нас окружали внимательные, сердечные лица, улыбки, добрые, счастливые взгляды, нечто настолько большое и теплое, что забыть это со-чувствие народное даже через сорок огромных лет невозможно. Замечательно,— и это, пожалуй, главное,— что в нем и тени не было простого «любопытства», не было дешевой реакции толпы, какая сопровождает «успех», вызывается модой, тягой людей «туда, куда все». Не помню, чтоб кто-нибудь — тогда или после в кулуарах съезда,— просил у писателей автографы, не помню ничего, похожего на обычную реакцию толпы на театральные зрелища, на присутствие «знаменитостей». То было именно со-чувствие, доброжелательство народное к нашему большому, трудному делу, к профессии писателя...

Дело в том, что съезд, как его часто изображают, вовсе не был «началом» того, что можно назвать огромным явлением советской литературы. Он состоялся как раз в то время, когда советским писателям было о чем сказать с трибуны; когда они уже дали народу книги на первую, разработанную ими тему пережитого всей страной — тему гражданской войны; когда они уже реализовали своим пером вторую тему, заложенную в фундамент нового строя,— тему перехода от частной собственности с ее старой собственнической психологией — к общественной собственности с воспитанием в людях нового, коллективного сознания; и, наконец,— когда уже начали, как горы на горизонте, вырастать большие книги первой пятилетки, отразившие, во всей ее проблематике, начало великой стройки «материального базиса коммунизма».

Мы и сами еще порядком не знали, сколько внесли мы своих живых творческих усилий в тот могучий поворот от старого мира капитализма в новый, нарождаю-

щийся мир социализма своими книгами. Кто мог бы тогда (и сейчас) учесть влияние книг Фурманова, Серафимовича, Фадеева и многих, многих других на процесс преобразования старой Красной гвардии в дисциплинированную Советскую Армию,— воплотив диалектику стихийной революционности и коммунистической направленности в художественные образы Чапаевых и политкомиссаров? Кто может сейчас учесть влияние (именно влияние!) «Поднятой целины» Шолохова, панферовских «Брусков», «Страны Муравии» Твардовского на борьбу за середняка, против его перерастания в кулака и на выработку психологии колхозника? Те, кто считает делом литературы «описание действительности, как она есть», слепы на прошлое. Изменить законы общества можно одним декретом; но перевоспитать психологию людей, составляющих общество,— дело долгое, трудное, умелое,— и советские книги на каждом этапе развития этого общества воспитывали и вели читателя, помогали ему обретать новые общественные качества. Советская литература тех лет не была (и не могла быть!) только «фактографична». Она обладала великой действенностью именно потому, что **не** была только фактографична. Она,— и это ярко выделяет ее в те бессмертные годы, когда шла организация нового строя на Земле,— она **мыслила** широким планом, была **проблемна**, выявляла проблематику своих больших тем,— и потому могла вести, помогать пониманию нового, стать «**частью** общепролетарского дела»...

Я заскочила тут немножко вперед, за годы послесъездовские, но суть в том, что на съезд мы тогда шли между шпалерами благодарно, отнюдь не в кредит, встречавшего нас народа, потому что шли не с пустыми руками, а с уже созданным, отданным ему творческим багажом, с уже написанными книгами, которые **помогли читателю** творчески пережить свое время, целенаправленно увидеть и понять **будущее** сквозь невзгоды и нехватки настоящего, обрести политическую, нравственную зрячесть.

Я не зря тут написала это большое слово «нравственную» рядом со словом «политическую». Именно в эти часы слияния с народом, с нашим новым, советским народом, которого растили и воспитывали лучшие наши книги,— именно в тот час, переступая порог съезда,—

мы еще не полностью, еще в глубине сознания, но уже чувством поняли и пережили нравственное единство советской литературы. Разные по наличию дара, культурных традиций, энергии, знаний, метода и стиля работы, разные по языку и возрасту, все мы, словно электрическим током, объединились тогда признанием народа, как работники единого дела, члены единой советской литературы.

Как прочно хранятся в памяти минуты редкого счастья — движения вперед в единстве, плечом к плечу к единой великой цели...

1974

ВЕСЕЛАЯ СЕРЬЕЗНОСТЬ

Вышла в свет книга в ярко-оранжевой обложке, а на обложке — силуэт человека с собственным сердцем в руках. И называется эта книга не совсем обычно: «Спасибо, сердце!»[1] — словно сама с собой говорит. Она и действительно сама с собой говорит, поскольку все автобиографии делают, в сущности, то же самое. Третье издание автобиографии народного артиста, знакомого множеству людей на нашей земле,— Леонида Осиповича Утесова.

Третье издание, но не переиздание. Автор сам признается, что набирал опыт жизни в промежутки между каждым из них,— и в третьем есть то, чего нет в предыдущих,— осознание этой новой «порции» опыта,— и соответствующие из него выводы.

Книгу многие прочтут залпом,— она очень занятна, бесхитростно весела, написана сердцем человека, всю жизнь живущего этим своим большим, открытым людям, безобидным и очень добрым сердцем. В ней много зарисовок из жизни, разговоров, сценок, смешных и забавных ситуаций, особенно в первой части. Но есть и нечто очень серьезное, заставляющее думать, побуждающее взяться за перо, чтоб поделиться мыслями, рожденными этой книгой. Почти в центре ее есть глава «Дело жизни». Начинается она как бы «эпиграфом»,— больши-

[1] Утесов Леонид. «Спасибо, сердце!». Всероссийское театральное общество. Москва. 1976.

ми буквами, единственными на целой странице: «Я придумал театрализованный джаз. Жанр небывалый. Собираю единомышленников. Но за новое надо бороться». Это — краткое содержание всей большой главы, где рассказывается о рождении и борьбе за место в искусстве знаменитого «Теаджаза» Утесова.

Я начала читать эту книгу с особенным чувством вины. Дело в том, что первое мое знакомство с джазом было где-то за рубежом, совершенно случайное. С плохим моим слухом я не восприняла самой музыки. Но когда музыканты, что-то свистя, шумя и пища на своих смешных, мне почти незнакомых инструментах, стали подходить друг к другу со странными ужимками и гримасами,— я просто «сконфузилась» за них, и мне показалось это нелепым кривляньем... Но вот, развернув книгу Утесова на главе «Дело жизни», я прочитала: «...таких номеров, как наш теаджаз, тогда на эстраде не было. Были джазы, созданные по образцу заграничных... Мы же предложили совершенно новый, никем еще не испробованный жанр — театрализованный джаз».

Итак — совсем не то, что оглушало на заграничных эстрадах. Но тогда — что же? И вот сам Утесов дает объяснение, такое глубокое и новое, что заставляет думать и касается глубин нашего мышления и воображения. Я приведу здесь большую цитату, потому что иначе не смогу подойти к порождаемым ею важным мыслям: «Инструментальные ансамбли всегда немного кажутся составленными из абстрактных, бесплотных, бесхарактерных людей, которые воспринимаются как части большого механизма. У нас же каждый музыкант становился самостоятельным характером. Наши музыканты вступали друг с другом не только в чисто музыкальные, но и в человеческие взаимоотношения. Оркестранты не были прикованы к своему месту, они вставали, подходили друг к другу, к дирижеру и вступали в разговор при помощи или инструментов, или слова... Музыкальные инструменты как бы очеловечивались, приобретая индивидуальность, и в свою очередь окрашивали своим характером поведение музыканта». Здесь поведенье музыкантов в утесовском джазе предстает не только не случайным,— оно философски осмыслено, оно делает исполнение зримо диалектичным, вскрывая связь между человеком и его инструментом, а главное — наводит на

неожиданную мысль, поднимает из глубины памяти давние, полуосознанные, полузабытые образы... Быть может, именно потому немало больших музыкантов сердечно отзывались о джазе: Рахманинов, например, на вопрос, правда ли, что он написал что-то для джаза, ответил: нет, но написал бы с удовольствием.

Какие же полузабытые, полуосознанные образы всплывают в памяти после этой удивительной цитаты Утесова? Музыкальные инструменты — дело рук человека — сперва «очеловечиваются, приобретают индивидуальность», потом, как бы в ответ своему творцу,— «окрашивают своим характером поведение музыканта»... Чем-то древним веет от этих слов. Пастух сам вырезывает свою свирель из тростника, да и тростник... Тютчев в одном из стихотворений назвал человека мыслящим тростником:

И ропщет мыслящий
тростник...

А у Пушкина, в его «Музе»:

...Тростник был оживлен
божественным
дыханьем...

И образ пастуха не связан ли у нас с его свирелью, с его окруженьем — лугами, стадом, ароматом густой травы и прямым, рабочим назначеньем свирели — призыва, зова. А если поближе к нашему времени, то гармошка, гармонь — не бродит ли она, по слову поэта, не движется ли в человечьих руках, разжимаясь и сжимаясь, не создает ли она — этот прототип или последыш фисгармонии — определенный образ в нашей душе? И если мы вспомним инструменты других национальностей — восточные, закавказские зурну, дудуки, тар, кяманчу — вспомним, с какой величайшей любовью украшают свой саз перламутром, как страстно сотрясают шейку кяманчи, водя по ее струнам смычком, как взывает зурна к бесконечному хлопанью в такт музыке человеческими ладонями,— ведь это народное, рожденное народом, связанное с движением человека, с ритмикой его тела,— «окрашиванье своим характером поведения музыканта»... Характер инструмента вливается в него, срастается с ним, исторгает жест, создает настроенье,—

и в теаджазе подходят друг к другу, задирают друг друга, сообщаются в музыкальном слове «человек-труба», «человек-саксофон»... Заслугой Утесова я считаю открытие в джазе его, как ни странно звучит это, **народного начала.**

Я коснулась только одной, серьезной, стороны книги Утесова. Но жизнь его — постоянное служение радости народной, создание у народа светлого, доброго настроения, помощи и облегченья ему всюду, в часы отдыха и работы, в окопах Отечественной войны, на полевых станах и у станков,— несение народу нашему той песни, с которой «никогда и нигде не пропадешь»,— все это вычитывается в «веселой серьезности» сердечной и очень скромно рассказанной книге, которую Леонид Осипович Утесов, народный музыкант, назвал «Спасибо, сердце!».

1977

СРБУИ ЛИСИЦИАН

Много лет назад, еще до Октябрьской революции, в одном из наших толстых журналов появился перевод «Старых богов» армянского писателя Леона Шанта. Перевод был сделан безупречно, не только в смысле точности. Он был изящен, отличался прекрасным знанием русского языка, а подписан переводчицей-армянкой Србуи Лисициан. Это было незнакомое мне тогда имя. Но в московских литературных кругах перевод высоко оценили и говорили о переводчице, как о девушке из очень культурной армянской семьи.

Уже после революции я имела случай познакомиться с ее отцом, видным армянским ученым-этнографом, Степаном Лисицианом. Я работала в те годы над книгой «Путешествие по Советской Армении», много раз и подолгу наезжала из Москвы в Эривань (соблюдаю тогдашнее написание армянской столицы) и всеми доступными мне видами транспорта, в том числе и верхом, и пешком,— изучала еще незнакомую мне родину моих предков. Позже профессор Лисициан просмотрел по моей просьбе гранки моей рукописи, дал много советов и указаний, уточнил отдельные места. В ту пору встретились мы и с его замечательной дочерью Србуи Степановной.

Трудно сейчас передать, какой настоящей труженицей науки, каким первооткрывателем в области изучения древней армянской культуры танца и хореографической записи его была Србуи Лисициан. Унаследовав от своего отца талант изыскателя-этнографа, она прибавила к нему талант художника, блестящий вкус и художественную интуицию. Я поражалась ее бесконечному трудолюбию и таланту воскрешения далекого прошлого. Под ее неутомимыми пальцами рождались не только «буквы» (знаки!) хореографического языка, но оживали самые танцы. Запись движений, когда я сидела над ее фолиантами и слушала ее рассказы и объяснения,— зримо превращалась передо мною в яркие, движущиеся картины плясок в древнейшую эпоху истории Армении, ритм их ощущался почти внутренне,— танец возникал осмысленно, вскрывая живую цель: потребность труда на полях, сдержанное выражение возникающей любви, воинственный пыл схватки с врагом, неудержимое веселье отдыха, праздника, свадьбы... Эти драгоценные труды Србуи Лисициан создавала многие годы. Я следила за ними, читала получаемые от нее огромные тома, выходившие из печати, постоянно общалась с нею в переписке. У меня хранятся ее письма, но они носят интимный характер, и, к сожалению, я не могу отдать их в чужие руки, а тем более для напечатания.

Имя Србуи Лисициан было известно на Западе среди исследователей письменного языка хореографии. Когда я лет десять назад была в Риме, ко мне в театре подошли два итальянца и спросили, есть ли у меня печатный труд синьоры Лисициан по записи движений. Они заверили меня, что в итальянских кругах этот труд известен и считается очень убедительным.

Много еще хорошего можно сказать о героическом труде армянской научной деятельницы, оставившей после себя большое научное наследие. С горечью вспоминаю я, как мало ценили этот труд в армянской Академии наук, куда я несколько раз советовала (как член-корреспондент) избрать Србуи Лисициан в академики по разделу этнографии. Правда, труды ее печатались в Армении и ценятся сейчас знатоками на вес золота,— но полной оценки их в ученом мире она не дождалась...

Когда-нибудь армянская наука впишет ее имя в список своих почетных имен.

8/VI—81

АГАТА КРИСТИ

Однажды, во время моего пребывания в Лондоне, я задумала съездить в Девон. А по пути навестить Агату Кристи, жившую в тех местах в своем поместье. За день до отъезда, раздобыв ее точный адрес, я отправила рано утром ей скорое письмо с вопросом, можно ли заехать к ней на полчаса, чтоб передать подарочек из Москвы. Через два часа пришел ответ от ее секретарши. Мистрисс Кристи, увы, находится не дома, а как раз в Лондоне, где готовится к постановке ее новая пьеса... Беру телефон, обзваниваю лондонские театры. Мне отвечают: да, «тетка Агата» здесь, но в дурном настроении, недовольна постановкой, режиссером... лучше позвоните дней через пять...

Нечего делать, пришлось отказаться от встречи, но зато я успела перед отъездом узнать два ее имени: от театра и театральных отделов лондонских газет, что ее неуважительно звали «тетка Агата», а в коротких биографиях, напечатанных на обложках ее книг, она называлась более чем уважительно: «Агата Кристи — это целое Национальное учреждение». И кроме того, те, кто читал около сотни выпущенных ею книг, знают, что она описала себя (под именем Ариадны Оливер, писательницы детективов), как невероятно скромную, застенчивую и в то же время крайне предприимчивую женщину, любящую яблоки, рассыпающую их на улице надкушенными и недоеденными, сочинившую сыщика-норвежца, надоевшего ей самой до крайности. Ее автопортрет мелькает там и сям в романах, не получая дальнейшего сюжетного развития.

Вот, как мне кажется, между двумя полюсами,— неуважительным «тетка Агата» и высокоуважительным «Агата Кристи — это целое Национальное учреждение», да еще впридачу жизненным обликом рассеянной женщины, теряющей надкусанные яблоки,— и лежит содержание ее большой творческой личности. Попробую по этой схеме дать читателю приблизительное содержание ее талантливого творчества. Скончалась она недавно, оставив после себя около сотни детективов.

Сперва — «тетка Агата». Ну прежде всего — женщина, дамский характер писанья, дамская манера строить сюжет, где конец — всегда неожиданность, масса выдумки, служение текущей моде по выбору материала, великолепное чутье деталей, отсутствие и назойливой эротики, и назой-

ливого — на каждом шагу — приложения губ к рюмочке.

Ее герой — следователь, бельгиец Херкюль Пуаро,— маленький человечек, отменно одетый, в патентованной обуви (не путать с купленной в любом магазине!), с выхоленными усищами (за что автор иногда ласкательно именует его «мусташио» — кажется, по-испански), чрезвычайно тонкий психолог и даже по-своему моралист. Он не дымит табачищем на всю страницу, не опрокидывает в горло через каждый десяток строк в разных подходящих местах коктейли,— нет. Он —гурман и сластена. Утром он смакует чашку горячего шоколада, меню обеда обдумывает, как программу очередных культурных удовольствий. Тщеславие его автором преувеличено, даже для такого выдуманного типа. При этом — Пуаро, несомненно, умен, посвоему гуманен. Однако его выдуманность, театральность часто надоедают самой Агате Кристи — и тогда она берется за другого следователя, и Пуаро при всех своих блестящих успехах в разоблачении очень сложных преступлений — может быть, именно в силу своей выдуманности — не стал объектом для подражания, как, например, Шерлок Холмс. Но зато второй избранник Агаты стал прародителем, верней, прародительницей (потому что это женщина) очень многих подражаний.

Второй мастер сыска у Агаты Кристи — пожилая женщина из английской деревни, живущая то ли на ренту, то ли на поддержку своего племянника,— типичная английская леди из мелкого дворянства джентри. Она живет в коттедже с одной прислугой, девушкой из деревни, и большей частью занята вязаньем кофточек и рубашек для своих бесчисленных племянниц, обитающих в городе. Это — тип жизненный, методика его открытий покоится на реальном базисе и принадлежит к одному из остроумных и вполне реальных открытий Агаты Кристи, списанных, как говорится, с натуры. Подражанья ее пожилой «детективше» (как я уже сказала — их много) — доходят лишь до вязанья кофточек и рубашек всяким родственникам младенческого возраста, но «открытию» подражать не смеет ни один автор,— это ее частная собственность. Это открытие стоит на реальной почве. Пожилая леди, живя в деревне, крайне наблюдательна. Ее служанки, как всегда, болтливы. Человеческие страсти, чувства и поступки — по природе — растут из общечеловеческого корня: жадности, зависти, ревности, выгоды, злобы, хитрости, обмана, шантажа, ис-

пользования английских законов для мести,— словом, вся клавиатура мелких и больших человеческих страстей для того, кто хочет играть на ней пьесу своего сочинения. Пьесы для игры на этой общечеловеческой клавиатуре бывают разные, от очень примитивных: «чижик-пыжик, где ты был?» до самых аристократических: «Дездемона, где ваш носовой платок?» — но природа их у крестьян и герцогов все та же, одинаковая человеческая природа. И вот пожилая леди, сидя за вязаньем, и от своей Глэдис, или Фанни, или от хозяина мясной лавки, или от почтальонши — отовсюду выслушивает разные деревенские драмы, семейные, служебные, уголовные, где кто-то кому-то всадил нож в спину, где кого-то обворовали, куда ушла чужая жена, что говорят о Сэме-разносчике, о Мэри-портнихе, о том, о сем... И когда ей попадает в руки «дело» — сложное преступление в обществе высшего порядка, где вместо разносчиков и трактирщиц действуют мистеры и мистрисс или лорды и леди,— она тотчас вспоминает деревенскую аналогию с уже ставшими известными завязкой и развязкой. **Аналогия!** Вот методика, открытая Агатой Кристи в лице ее второго героя, детективши миссис Марпль или Мэрль? — уж не помню точно.

Хоть она и менее известна, чем знаменитый Хэркюль Пуаро,— но более естественна и быстро сошла со страниц Агаты на страницы других женских авторов детективных романов. Кстати сказать, у нас пошло в ход слово «детектив» — как название жанра книг, хотя это слово обозначает героя таких книг, сыскного следователя, а не жанр книги.

Все перечисленное характеризует женские особенности творчества Агаты, характеризует неуважительное наименованье «тетки».

Но — «Национальное учреждение»!

Это — высокая оценка, сделанная самим народом. И оценка эта заслужена.

Прежде всего — язык! Невозможно правильно оценить творчество Агаты Кристи, читая ее в переводе. Не только на русский язык, где за это берутся самые неопытные и непрофессиональные перья, стряпая неуклюжие, неточные и безличные подстрочники вместо переводов. Когда меня тянуло почитать Кристи, я скупала, где могла, ее переводы на французский, в газете «Фигаро», например, от номера к номеру тянулся какой-то ее роман. И — бог ты мой! Никакой Агаты, ничего похожего, скучная, разваливающаяся

на синтаксис старого учебника «Марго», по которому учили французский язык сто лет назад. Немыслимо читать!

Чтоб вполне оценить прелесть языка Агаты Кристи, надо читать ее по-английски, где вы сразу попадаете под обаяние ее тонкого, шаловливого, необыкновенно точного и умного языка. Особенно прелестны ее разговоры, все то, что пишется «со слов» говорящих людей, а не в авторском пересказе. Но воистину прекрасны ее авторские пересказы мыслей и объяснений, возникающих по ходу развязывания действий, разведывания преступлений.

У Агаты Кристи есть романы, просто полезные для юношества, где она как бы предостерегает от увлечения всякой магией, демонизмом, мистикой, наркоманией,— например, страшный роман «Конь блед» («White Horse»).

Или — заставляет Пуаро морализировать и пытаться уберечь несчастную пылкую девушку от мести подруге, безжалостно укравшей у нее возлюбленного,— единственное, что было у нее в жизни. Этот роман («Преступление на Ниле») очень хорош и в литературном смысле. С первых страниц дается тема. Героиня — красавица Линнет, она входит в роман портретно и социально точно, все у нее есть: красота, богатство, слава, сила... И ее школьная подруга, горячая, взбалмошная, страстная, сидевшая рядом с ней на школьной скамье, бедная, как церковная мышка, у которой только одна «овечка» в руках — ее любовь...

Очень хороши романы Кристи на археологические темы. Под влиянием своего мужа — крупного английского ученого-археолога — она написала роман «Смерть приходит под конец», использовав историю, описанную в одном египетском папирусе. Этот роман, на мой вкус,— лучшее ее произведение. Очень интересен и роман об убийстве на раскопках в Месопотамии.

Политически Агата Кристи нашим противником никогда не была. Там, где она вроде бы опорочивает общество борьбы за мир, например, в романе о поездке в Багдад (забыла, как он называется), там это «общество» является в сущности только вывеской в руках демонически-одержимого молодого англичанина, стремящегося к власти над миром.

Очень наивны и смешны ее романы «на международные темы», о тайной дипломатии на Даунинг-стрит (где находится в Лондоне Министерство иностранных дел) — английские дипломаты, вероятно, смеются над ним.

Но главный ее «конек» — это все же психологические преступленья, где сложность сюжета — в человеческом характере, диктующем совершение убийства. К ним принадлежит большая часть романов, среди которых «Соглашение со смертью» («Appocntement with Death») — трехактная трагедия. Перечислять все названия трудно, так как английские издательства (или автор?) их часто меняли, должно быть выдавая за новые, незнакомые читателю. Среди них увлекателен и роман на очень оригинальную тему. Едет молодой англичанин из Лондона в городок, неся (как он думает) в семейство чужих ему людей большую радость — оправдывающее их сына свидетельство, что тот был неповинен в убийстве матери, за которое был казнен. Англичанин, подвозивший сына-юношу по дороге в Лондон,— в те часы, когда совершалось убийство,— уехал из Англии в командировку в далекие края, где газет не читал, ничего не знал о процессе и казни,— а юноша ссылался на этого англичанина, взывал к нему...

Ужасно, ужасно получилось — казнили невинного, но все-таки, все-таки, хоть и поздно — он едет к его родным, чтоб принести оправдание, очистить имя невинного...

Это начало романа. Его стоит хорошо перевести. Это тоже — один из лучших у Агаты.

«Национальное учреждение» — может быть, чересчур высоко сказано об Агате Кристи. Но она — популярна на всех меридианах, где только живет человек. И по-своему в книгах ее много полезного. И даже — гуманного.

15/II—81

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ «ЛО»

1. Представляете ли Вы себе своего читателя? В какой степени присутствует эта фигура в Вашем сознании в процессе рождения замысла и его воплощения?

2. Как Вы определяете меру читательского воздействия на Вас? Меняется ли во времени Ваше представление о желаемом читателе?

3. Пытаетесь ли Вы для себя обобщить уроки читательского восприятия? Опираетесь ли Вы в своем творчестве только на свой опыт, на свою интуицию или на научное

знание о «механизме» воздействия художественного произведения на читателя?

4. По каким признакам Вы определяете успех (или неуспех) Ваших произведений у читателя?

С такими вопросами обратилась редакция «Литературного обозрения» ко многим известным поэтам и прозаикам.

1. «Процесс рождения писательского замысла и его воплощения» не имеет ничего общего с представлениями о читателе, если только пишущему не дано определенное задание на определенную тему, имеющую отношение к определенной группе читателей в определенной серии книг. Скажем, для серии «Жизнь замечательных людей» или для детской литературы и т. д. Вопрос вообще мне кажется неудачным, как и все поставленные в анкете вопросы. Разрешите ответить на сумму всех четырех вопросов одновременно, применительно к моему личному опыту.

Каждый писатель, рожденный для этой формы творческого труда, является в то же время и читателем. Он живет в своем мире, в обществе своей эпохи, среди современников этой эпохи, переживая те же события, те же проблемы, те же исторические явления, что и его народ. Про писателя говорят, что он выражает мысли и стремления своего общества, своей эпохи. Разделение на изолированное понимание «читателя» и «писателя», как «потребителя» и «производителя», мне кажется чисто формальным и поэтому неверным, не отражающим действительности. Если возможно было подробное разделение до революции, при старых общественных отношениях, то оно потеряло свой фактический смысл сейчас. Когда у меня зарождается замысел будущей работы, он прежде всего связан с характером всей моей предыдущей работы, с углублением в близкую мне по духу тему, связанную с проблемами нашего бытия, с острым интересом к тому, чем живет народ моего времени и моей страны, что относится и к общечеловеческому этапу истории. Иначе говоря, в зародыше замысла, в творческом воплощении его участвует весь жизненный опыт самого писателя, особенности его мировоззрения, его интересов, волнующей его проблематики. Представление о «читателе», о том, что ему «нравится», «не нравится», может быть только у тех, для кого литература — ремесло, делание, техническая работа, но не твор-

ческий труд, как дар, как некая обреченность от рождения.

2. Но это отнюдь не значит, что читатель, то есть тот, кто знакомится с нашими книгами, не ощущается нами постоянно **рядом с собой.** Я уже сказала, что писатель — сам читатель. Он переживает свои книги и тогда, когда они уже созданы, открыты перед другими глазами, читаются, как слушаются,— мыслью и чувством многих людей. У меня всегда, всю жизнь был один критерий для оценки своих книг, после того, как я написала их и сама читаю их заново, для себя. Об этом критерии я уже высказывалась в печати. Вот он: если при чтении своей собственной вещи я не получу духовно чего-то **нового** для себя. что обогатит меня самое как читателя, и притом **неожиданно,** чем-то новым для меня самой, то я считаю такую работу неудачной, неполноценной, как бы хорошо внешне ни была она написана. Эта работа стоит в один рост со мной, ни на дюйм выше,— она меня не двигает вперед, не расширяет дорогу моей мысли, **не обогащает** меня. И никакие «комплименты» не заставят меня думать о ней иначе. В творческом труде есть что-то таинственное, нечто вроде скрытой «прибавочной стоимости», нечто от природы самого труда, от матери-природы, от земли, как «земельная рента», если говорить марксистскими терминами. К тому, что есть, как материал, как способность, как талант, как опыт, как производимая работа,— творчество вкладывает свою добавку сверх того, что **уже есть,** тот элемент **нового, вновь рожденного,** что двигает мир вперед.

Чем участвует в труде писателя само общество, сам читающий народ, читатель? Тем, что бытие его связано с бытием писателя фактом общения, соприсутствия, постоянством реагированья. Общение — это существование человека в народе, с народом. Я получаю еженедельно около тридцати писем. Из них не более двух подписано именами друзей и знакомых, все остальные — от незнакомых читателей, со всех сторон нашего необъятного Союза, из всех республик и областей. Тут живые голоса живых, бескорыстных, незнакомых лично со мной собеседников, становящихся (если переписка с кем-нибудь завязывается на годы, десятки лет) постепенно друзьями, как соседи по дому, по улице, по мышлению, по общему делу. Есть категория читателей, с которыми прочные отношения устанавливаются. В нашей стране в средних школах возник чудесный обычай, созданный самими школьниками: организация му-

зейных комнат Ленина, Ленинского уголка,— и дети пишут всем писателям, кто участвует в творчестве Ленинианы,— помогите, пришлите вашу книгу, посоветуйте, расскажите, что знаете... Это такая глубокая, нежная, радостная связь с читателями-школьниками, такая взаимная помощь, что без нее мне, например, сейчас трудно обходиться. И еще есть у меня такие же друзья-читатели среди рабочих, с которыми я лично общалась с первых лет Октября и по сегодня, особенно ленинградцы и уральцы,— и продолжаю общаться теперь. Вся история роста рабочего сознания, расширение горизонта мышления нашего рабочего класса — проходит передо мною за истекшие шестьдесят лет и ложится, как на ладони,— от донецкого горняка А. Стаханова и до ленинградского бригадира-токаря В. К. Копейкина, с которым сейчас переписываюсь,— это, пожалуй, мое самое отрадное и положительное переживанье всего шестидесятилетия. Ведь мне дано было судьбой почти тридцати лет по возрасту вступить в новую Октябрьскую эпоху, участвовать в строительстве нового мира чуть ли не с первых его дней. И в возрасте полной своей человеческой зрелости, в преддверии девяностолетия, пережить юбилей и его уже зрелой социалистической фазы. Но об участии моих друзей-рабочих в проблемах моего личного творчества, в выборе интересующих меня тем — я пишу особую, большую статью и здесь говорить об этом не буду.

Вопросы 3 и 4 вашей анкеты я, честно говоря, просто не понимаю. Я не понимаю, о каком «успехе» своих книг у читателей может говорить писатель, отвечая на поставленный вами вопрос. Что такое «успех»? К Шекспиру, например,— величайшему писателю, создателю мировых образов драматургии, без которых наша жизнь сразу художественно обеднела бы,— так называемый «успех», «слава» пришли через сто шестьдесят лет после его смерти, да и то не на его родине, а в Германии, через Гете и немецких романтиков, сумевших раскрыть перед человечеством его величие. А вот на моих глазах, за последние годы перед революцией, бешеный успех (буквально бешеный!) выпал на долю романа «Ключи счастья» писательницы Вербицкой. Успех — вещь и произвольная, и многозависимая, и мешающая иногда правильной оценке, а вообще очень кратковременная и вредная вещь, если видеть в нем нечто решающее и безошибочное. Не им надо писателю мерить свои достижения,— а степенью осваиваемости, понимания

жизненных результатов своих книг — в историческом развитии общества.

1977

ШКОЛА ГАЗЕТЫ

Мне хочется рассказать об огромной роли газетной работы в жизни писателя вообще и в моей литературной судьбе в частности. Я обратилась к писательской профессии задолго до двух революций (1905 и 1917 гг.). И так же, как сейчас начинающие литераторы, думала, что газетная работа губит писателя, сушит, не дает пробиться к большому художественному полотну. Я всю мою жизнь жаловалась, что газета ест меня.

Между тем газета была единственным в течение сорока восьми лет профессиональной писательской работы заработком моей семьи. И если сложить все, что я написала для газеты,— это, наверно, составит около ста томов.

Я жаловалась всю жизнь, а теперь с удивлением вижу, что газета, в сущности, не помешала мне стать писателем. Более того, к шестидесяти трем годам, например, я написала больше книг, чем прожила лет,— шестьдесят восемь книг (около 10 романов, повестей, 2 книги стихов, много всякой другой писанины, особенно до революции, 10 научных работ, немало очерков и т. д.). Я успела защитить докторскую диссертацию и стать членом-корреспондентом Армянской Академии наук.

Выходит, газетная работа не препятствовала развитию писательского дарования. Вот мне и хотелось бы на ряде примеров показать, чтобы вы почувствовали, какую колоссальную воспитательную и организующую роль сыграла газета в моей жизни.

Когда я начинала — это было в 1903 году,— мне было пятнадцать лет. В то время многие газеты, особенно провинциальные, имели либеральное направление. И было в них нередко по два редактора — один фактический, а другой — для штрафов и отсидки за политические вольности, допущенные газетой. Вот в такой газете я и начала. Она называлась «Черноморское побережье». Вспоминается первый эпизод, маленький факт, который открыл мне глаза на значение газеты. Я жила тогда в Геленджике у богатой

тетки. Мы гуляли по берегу моря и каждый раз, когда выходили на побережье, возмущались, что посредине пляжа стоит огромное безобразное здание, принадлежавшее греческим купцам братьям Левитисам,— дровяной склад. Жалоб на них было много. Дело разбиралось в суде, суд постановил снести склад, послал туда городового. Но братья Левитисы с городовым договорились, все кончилось ничем — и склад остался. Нам носил газеты почтальон — старичок, любивший потолковать о политике, о местных новостях. На курорте знали, что я пишу стихи, и вот почтальон говорит: «Вы бы стреканули стишки».

Я написала стихотворный фельетон «Геленджикские мотивы». Было в нем много детского, но, видимо, и остроумного. Я послала фельетон в газету, где он и появился 27 августа 1909 года — с этого года я датирую начало своей профессиональной газетной работы. Фельетон вызвал неожиданный эффект. Мальчишки его заучили наизусть и бегали за купцами Левитисами с насмешками. Кончилось тем, что склад неожиданно исчез. Я была поражена: судили, городовой ходил — и ничего не вышло, а газета написала — и склад исчез. Спустя два дня явились к нам два чрезвычайно красивых брюнета — братья Левитисы, желавшие познакомиться с поэтессой. Они пригласили меня на танцы. Потом гуляли при луне, говорили о «чистом» искусстве. Они сказали, что у меня талант, а я «занимаюсь дровяным складом». Я развеся уши внимала, особенно одному из братьев. И вот после прогулки написала вдохновенное стихотворение о красоте Геленджика. Послала его в ту же газету.

Приходит потом старичок почтальон и говорит: «Знаете, редактор, возвращая ваши стихи, сказал: вот развела патоку».

Я была обижена, но почувствовала справедливое осуждение своего поступка: видно, сделала не то, что надо. Первое обращение в газету принесло пользу, а во втором я пошла не по той дороге. Эти два простых факта дали мне пережить первый раз в жизни нравственное ощущение профессии писателя.

Я особо подчеркиваю это, ибо у нас сейчас возрастает ответственность нашей писательской профессии, важность понимания роли литератора. Между тем еще не всегда у нас, в том числе и среди молодых, бывает достаточно развито такое ощущение глубочайшего нравственного долга

писателя, понимания слова как оружия, когда даешь обязательство перед совестью — употреблять его с пользой. А ощущение это рождается из повседневной связи писателя с народом, из суда народа. В газете же реакция читателя на работу писателя незамедлительна — в течение одного дня. Это своего рода нравственный контакт, который быстрее устанавливается через газету. И от первого своего опыта обращения к газете я на всю жизнь сохранила глубочайшее понимание того, что без ощущения нравственной обязанности никакой талант, никакая политическая острота не делают литературное произведение подлинно народным. Словом, газета подвинула меня на шаг дальше в гражданском и общественном развитии. Я поняла, что газетный работник чувствует острее, если литературное дело не дает рикошета, газетчик ощущает свою работу как непрерывное движение вперед от статьи к статье. Он может дать одну статью неудачную, другую удачную, но тем самым он переживает рост от неудачи к удаче. Это важное ощущение для каждого из нас: если отстаешь, стало быть, не растешь, если не растешь, то отрываешься от движения общества, а значит, перестаешь быть нужным писателем.

То, что сделано мною с помощью литературного творчества, я воспринимаю как сделанное для народа. Пусть это и самый скромный дар, но в нем многое связано с тем, что отложилось именно от газеты. Газета приобщает писателя к «жанру» разговора с народом, учит этому разговору. Приведу такой пример из моей жизни.

Я была крупным газетным работником. В 1935 году проходил Международный физиологический конгресс в Ленинграде. Послали меня реферировать его. Работа очень трудная и ответственная, масса иностранцев. Надо было показать достижения нашей науки, нашей физиологии и биологии, нашего Павлова. Я проделала эту работу как будто хорошо и даже получила выписку из протокола редакции «Правды» с благодарностью. Семнадцать моих статей пошло за шестнадцать дней. Но, как потом оказалось, я допустила огромный ляпсус, который заметил только один человек на конгрессе — И. П. Павлов. Ляпсус был не научный,— с этой точки зрения статьи мои были на «пять» с плюсом, а ляпсус был художественный. Пожалуй, я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из писателей научил меня так, как Павлов. Он терпеть не мог газетчиков и

журналистов. Он их иначе не называл, как «брехуны», и говорил обычно перед конгрессом: «Я не допущу... не показывайте, читать не буду» — и т. д. Тогда Фролов[1] его успокоил: «Иван Петрович, Шагинян прислали — она напишет». И вот мне дали первое задание — поехать в Колтуши, в его знаменитую лабораторию под Ленинградом, где он проводил свои опыты над собаками. Съездила я туда, повидала его собак и обезьян. Затем вернулась и написала очерк, который всем необыкновенно понравился. Он появился в «Правде» буквально на следующий день, потому что ночь накануне я сидела на телефоне и диктовала его. Фролов принес очерк и торжественно положил на стол Павлову: «Вот, читайте, написала Шагинян». Павлов почитал и говорит: «Набрехала». Фролов удивлен: «Вы несправедливы! Ведь здесь все правильно! Набрехала... Позвольте, но что же она набрехала?» Павлов показал пальцем на самое начало статьи, и Фролов прочитал: «Я еду в Колтуши...» — дальше следовало поэтическое описание поездки в Колтуши и — «цветы по обочинам дороги». Никаких цветов по обочинам дороги, конечно, не было — как это у меня вырвалось? Вроде тех самых тульских соловьев, которые когда-то запели у меня в Геленджике. Павлов, заметив острым взглядом ученого эту мельчайшую деталь, указал на нее. Причем самое замечательное здесь было то, что цветов там и не могло быть: к дороге на Колтуши луга не подходили. Это была искусственная трасса — асфальт и немножко приподнятый холм, который был засеян обычной травкой. Когда мне передали замечание Павлова, я припомнила каждую деталь этой дороги и поняла, с какой точностью должен создаваться образ. Он может быть выдуманным, но выдумывать его надо так, чтобы он был убедительным. Если бы цветы там могли быть, то не было бы никакого нарушения художественной правды в том, что я их туда посадила. Это требование художественной точности, высказанное мне величайшим ученым нашей эпохи, стало для меня подлинным литературным уроком.

А вот другой урок, преподанный мне тоже газетой и полученный в условиях газеты. В конце 20-х годов Совет Труда и Обороны и газета «Известия» взялись поднять один важный вопрос. Начиналась пятилетка, начинались первые грандиозные стройки на Урале, а в Закавказье надо было решить большую проблему — проблему ткварчель-

[1] Один из учеников И. П. Павлова.

ских углей. Ткварчели — это угольное месторождение в горах над маленьким приморским городком Очамчира в Грузии. Так вот, надо было решить вопрос, поднимать Ткварчели в этой пятилетке или нет.

Главным редактором «Известий» в то время был И. И. Скворцов-Степанов, человек замечательного ума и таланта, авторитет которого я очень уважала. Он меня вызывает и говорит:

— Шагинян, поезжай в Ткварчели и разберись как следует, проголосовать нам за них или против них.

В те годы наше государство берегло каждую копейку, потому что мы осваивали крупные капиталовложения на востоке. И вопрос о том, проголосовать в газете «за» или «против», имел очень большое значение. Дали мне на командировку дней десять, а я, приехав в Ткварчели, осталась там на целый год. Сделав для газеты все, что могла, я затем вмешалась в разыгравшееся на моих глазах драматическое действие, связанное с Ткварчелями, вмешалась даже не как газетчик, а просто как соучастник, как человек, который был глубоко захвачен новыми событиями. В Ткварчелях я встретилась с неожиданно загадочной ситуацией. Она так меня захватила, что я решила: умру, но разгадаю ее для себя, разберусь, что к чему.

Дело было в следующем. Для того чтобы обосновать вывоз ткварчельского угля, исписывались целые тома, вопрос обрабатывался со всех сторон: насколько это экономически выгодно, технически возможно и т. д. Ведь уголь нужен был в соединении с железом для металлургии. Ткварчели — высоко в горах. Понятно, что надо было сделать подвесную дорогу. А из какого порта вывозить этот уголь? Закавказье невероятно волновал вопрос о том, где строить порт. Сразу создались две группы, которые пошли друг на друга, вооруженные всякими экономическими проектами, доказательствами рентабельности, всевозможными финансовыми анализами и т. д. Была группа сторонников расширения портов Поти и группа, отстаивающая постройку порта в Сухуми. Все кричали — «Поти» или «Сухуми». А мне было удивительно: Ткварчели около Очамчиры. Почему же никто не говорит об Очамчире? Я решила, что очамчирцы, патриоты своего города, будут стоять за строительство порта у них. Я пошла в райком, в райсовет, вижу: как только я задаю вопрос, все опускают глаза и молчат. Я засела за архивные документы, начала

изучать историю Очамчиры, разговаривала буквально с каждым попадавшимся на дороге человеком, потому что чувствовала: тут не просто так, тут и зарыта собака. В конце концов эту собаку я «вырыла». Наконец я докопалась и выяснила, что бельгийская и еще какая-то иностранная компания бойко торговали с Очамчирой лесом, а в Очамчиру приходили суда с большим тоннажем, то есть требовавшие глубоководных портов, становились там на рейд во всякую погоду, производили разгрузку и погрузку и отправлялись восвояси. Значит, в Очамчиру можно было привозить грузы, значит, там есть рейд. Почему же в таком случае речь идет о том, чтобы строить порт в Сухуми или расширять порт в Поти? И здесь я внезапно поняла, в чем дело: именно потому, что республика была охвачена страстной тягой обязательно строить и созидать, закавказцам хотелось, ухватившись за проблему ткварчельских углей, заполучить средства на строительство большого порта в Сухуми или Поти, которые, кстати сказать, сейчас созданы.

Одновременно я столкнулась и с другим фактом — проблема ткварчельских углей была поручена профессору Диманштейну, который написал три тома против их разработки, доказывая путем всестороннего анализа, что это невыгодно, что выгоднее усилить разработку угля в Донбассе, где все готово, а здесь бессмысленно. Он вложил все свое красноречие в то, чтобы убить Ткварчели.

Вроде бы ясно: экономист, профессор, ученый ратует за каждую советскую копейку. Но, вникнув в суть дела, я усомнилась в доводах Диманштейна. Из чего исходил его экономический анализ? Он исходил из буржуазных исторических толкований рентабельности как таковой, доходности как таковой, вне плана общего развития. Это было время усиления «правого уклона», с которым партии пришлось упорно бороться. Я правильно решила эту проблему и написала «Роман угля и железа». Сейчас ткварчельским углем и дашкесанской рудой питаются крупнейшие металлургические заводы Закавказья.

Газетная работа дала мне острое чувство злободневности экономического анализа, острое чувство партийности, правильное понимание экономики. Надо найти центральную точку, с которой обводишь факт циркулем. Художнику это чрезвычайно нужно. Художнику необходимо правильное понимание любого факта с заглядом вперед, иначе он сделает вредное дело, как бы талантливо ни писал.

Газетная работа заставляет писателя пополнять такие резервы знаний, которые воплощаются не только в газетной статье, но и могут позднее пригодиться при создании художественного полотна. Газетная работа учит обобщениям, а это необходимо для писателя. Ведь чтобы создать подлинное произведение литературы, надо уметь выводить из всей пестроты действительности общие закономерности, улавливать характерные черты того человека, который на данном этапе воплощает в себе эти закономерности. Знание и понимание нового человека нашего времени, знание нашей техники и экономики, острое чувство сопричастности к тому, что совершается в каждом уголке страны,— все это дает писателю настоящая оперативная газетная работа.

Мне хочется призвать молодых к безбоязненной отдаче себя газетной работе. Ведь каждая отдача — это новая аккумуляция энергии для творчества, для обогащения искусства художника, что скажется в конечном счете в создании полновесных, жизненно необходимых книг для людей наступающей эры коммунизма.

1978

ПАМЯТИ ДРУГА

О М. Л. Слонимском

Есть люди, оставляющие по себе светлую память. У покойного Миши Слонимского,— не могу величать его по отчеству, никогда не был он для меня кем-то, отдаленным от меня двойным расстоянием «имени-отчества»,— у Миши Слонимского всегда было и после смерти осталось нечто светлое, озаряющее светом память о нем. Миша был другом. Умение быть другом — вероятно, не наживное качество, с ним родятся, оно — прирожденный дар. Сейчас, когда потухает мое зрение, как две трети века назад потух мой слух, я помню свое прошлое внутренним зрением, внутренним слухом. И таким остался жить в моей памяти дорогой ушедший друг — Миша Слонимский.

Друг — это бескорыстие, лишенное какого бы то ни было примешивающегося к человеческим отношениям, личного, связанного с собой, со своими практическими интересами, с инстинктом «использования для себя»,— чув-

ства или мысли, а у многих и многих людей иногда бессознательного даже ощущения, как у рыбы, ищущей воду, или растения, поворачивающегося к солнцу. Миша был другом, никогда, ни разу в моей жизни не имевшем в своих отношениях ко мне или к другим своим друзьям (что подтвердят, мне кажется, все, его знавшие) — того особого вида корысти, какой мы зовем «задней мыслью». Это был человек — с прямым, единственным, «передним», если так можно выразиться,— подходом к вам. И поэтому почти всегда получалось в нашей дружбе, что он — **помогал;** он протягивал руку помощи, он, Миша, приходил сразу в голову, когда ты нуждалась в выручке,— и он неизменно выручал. Дружба с ним была светлым пятном в моей жизни, и светлой я вижу ее внутренним зрением памяти.

Познакомились мы в трудные, но и прекрасные двадцатые годы, еще когда жив был Ленин. В те годы люди, принявшие и полюбившие Октябрьскую революцию сразу, очень легко знакомились и тут же, сразу, как под одной крышей — сдружались. Дружба его никогда не казалась случайной и преходящей. Было это в старом Питере, голодном, холодном, но для нас — удивительно жизнерадостном. Думая над этим своим большим счастьем того, фактически очень трудного и тяжелого для людей, десятилетия,— я прихожу к выводу, что могучим облегчением тогдашней материальной действительности служит как раз факт ее полного, безоговорочного **принятия.** Принятия, как своей, нашей, нужной, единственной. Принять действительность, познав ее историческую нужность и необходимость,— значит, **получить** огромную зарядку для жизни в ней, работы в ней, созидания в ней. Новая советская литература рождалась в атмосфере такого душевного принятия действительности, как единственно для нас исторически реальной. С той поры критерием, измеряющим людское счастье или атмосферу жизнерадостности общества — и сделалась для меня такая безоговорочная согласованность с действительностью,— в данном случае — с новым советским строем.

Не все писатели были в те ранние годы единомышленниками. Это было время ожесточенной классовой борьбы, саботажа большей части интеллигенции, когда учителя — не хотели учить, врачи — не хотели лечить, печатание в советских изданиях рассматривалось как «продажа своего пера большевикам». В загнивающей староинтеллигент-

ской среде тогдашнего Петербурга тяжело себя чувствовал Горький,— нет более сильного, более яркого описания этой среды и вреда пребывания в ней, чем знаменитое ленинское письмо Горькому от 31 июня 1919 года, спустя год и девять месяцев после Великого Октября. Ленин писал о «больной» атмосфере и «больной интеллигенции». О том, что художнику гибельно испытывать на себе влияние узкого круга впечатлений, замкнутого материала для наблюдений в этой атмосфере, невозможность наблюсти ростки нового, живую жизнь. «Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и «весьма противно»!!! Еще бы! В такое время приковать себя к самому больному пункту в качестве редактора переводной литературы (самое подходящее занятие для наблюдения людей!). Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабриках Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать *не можете*. Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника,— в Питере можно работать политику, но Вы не политик»,— читаем мы в этом замечательном письме Ленина, не утратившем силы воздействия на творческих работников и сейчас[1].

Оно не утратило своей остроты анализа и для последующих трех лет, хотя положение несколько изменилось: часть писателей выбыла за рубеж, оставшиеся начали работать, зародилось молодежное литературное содружество «Серапионовы братья». Нам сейчас и это гофмановское название, и первые литературные поиски тем и сюжетов — кажутся еще очень нейтральными, отдаленными от чисто советских тем, острой советской тематики тех великих начал преобразования всей общественной структуры нашей страны. Но тогда они были поворотом к лицу действительности, тем принятием ее исторической реальности, о которой я говорила выше. Среди группы «серапионовцев» ближе всего были мне Миша Слонимский, Миша Зощенко и чудесный поэт Лиза Полонская.

Слонимский был тонким и умным писателем, обладал хорошим литературным вкусом, дальновидным суждением. Максим Горький очень ценил в нем эти качества. Происходя из культурной семьи, будучи в близком родстве с высокообразованным филологом Венгеровым,— Миша как-то

---

[1] См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 51, с. 26.

«наследственно», от семейных традиций, был по-настоящему культурен. С ним хорошо было советоваться профессионально, ему хотелось давать прочитывать свои рукописи, прежде чем они поступят к редактору. Будучи гораздо старше его, я любила совещаться с ним, и однажды он спас одну мою рукопись от выброски ее в мусорную корзину. Осаждаемая издательствами после успеха первого своего романа в задуманной мною антифашистской серии «Месс-Менд», я нехотя, как-то пассивно, засела за второй роман этой серии, «Лори Лэн, металлист». Мне всю жизнь было просто невозможно повторять себя самое,— и «Лори Лэн», писавшийся туго, показался мне ошибкой и неудачей, когда его кончила. Помню, дело было в Кисловодске, когда Миша взял у меня прочесть рукопись, которую я твердо решила бросить в корзину. «Вот увидишь,— мертворожденная вещь»,— сказала я тогда Мише. Времени у него было мало, но роман он прочел в одну ночь. И утром отсоветовал выбрасывать. Ему понравилось в нем то, что мне самой казалось слабым. «Во-первых, есть любовь,— для молодежи необходима романтика! Во-вторых,— антивоенная, антимилитаристская тенденция,— а ведь сейчас это очень важно!» И «Лори Лэн» остался жить. Совет Слонимского о романтике для молодежи и о повороте к мирной теме — был тогда очень своевремен.

Мне кажется странным, что такой прекрасный роман, как «Лавровы»,— почти неизвестен новому советскому читателю. Его следовало бы, как и другой роман «Инженеры»,— изучать и анализировать в Литературном институте, в литературных кружках и на семинарах для начинающих писателей. Изящную структуру этих небольших, но очень содержательных произведений полезно было бы рассмотреть при изучении советской литературы раннего периода. Особенно интересны, мне кажется, «коды», какими Слонимский заканчивал свои романы,— стремительные, нарастающие окончанья, усиливающиеся с каждой страницей, с каждой строкой,— как в музыке. Словно кульминация совершается в конце, а не где-то в середине всего построения.

Вообще же с точки зрения **формального, структурного** изучения всего того, что внесли советские писатели раннего периода в создание новой советской прозы,— наше литературоведение в огромном долгу у двадцатых годов!

Этими несколькими мыслями хочется мне почтить светлую память друга, Миши Слонимского.

31 июля 1978 года
Переделкино

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

Долго, долго не уходили из моей памяти три стихотворных строки уральского поэта Н. Куштума:

Шел торопливо поезд.
Шел через Каменный пояс,
Через Уральские горы...

Помнились не из-за стремительности их «торопкого» ритма, а совсем наоборот — из-за особенности этого ритма, из-за применения к машине, к технике не тех привычных эпитетов, прилагаемых к чему-то бездушному, механическому,— «быстрый», «скорый»,— а вот этого живого, человечного, звериного,— «торопливый», когда представляешь себе движенье не на колесах, а на заячьих лапках, беличьих прыжках, человеческих ногах...

И еще потому не могла я выветрить из памяти эти строки

Шел торопливо поезд,
Шел через Каменный пояс...—

что мы-то сами, семья моя, поздней осенью 1941 года ехали на Урал совсем не «торопливо». От Москвы до Свердловска мы шли — именно шли — около двадцати дней. Шли через гудевшую, как пчелиный улей, возбужденную на высоком духовном подъеме родную страну, через переполненные составами станции, через зеленые от движущихся вагонов пути, через те потоки перенаправляемой на восток важнейшей нашей оборонной промышленности, куда их, как магнитною стрелкой, направлял организующий трезвый Разум нашей партии.

И мы ехали с этим потоком,— я, как пропагандист, от «Правды». Моя дочь — художница, на девятом месяце беременности, и моя больная сестра...

Ехали втроем на двух боковых сиденьях, без хлебных карточек, с мешочком сахару на дорогу, двадцать дней, как уже сказано выше, не уставая глядеть в окна, общаться

с народом на остановках, видеть, чувствовать, понимать, что такое — необъятная матушка-Русь, всеми детьми своими вставшая на Оборону.

Оглядываясь на свою жизнь, считаю, что, несмотря на все невзгоды, это были одни из лучших, вдохновеннейших ее дней.

А впереди — неизвестное.

Урал, где никогда не были. Ни денег у нас, ни представления о будущем, но вот — Свердловск. Союз писателей Урала. Райком. Парторг и руководитель уральских писателей — спокойный, не «торопкий», не суетливый, но уже готовый принять, уже организовавший всю материальную часть нашего уральского бытия (размещение, питание) и — больше того — всю жизненную деятельность.

Дочь тотчас же легла рожать мою внучку-уралочку, сестра мудрейшим образом начала раздобывать нужнейшую литературу об Урале, а я вместе с Бажовым первый свой визит нанесла в райком и с тех пор редко-редко возвращалась восвояси — весь Урал жил передо мной не через литературные связи, не через клуб, вечера писателей, поэтов, внутреннюю групповую писательскую жизнь, во главе которой стоял сказочник, собиратель пленительного уральского фольклора, большой писатель Павел Петрович Бажов, а через многоопытного, многолетнего уважаемого в райкоме и обкоме, секретаря нашей писательской парторганизации, того же Павла Петровича Бажова.

И это было большим счастьем нашей уральской писательской группы, что мы имели руководителем не только собрата по перу, в своей профессии достигшего большой высоты и оригинальности, но — особого типа руководителя-коммуниста, теснейшим образом связанного с нами в нашей предстоящей работе и всегда ощущаемого нами рядом — рука с рукой. Перед ним просто естественно было отчитаться, у него можно было тотчас найти совет, поправку, поощрение. И такой же непрерывной и тесной была у нас связь (у меня и Анны Караваевой) с редакцией «Правды», постоянный представитель которой на Урале тов. Хандрос передавал нам задания редакции. Мы с Караваевой работали на оборону в глубоком тылу, и обе получили тогда по военному ордену — Красной Звезды — за свою работу от «Правды»!

Но я еще не подошла к главному, к тому, что хочу сказать о Павле Петровиче Бажове. Как о пленительном ска-

зочнике, об авторе «Малахитовой шкатулки» о нем все знают. Книга о нем, как о большом художнике, написана Л. И. Скорино. И не повторять общеизвестное хочется мне здесь, а высказать кое-что познанное мною об Урале — через личность Бажова, его партийную практику, его особенную душевную организованность...

У нас в литературных разговорах я часто слышала о крестьянской группе писателей (то есть пишущих о деревне). И всегда меня как-то резко поражало это выделение особой формы труда у крестьянина — в отличие от формы труда рабочего. Поражало, впрочем, не всегда, — а до и после пребывания на Урале. Многому я там научилась и многое осмыслила через общение с Бажовым. Начать с того, что он — пустивший в ход в своих сказах особый термин «умельцы» — никогда, беседуя со мной об очередной моей поездке на завод или на полевой стан, не выделял «классовую» подоснову объекта, куда я еду выступать. Он не говорил: к рабочим на завод, не говорил: к колхозникам в деревню,— а говорил: к трудящимся туда-то или к тому-то (имя директора, председателя).

Бажов по воспитанию, складу, старым глубинным семейным традициям принадлежал к особому слою трудящихся, уральских трудящихся: зимой работавших на заводах, в промышленности, летом — на земле, на хлебе. Это был самый ранний (петровский! демидовский!) тип рабочего человека на Руси, начавшего знакомство с машиной с применением не ручной, а водяной энергии. Демидов рыл пруды, а на прудах ставил мельничные колеса, а мельничные колеса давали гидравлическую энергию. И люди у Демидова летом — крестьяне, вручную работавшие на земле, зимой становились рабочими у машин с искусственными двигателями. Все это давным-давно известно. Однако известно не в целом. Ускользает от наблюдателя это удивительное смешение двух взаимодействий уральского трудящегося —с живой природой земли, дающей органический продукт; и с мертвой материей завода, создающей продукт неорганический.

Об этом можно целый трактат написать. У меня в книге «Урал в обороне» запечатлены такие «комплексные» рабоче-крестьянские типы в их деятельности, как Митя Пестов, например, и другие.

Но первый, кто заставил меня задуматься над уральским характером, был Бажов. Когда я собралась ехать в

Златоуст, прославленный на весь мир своим булатом, он мне рассказал об этом булате, что плавка его — особая: гибкое железо сплавляется с твердой сталью в известном процентном соотношении. «И вот в чем сила процентного отношения, или, как врачи говорят, дозировки: сталь от разбавки гибким железом не слабеет, а приобретает гибкость, а железо от прибавки стали твердеет, но не теряет гибкость». И он прибавил от себя с очень доброй, но очень редкой у него, вдруг — очень откровенной улыбкой: «Нужное правило для коммуниста — покуда решение обсуждается, он должен проявить максимальную гибкость и все обдумать. Ну а пришел к решению — быть твердым, как сталь. Ни туда, ни сюда. Не качаться, а действовать».

Я переложила рецепт, как выковать булат, в стихи:

Свойства их были
известны всегда:
Ковко железо,
а сталь тверда.
Сплавь их — получишь
в едином металле
Ковкость железа
и твердость стали...

Но секрет тут не открыт. Секрет спрятан. Он — в дозировке. И здесь мне светит в памяти редчайшая улыбка Бажова. В своем характере коммуниста, гибком — до принятия решения; в умении понимать своих товарищей по перу, понимать, что руководство — это действительно близость его руки, постоянное пребывание в их среде, ощущение совместности действия, а в этой совместности с ним постоянное ощущение общего роста и твоего собственного роста со всеми. Какой это был руководитель!

Я счастлива, что летом 1942 года это он принимал меня из кандидатов в члены партии, и в сказах своих он оставил для меня не только высокохудожественную прозу, но и в образе своих «умельцев» — грядущий образ главного действующего лица на сцене истории, образ труженика, где труд, как «живой фермент», по слову Маркса, приложенный человеком одновременно к органической природе и неорганической материи,— сольет воедино рабоче-крестьянское начало.

Каким-то предвиденьем этого встала однажды передо мной необычная картина на экране телевизора, когда — где-то на Украине — прямо на зрителя двинулась мощная

горизонталь многих, тесно в ряд движущихся огромных комбайнов, спаянных единой бригадой комбайнеров, сосредоточенно державших штурвалы. Это был как бы образ рабоче-крестьянского трудового единства в будущем.

10.I.1979 г.

ДРУГУ И ТОВАРИЩУ

Мы потеряли замечательного писателя, чьи военные дневники по искренности, чистоте языка и верности правде в нашей мемуарной литературе не имеют себе равных. Лучшие качества Симонова как писателя глубоко и наглядно для всех, кто хорошо знал его, выросли из нравственного существа его как советского человека. Для меня, любившей и уважавшей его произведения, Константин Михайлович Симонов был как раз наглядным примером той связи литературного таланта с нравственным обликом, которая запечатлевается на долгие времена в любимых книгах человечества.

Симонов был открытым, честным, чистым человеком, без капли тщеславия, без того «приспособленчества» к любой житейской действительности, которое связано у людей с эластичной совестью. Он был прямодушен, был верным солдатом революции, верным сыном Родины, верным другом и — что мне кажется самым прекрасным в советском образе поведения — **верным товарищем.** Для него слово «товарищ», заново рожденное Октябрьской революцией на всех языках мира, никогда не превращалось в простую словесную кличку. И это излучало теплоту на тех, кто когда-либо и что-либо делал вместе с ним в литературе, в партийном поручении, на полях Отечественной войны. Он, как и все живые люди, подчас ошибался, но эти ошибки его были **честными,** исходившими из честных, человечных побуждений, из переживаемого искренно чувства.

...Больно думать, что болезнь унесла его в раннюю пору жизни, во дни полного расцвета его творческих сил, когда он мог еще многое сказать читателям. Для тех, кто любил его (а я любила его), эта смерть — большое горе. Но есть могучая сила в утрате настоящего человека.

По-лермонтовски: «Есть сила благодатная» — это сила памяти, сила окончательного понимания того, кто

ушел. Сила памяти, как бы говорящая нам, еще живым: смерть, как зажженная свеча, внесенная в темную комнату ушедшего,— свеча, о которой говорят «светлая память».

Учитесь, молодые писатели, жить так, чтоб оставить о себе светлую память,— быть честными, чистыми, без фальши и тщеславия, с требовательной совестью. Так, чтоб через страницы оставшихся после вас книг мог просвечивать ваш нравственный облик.

1979

РОЖДЕННОЕ ПЯТИЛЕТКОЙ

«Гидроцентраль» — это не только написанная книга, но и пережитый кусок жизни. Поэтому рассказывать о том, как я писала книгу,— это значит рассказать и про те обстоятельства, при которых она писалась, про все пережитое в течение четырех лет работы над нею.

В 1926 году в Эривани мне показали маленькую, местного значения гидростанцию, построенную почти кустарным способом в первые годы Советской власти в Армении. Когда я осматривала эту гидростанцию, у меня зародилась мысль написать ее историю. И вот в 1926 году, в январе месяце, я пошла в Госплан Армении, вытащила все старые папки, относившиеся к истории этого строительства, и стала их изучать. Несколько дней просидела над ними и проработала, но потом отложила это дело в сторону, так как у меня были другие, очередные работы по командировке в Армению. Только в 1927 году эта идея — написать роман о гидростанции — снова возвращается ко мне. Тогда только что было приступлено к постройке интереснейшей, очень трудной по природным условиям, а технически очень оригинальной Дзорагетской районной станции.

Весною 1927 года вместе с комиссией из центра я в первый раз отправилась в Лорипамбакское ущелье для осмотра места, где предполагалось строить эту станцию, а осенью поселилась на строительном участке. Важно вспомнить, что в то время идея внедрения писателя на строительство была совершенно новой, да и не то что новой, она попросту еще не существовала, поэтому связать

себя со стройкой было очень трудно: спрашивали, что я буду там делать, на каких основаниях еду, где бумаги, от кого разрешение. Для администрации стройки я являлась до известной степени помехой. Вообще, и водворение, и пребывание на стройке дались мне очень туго: приходилось прибегать иногда и к Москве за поддержкой, и эту поддержку мне всегда оказывал т. Скворцов-Степанов.

Что же это было за место, куда я засела? Одно из красивейших мест не только в Армении, но и в Союзе, ущелье реки Каменки (по-армянски Дзорагет), очень дикое, в семи километрах от ближайшей железнодорожной станции Колагерань, которая тогда еще ничего не имела, кроме здания.

Вся эта местность представляет типичный каньон, то есть вулканического происхождения возвышенность, прорытую глубоко внизу речками. Крестьянские деревушки расположены на самых верхних точках каньона. Между собой они связаны зачастую даже не дорогами, а еле заметными, очень крутыми, ослиными тропками. Чтобы попасть на стройку, возникшую на самом дне ущелья, у реки, крестьяне спускались по таким тропкам за несколько километров с гор. Понятно, что снабжать стройку при таких дорогах было трудно, и первое время мы жили в очень тяжелых условиях, тяжелых еще потому, что наступала зима — первая зимовка строительного участка,— выдавшаяся необычайной для тамошних мест, снежной и холодной.

Первый строительный участок, где я жила,— небольшой барачный городок у головняка будущей гидростанции — был построен на свежую нитку, без учета нужд и удобств: в бараки протекала вода, печи не везде были исправны, бани не было, по косогору от барака к бараку еще не поставили лестниц, и, когда наступала гололедица, выйти из дому и вернуться домой было чуть ли не цирковым номером. В эту необычайную для тех мест зиму голодные волки стаями шлялись по ущелью и осмелели до того, что нападали на одинокого человека, ночью можно было слышать их завывание. На станцию мы ездили верхом на непривычных к «цивилизации» лошадках: чуть гудок или встречный автомобиль, и пошла музыка — лошадь вскидывалась на дыбы, плясала по зигзагам, и мы научились, чтобы не слетать с седла, заблаговременно

спешиваться и переживать ее нервические припадки где-нибудь в стороне от дороги. Питались в тот период больше буйволиным молоком — лук и картошка были величайшей драгоценностью. Почта доходила с большим запозданием.

Но все эти житейские тяготы ничуть не отравляли жизни. Хуже были слухи и тогдашняя атмосфера недоверия и недоброжелательства к стройкам, которые ползли к нам от оформлявшихся тогда правых группировок. В отношении Закавказья были в то время особенно сильны насмешки: вот-де заиндустриализировались до чепухи, пора вам подрезать крылышки, а то понастроили станций, а потребителей нету. Вы сейчас знаете, товарищи, что в Закавказье острая нужда в энергии, срочно требуется увеличить Загэс, кончить крупные пусковые стройки, да и то мы полностью не насытим нужды в энергии. А тогда правые оппортунисты издевались над Загэсом и распространяли анекдоты о том, что энергию некуда девать и что в Тифлисе для потребления загэсской энергии срочно строят будто бы галетную фабрику. Требовались большое мужество, политическая прозорливость и закалка, чтобы чувствовать в ту пору «пафос строительства», поддерживать его в других и отдавать свои силы стройке.

В этот организационный период стройка висела в воздухе: проект не прошел еще всех инстанций, сметы не были утверждены, и никто в точности не знал, будет продолжаться строительство или нет. Такое недопустимое положение на ряде строек в 1927—1928 годах привело к одним и тем же конфликтам, подобным тому, который описан у меня в романе. Это был конец восстановительного периода и начало реконструктивного... Поворотный пункт начался с весны. Весной, когда т. Сталин дал лозунг о самокритике, наша стройка, можно сказать, первой отозвалась на него, и вскоре после ревизии началось у нас развертывание строительства.

Так вот, положение на стройке в эту первую, подготовительную зиму не могло организовать приезжего постороннего человека, правильно поставить его на место, наоборот, оно требовало, чтобы приезжий сам завоевал себе право на бытие. Оставаться праздной было невозможно. Сперва я работала по линии общественной, принимала участие в драматическом кружке, в организации шахмат-

ной секции, ассистировала при кружке политграмоты. Рабочие с первых дней увидели во мне человека, связанного с «центром», стали приходить с различными жалобами. Жалобы эти приходилось выслушивать, и хотя я не имела на это полномочий, но все же выслушивала, чтобы смочь пробиться к коренному знанию строительства. Сметы, проект, как вы знаете, не были еще утверждены, подготовительные работы были сделаны поэтому наивозможно дешево, производственных совещаний не устраивалось, администрация не отчитывалась перед рабочими организациями, нужные обязательства по договору оттягивались или не выполнялись, а самое главное — недоверие к стройке, неуверенность в завтрашнем дне деморализовали рабочих, что всегда ведет к повышению требовательности, справедливой и несправедливой, к созданию и **правильного** недовольства и **бузы.** Таким образом, у нас назрел конфликт на участке, который выразился в открытом недовольстве, когда погиб мост. О гибели его рассказано в книге. Когда он погиб, мне самой при помощи рабочих пришлось ехать в Тифлис и привести на участок РКИ.

Как видите, все, что написано в книге, было пережито. Пережито, быть может, наивно, неправильно, сгоряча. Я часто вмешивалась не в свое дело, но тогда весь период был таким, и иначе вести себя нельзя было.

Только благодаря лично пережитому я и смогла написать «Гидроцентраль». После гибели моста я уехала, но связи со стройкой не порывала. Остальные три года постоянно наезжала туда и принимала участие во всем, что там происходило, вплоть до последней стадии — монтажа машин и борьбы за получение оборудования. Все острые моменты стройки мы пережили сообща.

* * *

Из первого года жизни на стройке я вынесла ряд основных правил работы над произведениями, посвященными производственной теме, и этот опыт считаю полезным передать вам.

Первый вопрос, возникающий перед писателем: какой выбрать объект для работы? Зачастую меня спрашивали: «Как это вы четыре года ухлопали, чтобы связать себя

с небольшой социалистической стройкой вместо Волховстроя или Днепростроя?» Товарищи, для того, чтобы целостно освоить объект и правильно воспроизвести его для читателя, очень важно выбрать именно маленькую стройку.

Я считаю, что, правильно выбрав небольшой объект, я не зря отдала четыре года на то, чтобы этот **небольшой** объект понять и отразить **целостно.** На этом маленьком объекте я смогла дать проблематику всего советского хозяйства в течение определенного периода времени: конца восстановительного и начала реконструктивного. Для чего я выбрала небольшую стройку? Для того, чтобы поле зрения было сужено и в связи с этим весь материал легче усвоем. Каждый участок строительства надо было проработать до предельной глубины и в результате добиться не только правды сегодняшнего дня, но и правды завтрашнего дня. Вот пример: для усвоения изыскательных работ (предполагавшаяся глава «Изыскательная партия») я изучила учебник низшей геодезии и на практике трассировку и нивелировку, общаясь с техниками-изыскателями и в поле, и в процессе их работы над чертежами. Отсюда я получила не только знание современного состояния изыскательных работ, но и убеждение в том, что изыскательная техника устарела, ведется кустарно и должна быть радикально изменена. Еще больший объем работ пришлось преодолеть в связи с геологической экспертизой. Геология была мною настолько тщательно изучена, что со стола этого изучения падало много кусков, не пригодившихся для «Гидроцентрали», в другие работы — «Ткварчельский уголь», «Артикский туф» и особенно в роман «Кик». Музей моего геолога Лазутина, где имеется созданная им «Литологическая карта», в действительности не существует — это мечта о музее, какого еще нет. И литологической карты еще не создано, хотя создание ее — очередная задача нашей геологии. Без такой карты нельзя строить планово. И такую карту мы создадим во второй пятилетке. Музей Лазутина — это кусок романтики в реалистическом теле «Гидроцентрали». Еще пример приведу: о бетоне. Только мои домашние да полки моих книжных шкафов могут сказать вам, чем был для меня вопрос о бетоне. Не было, кажется, ни одной книги, выпущенной за эти годы о бетоне, которой я не купила бы, не прочитала и не законспектировала. Начиная

с бетона как материала и кончая сложнейшими техническими конструкциями из бетона — все интересовало меня в такой сильной степени, что дома у нас говорили: «Ты втюрилась в бетон». Вот почему вопрос о замесах, рекорды замесов я тотчас же пережила не как механическую борьбу за темпы, а как исторический пример для постановки **проблемы темпа**, необходимости качественного раскрытия слова «темп» и выработки коэффициента темпа для каждого отдельного вида работ, то есть максимума скорости без повреждения качества — об этом вы сможете прочесть в моей статье «Вместо открытия», помещенной в «Известиях» 12 июня 1932 года. Если же вы захотите узнать — в результате такого изучения — много ли у меня в «Гидроцентрали» отведено страниц геодезии, геологии и бетону, то увидите, что изысканию даны полторы странички, а бетону и того меньше, но зато, если эти полторы странички прочтет специалист, он вам скажет, что в них — правда завтрашнего дня в правильном разрезе сегодняшнего. А искусство и должно быть именно таким.

Вторым условием работы, после правильного выбора объекта, будет параллельное изучение и других объектов: нельзя ограничиваться только одной своей стройкой, а непременно надо параллельно с ней побывать на других однотипных стройках Союза, хотя бы нескольких: при параллельном ознакомлении с несколькими объектами **легче усвоить типовые моменты в истории стройки.** Для планового изображения нашей действительности схватить эти типовые моменты страшно важно. Кроме Дзорагэса, на котором сидела, я ездила и на другие стройки — Аджарис-Цхальскую гидростанцию, Рионгэс, Гизельдон. Кроме того, из многочисленных разговоров с инженерами и строителями, приезжавшими к нам, знала, что делается в интересующей меня области на Днепрострое и что делалось на Волховстрое. Насколько разрушение моста, конфликт на участке, неудача с геологической экспертизой, заставившая перепроектировать проект,— словом, все, чем отличался наш подготовительный период на Дзорагэсе,— было характерно и для целого ряда других строек того времени, я узнала полностью лишь после окончания «Гидроцентрали», когда многие рабочие и инженеры других строек, прочитавшие книгу, говорили, что у них было приблизительно «то же самое».

Третий вопрос, важный для писателя, — как держать себя на строительстве. Это чрезвычайно важный вопрос. Сейчас, за эти два последние года, когда на стройки ездит много писателей, положение изменилось. Приезжающие писатели и журналисты требуют максимального к себе внимания, требуют, чтобы на них заранее смотрели как на творцов Магнитостроя в литературе, и строительства им такое внимание оказывают, иной раз весьма преувеличенно. В результате очень часто писатель попадает в положение одолженного человека, персонально обязанного тому или иному лицу на стройке, и незаметно для себя теряет свою независимость.

Я считаю совершенно обязательным для работника печати — чувствовать себя независимым. Писатель не должен считать себя кому-нибудь обязанным. Так, я никогда не пользовалась бесплатно ведомственным транспортом, не принимала никаких услуг от хозяйственников, не пользовалась выгодами снабжения строительного участка, на что как член местного кооператива имела право, не ходила даже в первый год пребывания на участке в дом к начальнику участка, чтобы рабочие не видели во мне заезжего гостя, пользующегося привилегиями и не разделяющего трудностей их работы. С другой стороны, и со мной не только никогда не носились на стройке, а, наоборот, не прочь были иной раз и выселить оттуда, приходилось силком возвращаться. История взаимоотношений с Дзорагэсом — это история борьбы, история войны, перешедшей в дружбу, но сопровождавшейся иногда тяжелыми переживаниями. В результате таких взаимоотношений мне никому персонально не пришлось чувствовать себя обязанной. Я писала то, что находила абсолютно верным, хотя бы оно шло вразрез с желанием некоторых руководителей. И в результате этих четырех лет оказалось, что хотя «Гидроцентраль» — это жесткий документ, памятник отрицательных явлений на стройке, тем не менее она дает положительную зарядку. Оказалось, что суровая и жесткая история Дзорагэса дала лучшую картину положительного значения стройки, чем если бы я замазала пережитое и выхолостила правду.

На стройке должны видеть в писателе опору и помощника, а не паразита, которого нужно только кормить, поить, лелеять и возиться с ним. И, конечно, те, кто не желает особенно себя беспокоить, на такое дело пойдут

с трудом. Но если они хотят создать подлинное произведение искусства, то других путей нет, ибо материал нужно брать с бою, брать совершенно независимым от случайных влияний.

Наконец, **четвертый вопрос:** что делать на строительстве? Это тоже очень важный вопрос, от него зависит ни больше ни меньше, как правильное овладение материалом стройки. Вот что надо помнить: писатель не должен, по-моему, смотреть на свою миссию как на нечто священное. Он должен знать, что приехал на стройку не только водить пером по бумаге. Чтобы прощупать стройку, надо чувствовать себя не гостем, а хозяином, таким же, каким чувствует себя каждый участник строительства, самый рядовой работник, то есть участвовать во всей жизни стройки.

Я участвовала в земляных работах, в работах по прокладке шпал, изучала рабочие чертежи, торкретирование, трассировку, историю проекта, делала геологические экскурсии — и, наконец, включилась в борьбу стройки за оборудование. Что касается общественных работ, то о них уже было говорено выше. Иначе сказать, надо стараться всегда быть полезным делу человеком и не сидеть у стройки бельмом на глазу. А в результате вы получите кровную связь с материалом своей книги.

Таковы четыре основных опыта, вынесенных мною из практики, и каждому, кто едет на большую стройку, я советую проверить их на себе. Повторяю:

1) Предпочитать объект не очень большой, но зато целостный.

2) Изучать одновременно с ним другие параллельные объекты.

3) Не зависеть от случайных влияний в работе над материалом.

4) Связать себя с материалом деловой, практической, предметной связью, чтобы иметь право, подобно каждому рядовому участнику строительства, с гордостью говорить: «Мы сделали то-то и то-то», и чтобы это «мы» не звучало крыловским «мы пахали».

* * *

Теперь несколько слов относительно того, как я работала над своей книгой. «Гидроцентраль» вызывает к себе

разное отношение. Я знаю отзывы и положительные, и отрицательные, причем эти последние сводятся к одному выводу: «Скучно. Нет сил читать». Многие из вас не могут сразу осилить книгу, и в этом нет ничего для автора обидного. Книга, которая писалась четыре года, не может быть прочитана в четыре часа или в четыре дня. Она требует, чтобы ее читали внимательно и творчески, а это дело не легкого чтения.

Давайте разберемся, какова задача моей книги, ее цель и ее тема.

Задачей книги было дать кусочек социалистического строительства в плановом разрезе, задание это исключительно новое. У нас плановым разрезом ни один писатель не интересовался, брали материал, как непосредственно данное. Я же хотела, давая свой материал в плановом разрезе, приучить читателя понимать, что такое социалистическое строительство. Это задача настолько сама по себе серьезная, что очень трудно было ее соединить с занимательной фабулой. Передо мной встала тяжелая проблема: какую фабулу дать, какую форму найти, чтобы книга была читабельная и усвояемая в чтении.

Во-вторых: какова цель «Гидроцентрали»? Целью «Гидроцентрали» было — показать труд **таким вкусным, таким заразительным** (за слово «вкусный» меня очень часто ругают критики), **чтобы у каждого человека зачесались ладони и ему самому захотелось поработать.** Вспомните один, всем известный, пример из «Приключений Тома Сойера». Мальчишка Том Сойер напроказил, и тетка в виде наказания заставила его выкрасить забор. Тому не хотелось красить забор — день был праздничный, ему хотелось погулять и поиграть с мальчишками, но ничего не поделаешь, пришлось выполнить приказ. Он взял ведро с краской, кисть, подошел к забору, самолюбие его было уязвлено перед соседскими мальчишками, и тут его осенила гениальная мысль. Он взял кисть, обмакнул в краску, мазнул, отошел в сторону, полюбовался; даже кончик языка высунул, еще раз мазнул. Помажет, отступит, полюбуется, снова помажет. Иначе сказать, он «разыграл» обязательный труд, как добровольный труд. И вот он замечает, что собирается публика, но делает вид, что никого не видит, весь ушел в работу. К нему стали приставать: «Том, дай помазать». Он не хотел уступить, долго торговался, наконец уступил за яблоки, перочинный

ножик и еще что-то, и его товарищи стали наслаждаться купленным ими правом на работу, которой тетка наказала Тома. Что это значит? Это значит, что трудовой процесс по существу захватывает человека больше, чем любая игра. Но его надо так подать, чтобы он каждого захватывал, чтобы эта захватывающая, творческая сторона труда сразу бросалась в глаза и каждому читателю захотелось принять участие в трудовой стройке. Заразить радостью добровольного, творческого, социалистического труда — вот это и есть цель «Гидроцентрали».

И в-третьих: какую тему я вскрыла и поставила «Гидроцентралью»? Тема «Гидроцентрали», товарищи, такова: **каждая форма труда, начиная с самого простого, с черной работы, и кончая высшими формами искусства, может быть творческой и механической.** Формы труда не имеют разделений на высокие и низкие, но зато выполнить любой труд можно «высоко» и «низко». Труд, если он творческий, всегда высок, и, наоборот, так называемые наиболее высокие виды труда — искусство и наука — могут быть низкими, если они совершаются не творчески, а халтурно. Следовательно, тема «Гидроцентрали» есть в сущности подход к теме построения бесклассового общества, к уничтожению противоречий между физическим и умственным трудом. Она оформилась у меня задолго до второй пятилетки и поставлена следующим образом: я в книге показываю целый ряд трудовых процессов, начиная с художника, который рисует картины (дан подробный анализ художественной творческой работы), и кончая чисто физическим трудом ручного верчения штанги в буровой скважине, где тоже дан подробный анализ налаживания всего организма, всей мускульной системы к плавному, легкому, художник сказал бы «вдохновенному», чистому процессу работы. Вспомните, как воспринимается, например, Фокиным разлаженность работы в его любимом отводном туннельчике. Не только на произведениях искусства и науки видим мы судьбу труда, который вложен в них. Иначе сказать, не только одно искусство **живет**, когда оно создано творчески, и **мертво**, исчезает, как халтура, когда оно создано механически,— но и вещи, все вещи, создаваемые человеческими руками, имеют ту же судьбу настоящего и халтуры. Я это хотела показать и на судьбе вещей. Подойдите с этой точки зрения к истории гибели моста, о которой рассказано в «Гидроцентрали».

Мост, внешне красивый, оказался беспомощным при паводке, то есть это значит, что инженерная задача моста была выполнена халтурно, формально, механически, без того «вдохновенья», которое требуется для каждой работы. Халтурность проекта моста отразилась и на настроении плотничьей артели, которая строила мост тоже халтурно, спустя рукава, с насмешками, не веря в целесообразность своей работы. И, наконец, когда погиб мост, эта гибель ни в ком не вызвала жалости, а, наоборот,— злорадство. Это место — одно из сильнейших у меня мест в «Гидроцентрали». И я до сих пор не могу простить критике, к сожалению тоже весьма халтурной, что она этого места не поняла и задавала мне грозные вопросы: «Как это так рабочие могут радоваться гибели социалистического моста?» А очень просто: не все то, что строится, ведет к социализму. Халтура к социализму не ведет, с халтурой мы должны всеми силами бороться, как с вредителем и сорняком, и халтуру надо уметь различать и выявлять. На примере радости рабочих гибели моста я показала, как можно выявить халтуру,— в инженерном деле, товарищи, это, пожалуй, не менее трудно, чем в искусстве.

Одновременно я показала образчик и творческого горения инженерной работы там, где дала напряженный и самозабвенный труд главного инженера над перепроектировкой Мизингэса. Помните, как он у меня ночью додумывается до основной мысли проекта,— это пример творческой работы, это — тот самый огонь, который делает открытия, который заставил греческого математика выскочить из бани голым и закричать: «Эврика!», то есть «Нашел!»

Так вот, товарищи, если вы просмотрите «Гидроцентраль», то увидите, что у меня везде предъявляется требование, чтобы труд был насыщен творчеством. Вот какое задание передо мной стояло. Дать плановый разрез, показать труд заразительным и требовать от всякой формы труда творческого подъема,— как вы думаете, легкая задача дать такую книгу? Могла ли я облечь это в банальный сюжет, в любовную интригу? Нет, я этого сделать не могла и не желала. Я дала тяжелую, трудную книгу, но благодарную для того, кто ее будет читать медленно, по страницам, изучать и раскрывать страницы для себя с тем вниманием, какое я вкладывала в создание этих страниц.

1974

СЛОВО АНДРОНИКОВА

Писатель Ираклий Луарсабович Андроников начинал «устно». Всем памятны его замечательные выступления в больших залах Москвы и Ленинграда. Его удивительные устные образы писателей, называвшиеся иногда пародиями, хотя правильнее было бы сказать — перевоплощения в характеры изображаемых им лиц. Его чудесные рассказы — юмористические, биографические, историко-литературные, историко-музыкальные.

Но слово Андроникова не было только произнесенным словом — в его рождении участвовал весь человек: его жесты, мимика, интонация — глубокое выражение мыслей и чувств.

Когда мы слушали Ираклия Андроникова на сцене, мы видели перед собой всего человека, создавшего себя как объект искусства.

Он не был ни профессиональным чтецом, ни артистом, ни исполнителем чужих текстов. Может быть, потому, что во всех его выступлениях: в великолепных портретах, в замечательных рассказах-показах на голубом экране, в воспоминаниях о Большом зале дорогой нам Ленинградской филармонии, получившей имя Дмитрия Шостаковича,— мы чувствуем Ираклия Андроникова прежде всего как устного творца-писателя; и слово его не только слышится, но и как бы пишется перед нами в сокращении мускулов его лица, в движении щедрых губ, в жестах ладоней и пальцев, в остроте и всегда улыбчивой доброте (или доброй улыбчивости) его взгляда.

Именно эти творческие особенности Андроникова отразились во всей их полноте в лежащих перед нами трех томах его прозы. Такие черты его творчества придают особую привлекательность прозе, независимо ни от сюжетности, ни от ее тематики, способных и сами по себе увлечь читателя.

Но чтение произведений Андроникова не только увлекательно. Оно имеет очень большое познавательное значение.

Мир, охваченный его пером, широк и многообразен. Он пишет о музыковеде Соллертинском, об искусстве Шаляпина и Улановой, об актерах Сальвини, Остужеве, о нижегородском фотографе Дмитриеве... Начиная с историко-литературных эскизов и до глубоких исследований

творчества Лермонтова и Пушкина, от литературных архивов и до музыки Арама Хачатуряна им всегда сказано нечто новое, захватывающее читателя,— от этих страниц вам трудно оторваться, и они остаются в вашей памяти.

Я ничего более точного о музыке к «Маскараду» Арама Хачатуряна, чем несколько страниц Ираклия Андроникова, не читала в музыковедческой литературе. Слово его само звучит со страниц книги как музыка, словно это не написал, а произнес сам автор.

В своих работах Андроников не раз касается важной для его творчества темы — разницы сказанного и написанного слова, того, что мы называем (и это в нашу эпоху играет в общественной жизни советских людей огромную роль) «ораторским искусством», хотя слово «ораторское» несколько занижает и формализует великое пропагандистское воздействие устного слова. В статьях «Что же такое искусство Яхонтова?», «О новом жанре», «Слово написанное и слово сказанное» и во многих других Андроников делится с читателем мыслями и об особом виде искусства слова. Он пишет, например, что если заранее заучить свою устную речь, то она будет бездейственна в прямом своем назначении, потому что оратор в это время работает за счет памяти (вспоминает, как у него написано), а не за счет творческой мысли, рождающейся у него импровизационно: «...писать — это не значит «говорить при помощи бумаги». А говорить — не то же самое, что произносить вслух написанное. Это процессы, глубоко различные между собой».

В Собрании сочинений Ираклия Андроникова читатель найдет во множестве интереснейших деталей все то, о чем я говорю тут обобщенно.

Неповторимое своеобразие творческой манеры Андроникова сказывается на всех жанрах литературы, в которых он работает, от рассказов-перевоплощений до его докторской диссертации о Лермонтове.

В этом смысле Ираклий Андроников — явление уникальное. И читателя ждет много радостей от чтения его прозы, звучащей, как живая устная речь.

7 мая 1979 года

ПОД ЗНАКОМ НИЗАМИ

Когда что-то называют «именем» — это обязывает. Первые Дни поэзии, которые будут ежегодно проводиться в Азербайджане, связаны с именем Низами. Это в своем роде напутствие поэтам: учитесь у великого поэта-мудреца, будьте верными его гуманным традициям, жемчужинам его высказываний о роли поэта для поручения и наставления народа, для воспитания своих сограждан и особенно — для назидания в самом главном, чем живет человек,— в труде.

Крупицы мудрости Низами, где он говорит о труде человека, если собрать их вместе, составят удивительную повесть о необходимости для человека трудиться. О том, как должен трудиться рабочий, как дорожит своим трудом крестьянин, у Низами есть целые отдельные басни. Я часто приводила их в своих книгах, но мне всегда хочется повторять их, напоминать читателю.

Вот поселянин, сеющий в поте лица на жалком клочке земли свой будущий хлеб. Царь Соломон, проходя мимо, поучает его — мы, мол, на хорошей земле сеяли, и то не собрали жатвы, а что ты соберешь с этой безводной земли? И поселянин отвечает, что вода для него — это его пот, а лопаты для него — это его руки. Трудись с любовью к труду, трудись по-настоящему — и получишь хороший урожай.

Водою мне — видишь — мой пот на спине,
Концы моих пальцев лопатою мне.

Великим мне счастьем бывает зерно,
Когда получаю семьсот на одно.

Вот рабочий-кирпичник, строящий дом. И ему говорит проходящий мимо юноша: «К чему тебе работать, никто не откажет подать тебе хлебец» (на языке современности: уходи, мол, на пенсию!). А старый кирпичник отвечает:

Нам, старым, прилично знать толк в кирпичах.
А юношам — тяжесть таскать на плечах.

Ну, а как обстоит дело с творческой работой, с профессией поэта?

Много лет назад, перед своим очередным докладом, Александр Фадеев позвонил мне по телефону:

— Подбери что-нибудь из поэзии похлестче для братьев писателей, хорошую цитату!

Фадеев, кстати сказать, любил цитировать Низами из «Сокровищницы Тайн», поэмы огромной мудрости. Я не раз снабжала его цитатами, восхищавшими меня самое...

Западный (капиталистический) мир называет нашу эпоху «потребительской», то есть считает «потребление» главной потребностью нашего времени.

Но мир социализма главной потребностью человека считает творческий труд. И для нашей поэзии тема труда, тема человеческого созидания, наполнена такой же музыкой чувств, как и тема любви.

Вот, мне кажется, под каким знаком выйдут поэты на трибуну своего первого ежегодника, получившего название «Дни поэзии Низами».

1979

ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРЕНКО

Говорить о Евгении Евгеньевиче Нестеренко для меня священная обязанность. Это величина первой степени. Не потому только, что у этого художника исключительный по красоте бас и он им владеет превосходно, но потому, что все эти данные находятся в одном нравственном единстве советского типа. Нестеренко — представитель советского характера в искусстве, что чрезвычайно важно. Ошибаются те, кто говорит, что таланту позволено все, что сам собой он может покрыть любые недостатки характера. Ошибаются эти люди, потому что нравственное существо человека — это лоно, на котором вырастает подлинное искусство. То искусство, которое обогащает слушателей и входит в мировую сокровищницу культуры.

Я люблю Евгения Евгеньевича. Он доставляет мне колоссальное удовлетворение и наслаждение, когда я его слушаю. А знаю я его давно. С его юных лет я прислу-

шивалась к появлению в эфире его голоса, к методике пения, в которой есть какая-то особая чистота отдачи. Как о человеке о Нестеренко я узнала совсем недавно. Но то, что я узнала, раскрыло мне, по существу, огромное взаимодействие этой музыки с массами слушателей и ее специфическое, особое действие на меня.

По-настоящему глубоко я услышала его по 14-й симфонии Шостаковича, написанной на тексты самых разных поэтов, начиная с современных западных и кончая декабристом Кюхельбекером. В этом разнообразии Шостакович по собственному его методу восприятия поэзии сумел найти глубокое единство переклички разных вещей разных эпох. Меня поразило, что в интерпретации Нестеренко была какая-то особая убедительность. Каждый раз, когда он менял свою арию, чувствовались не только текст, не только гениальный Шостакович, но чувствовалась подача музыки Шостаковича в той первозданной чистоте, в какой она рождалась под пальцами композитора.

Мне как-то рассказал Евгений Евгеньевич, что, когда он пел арию о французской тюрьме Сантэ, у него дрожало все внутри, он сам себя ощущал в тюрьме, пережил и это, и то, что вложил Шостакович в музыку. Это переживание не было увеличено ни единым звуком какой-то собственной подачи. Но мы воспринимали настоящую дрожь, потрясшую его организм.

Как-то я разговаривала с редактором, постоянно записывающим пение Нестеренко для радио, и она очень точно сказала о разнице подачи музыки. Вот, скажем, арию романса «Я стражду» поют обычно с огромной затяжкой в музыкальном счете: «я страааажду». То есть музыкант как бы театрально увеличивает эффект страдания, отмеченные в рукописи композитора ритм и длинноту исполнения певцом этого места. Но сам Евгений Евгеньевич поет все в точности, как это написано композитором. И звучит это с необычайной силой. Почему? Потому что, когда человеку больно и он страдает, он не может стонать перед людьми «я страааажду». Ему же больно. Он может только сказать «я стражду». И в этом выражается гораздо больше страдания, чем в растягивании.

И этот пример заставил меня задуматься над тайной исполнения, тайной передачи вокала, правильной, без

внесения от себя того, что певец считает исполнительским талантом. Понимаете, в чем дело? Слово тоже имеет свою технологию, и каждое слово, рожденное музыкантом на поэтический текст, не должно превышать тех зенитов, которые вкладывает в слова поэт, а расшифровывает в музыке композитор. В этом великая особенность исполнения Евгения Нестеренко. К сожалению, часто певцы любят добавлять от себя, думая, что такие затягивания, всякого рода эмоции выявляют его индивидуальность. Так они и переходят в традицию от одного певца к другому, рождая трафарет. Есть трафареты тенорового исполнения, трафареты баса. А петь надо по-своему, у певца инструмент в нем самом: его голос. Вы не можете инструментом оркестра растягивать что-либо против музыкального счета, против ритма, вложенного в музыке. Это просто развалит целое. Так почему же певец может без конца своим собственным инструментом, своим голосом идти против музыкальной, творческой записи композитора?

Новаторство Нестеренко — это первое, огромное свойство, которое он несет в вокал и чему надо учиться новой школе советского пения. Кстати сказать, замечательно у Нестеренко то, что он патриот русской советской певческой школы. Патриот, начиная с духовного пения. В духовном пении исполнение не допускало никаких вариаций на текст. Никакой самодеятельности. Это было пение по нотам, но пение, исполненное глубокого внутреннего проникновения в текст. Это певческое начало русского пения перешло к большим вокалистам и в технологию русской школы.

В основном, по мнению Евгения Нестеренко, русская певческая школа и технология стоят выше всех остальных школ в мире. Так и Ломоносов считал русский язык лучшим языком в мире. Это особая форма патриотизма. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но это чрезвычайно ценно для нашей культуры, развития русской музыки. Чрезвычайно ценное убеждение, проводимое в жизнь Нестеренко.

Сейчас в элементы классической музыки вторгается не развивающая ее, а как бы убивающая ее струя эстрадного громкогласья. Вот это и влияет на исполнителей со слабыми голосами. Люди мирятся с маленьким голосом, ищут не наслаждения чистотой звука, а какого-то раздражителя нервов.

Приезжал недавно знаменитый зарубежный певец. Многие с ума посходили о нем. А я моим слабым слухом (через аппарат), может быть, чего-то недослышала, но в основном, хотя могу показаться очень отсталой, он мне совсем не понравился. Скажу честно, мне он показался монотонным. Он пел Шуберта, как Шумана, Шумана, как других современников-немцев и других певцов других стран. У него были малые данные в смысле голоса. И я не понимаю, что, собственно, могло увлечь в нем. Я знаю великолепных исполнителей Шуберта, от которых вы чувствуете как бы холодок в позвоночнике. Когда узнаешь подлинное в искусстве, это огромная минута для слушателей, минута соприкосновения с истиной, истиной в исполнении. Это редчайшее наслаждение. Но этого наслаждения он, по-моему, никому не давал.

А вот Нестеренко дает его в каждом своем проявлении. Репертуар у него очень разнообразный. Он может в один вечер перейти от духовного пения к какому-нибудь очень сильному эмоциональному — скажем, Мефистофелю. Но разнообразно подавая этот материал, он сходен в главном — во вкусе. Быть все время на верхнем этаже человеческого понимания искусства! Это очень большой вкус, воспитанный учебой, огромным музыкальным репертуаром, постоянным наблюдением: как, где, что поется, вкусовым ощущением подлинного, вкусовым отвращением к искусственному. Это пронизывает все его существо. И еще должна сказать, что этим своим высоким вкусом Нестеренко соприкасается еще с одной важнейшей чертой подлинного искусства. Дело в том, что ни один певец, ни один поэт, ни один музыкант не может не выразить в своем творчестве характера своего отношения к жизни, своего нравственного существа, своей внутренней совести, которая ясно говорит человеку, что хорошо и что плохо.

Нестеренко учит нас очень большому нравственному чувству. Вы понимаете, что перед вами не только замечательный певец, крупнейший бас, но и человек. Глубокая человечность, прежде всего правдивость выражения, доброта отношения к слушателю, желание доставить ему наслаждение, дать настоящий кусок хлеба искусства — вот что привлекает к нему сердца.

Он, когда я спрашиваю его о прошлом, о том, что на него влияло, очень хорошо сказал о своих двух учителях:

о Матвеевой, которая вела кружок самодеятельности в Ленинградском университете, и о Луканине — певце бывшей Мариинки, преподавателе Ленинградской консерватории. Первое, что он сказал, чем они его привлекли, за что он любил и любит их,— это нравственная атмосфера, окружавшая их. Дышалось там хорошо, там не было злословия, не было фальши. Не было желания кому-то повредить, кого-то выдвинуть. Ни капли того, что можно назвать ячеством, думой о себе, своей преподавательской деятельности. Это были люди чистые, которые хотели передать свою справедливую, я бы сказала, праведную, чистоту отношения к ученикам — молодым начинающим артистам.

Он расцветал в этой нравственной атмосфере. Она его несла. И любовь его к учителям покоится на атмосфере нравственной чистоты. Это ведь, товарищи, не так часто встречается. Многие мне рассказывали о своем прошлом, большие иногда таланты. Причем они не всегда упоминали даже о своих учителях. А иногда упоминали с неудовольствием: мол, те недооценили их, или задвигали, или что-то еще такое, что показывало — педагогика в жизни этих больших талантов большой роли не играла.

Не знаю отчего. Оттого ли, что не было отдачи им или, наоборот, умения получать. Я лично думаю, что не было умения получать.

А у Евгения Нестеренко огромный талант получать, связанный с его необычайной скромностью. Он уже в зените славы, выступает на крупнейших сценах мира, но не отказывается ездить в рабочие центры, отдает свой талант щедро, великодушно, благодарно. Нынешним летом он был во Владивостоке, использовав несколько свободных дней, от приезда откуда-то до отъезда в Англию. Он буквально часы использовал, данные ему для отдыха, чтобы полететь во Владивосток. Он говорил мне, что бывал там у рыбаков, у моряков. Всюду, где жаждали услышать его голос. Он пел и пел. И никогда не отказывался петь на «бис».

Я лично считаю огромным наслаждением для себя, что в свои старые дни смогла послушать Евгения Нестеренко, и счастьем для меня является то, что сейчас могу сказать ему всенародно свое «спасибо».

1979

ПАМЯТЬ

Память и «воспоминания» — это разные вещи. Я храню память о дорогом мне поэте и человеке Сергее Сергеевиче Орлове. Но у меня нет материалов о встречах, разговорах и совместном участии в событиях жизни, из которых память ткет обычно то, что мы называем «воспоминаниями».

Память хранит о человеке нечто цельное и неподвижное — его присутствие, его атмосферу, его нравственный облик. Когда Сергей Сергеевич за что-нибудь заступался, значит, заступался за правое дело; когда воевал с чем-нибудь, значит, с несправедливостью. За его подписью под общественным документом всегда легко было ставить свою подпись. Есть такие люди на земле. О них народ говорит: это человек порядочный.

И его стихи (их мало — он писал скупо и редко) всегда как-то прочно входили в память, как яркие очертанья предметов и явлений, как краски, запахи, погода, месяцы. Апрель, например. Он так и стоит в моей памяти,— хрупкий и хрусткий, как тающий снег под ногами, когда он сравнил его с пластинками для проигрывания. И зной лета,— как пыль под ногами марширующего полка. Он, кстати сказать, не любил, когда ему хвалили по телефону его стихи...

У Сергея Сергеевича сын Вова, а у меня внук Сережка были большущими друзьями. И это тоже хранит в моей памяти ощущения какого-то родства наших семей.

Как уже сказала вначале — это не «воспоминания», а только память.

17.1.79

МИГ ОЗАРЕНИЯ

Бывают такие состояния души человеческой, когда ничто, никакое лекарство не может помочь человеку. А может помочь только одно — светлые слезы. Душу, как

бы запертую, замкнутую от внешнего мира, окаменевшую, вдруг взрывают изнутри светлым потоком слезы. И тогда окаменелость распадается, тогда наступает мгновение, о котором Лермонтов так хорошо сказал: «И верится, и плачется, и так легко, легко...»

Блаженная легкость такой минуты дается великим искусством. Сильнее такого дара воздействия на человека в минуту жизни трудную, чем высокий дар художественного слова, дар художника, артиста, нет ничего в мире. Это агитация таинственной магией, дарованной человеческому таланту. Она дотрагивается до внутренних струн человеческой души, она как бы извлекает из них музыку, и человек становится будто инструментом, название которого — сила чужого дара.

Много было хорошего, что нам, советским людям, подарило искусство в эти дни перед стодесятилетием со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Но вот я пережила самое сильное для себя из таких воздействий искусства.

День был обыкновенный, серый, бессолнечный. Час был, когда еще не стемнело, но уже угасало все вокруг. И у меня — старой, очень беспомощной, потому что зрение мое померкло и я лишена самого нужного друга в старости — чтения книги, книги — спутника и утешителя всей моей долгой жизни, как-то вдруг сжалось сердце, окаменела душа, пришло чувство беспричинной тоски. Как-то непроизвольно в этом одиночестве потянуло услышать человеческий голос, и я подошла к телевизору, включила его. Я увидела человеческое лицо, как в освещенном окне, услышала старческий голос. И тут показалось мне — все подошло близко и глазам и слуху — речь старика о своей жизни. В ту минуту это был настоящий, живой старик. Все так и было, как в жизни, преображенное двойным воздействием талантов писателя и актера.

Как он, бывший офицер, в первый год Октября отвергнутый новой для него средой, чуждой и непонятной ему, голодный, истерзанный темнотой своего незнания, враждой окружающих, ставший нищим, чтобы не умереть, и окаменевший в своем нищенстве, вдруг встретил неравнодушного к нему человека, который подошел и спросил, что с ним. Он ответил не сразу. Но всю голую правду. И человек вынул бумажку, написал на ней адрес.

Но дальше своими словами не хочется пересказывать. Дальше как будто в сказке или поэме — старик пошел,

и ему помогли, а там, где помогли, был портрет на стене, и он узнал в нем того неравнодушного человека, которого встретил на улице.

В. И. Ленин.

Дальше я воспринимала уже очень смутно. Взорвалась моя окаменевшая душа потоком светлых слез. А я ведь годы не плакала. То, что я увидела и услышала, было озарено гением искусства. Изумительный актер Андрей Попов исполнил изумительный рассказ Константина Паустовского «Старик в потертой шинели».

1980

ПОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕХОМ!

Неделю мы были прикованы к экрану телевизора. Мы смотрели молодые годы Карла Маркса. Не отрываясь. Держась за перила все более глубокого, все более интересного, все более приближающегося к нам по времени повествования. Очень удачный сценарий (авторы — А. Гребнев, Б. Добродеева, Л. Кулиджанов при участии Г. Пфайфера) шаг за шагом вел нас к рождению научного социализма.

Те, кто знает марксизм, испытали редчайшее удовольствие от точности претворения в искусство всего того, что было для них знакомо по книгам. Те, кому еще предстоит знакомство с идеями Маркса, получили великолепный, непревзойденный художественный урок политграмоты.

Все это было захватывающе прекрасно, но мне хочется остановиться на достижении этого фильма в области профессионального искусства кинематографии.

Фильм показал зрителю с огромной силой, какое ведущее значение имеет в этом «искусстве движения» литературный **текст.** В этом образном фильме **слово** превратилось в один из сильнейших рычагов движения. Оно как бы несло нам характер развития действия, влекло за собой в раскрытие смысла, развертывало этот смысл в глубину, сливало движение вглубь с движением времени. Из года в год, из кадра в кадр. Этому своеобразному «стереоскопическому», перспективному значению разговорного текста в сценарии помогало появление пожилого

Маркса тех лет, когда его теория, марксизм — принципиальная направленность железной логики марксизма, несгибаемость его в борьбе со всеми отклонениями от научной основы — уже стала вполне для самого Маркса выявленной. Прием, сделавший старого Маркса как бы собственным комментатором к развивающимся годам своей молодости,— одно из глубоких достижений и сценария, и режиссуры, и мастерства ведущего актера. Но фильм показал не только значение текста в сценарии. Надо помнить, что значение это возможно лишь при наличии действительно глубокого и «стереоскопического» текста, над которым сразу начинаешь думать, который вносит в картину высокий разум, высокий смысл, зерна реальной человеческой мудрости.

Больше того, когда мы смотрели и слушали «Карла Маркса», многим из нас, а мне в особенности, показалось правомерным дарование речи Великому Немому, каким вначале был кинематограф.

В дальнейшем развитии советской кинематографии надо учесть это завоевание создателей фильма о Марксе.

Второе, о чем хочется упомянуть, это изумительное воплощение исторической атмосферы фильма. С первых же кадров вы чувствуете воздух времени, вы дышите им, сами вдруг становитесь участником происходящего. Это достигается, как мне кажется, не только внешними приемами стилизации под прошлое. Но прекрасно поданными группами современников Маркса, историческими личностями, идеально сыгранными актерами. Они захватывают зрителя своей реальностью (речь, взаимодействие, содержательность бесед и споров). И опять неизбежно приходило в голову: не внешние черты одежды, мебели, транспорта создают историческое время, а сам человек, несущий свое время в самом себе (как он чувствует, говорит и действует). И сказывается эпоха не в отношениях человека с миром вещей, а в отношениях человека с его современниками...

Теперь о самом дорогом для меня в этом прекрасном фильме Л. Кулиджанова. Его глубокая нужность именно сейчас, в наши дни, когда на Западе предпринимаются напряженные попытки извратить учение Маркса, придать ему черты того самого «оппортунизма», с которым яростно боролся Ленин. Все средства пускаются в ход: вылазки против Парижской Коммуны, умаление значения ее,

дискредитация тех, кто лежит у стены кладбища Пер-Лашез, отдав свою жизнь за Коммуну. Чьи могилы всегда покрыты свежими простыми цветами из рук парижских рабочих и жен рабочих. Снижение принципиальности, бескомпромиссности, того пламени борца революции, какое в наши времена получило славное имя большевизма, несгибаемой силы воли в борьбе за преобразование общества («Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».— К. Маркс) ведется на Западе с таким тщательным «цитатокопательством», с каким, по народному выражению, ищут иголку в сене. Особенно обследуются литературная деятельность молодого Маркса, его стихи, его знаменитая статья о прусской цензуре...

И вот живой, правдивый показ этой молодой поры. С экрана удивительно ярко и точно, с точнейшей документацией дается нам не только история развития Маркса, но и последовательная история развития марксизма, того марксизма, который, по гениальному слову Ленина, **выстрадан** нашим народом, совершившим Октябрьскую революцию.

Вот за что особенно хочется от всего сердца сказать спасибо всем, кто создал фильм (годами вдумчивой работы!) о молодых годах Карла Маркса.

1980

ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ НА НОЧЬ?

Люди напряженного умственного труда устают за день. Их возбужденный работой мозг сопротивляется отдыху, противится переходу ко сну и безмыслию. Тогда на помощь приходят разные средства. Одни приучают себя к снотворным, механически отключающим мозг от деятельности. Другие прибегают к чтению «легкой литературы». Я тоже, ложась в постель, десятки лет «отключала» свой возбужденный, жужжащий мозговой аппарат, подсовывая ему всякие сюжетные детективы. И в утихшей волне мышления, в зеленых водах спокойного воображения, в цепях неподвижного подчинения сюжету вы отдыхаете, вы скоро выпустите свой детектив из рук на пол и заснете...

Но привычка с годами оборвалась. Перед самым своим девяностолетием я стала плохо видеть. При свете ночной лампочки буквы немецких, английских, французских и даже наших, адамовских, детективов стали сливаться, потеряли четкость. Я не могу выжать из своих глаз ни единого светового луча для чтения мелких букв. И чтобы как-нибудь успокоить свой мозг, решила читать на ночь детские книги с крупным шрифтом.

Книга, попавшая мне в руки, «Бессмертие Дон Кихота» детской писательницы Э. Цюрупы[1], с ее ясным, хоть и не очень крупным шрифтом, сперва показалась мне детской, и я начала ее читать. Начала ее читать на ночь, в одиннадцать вечера, а кончила утром, в восемь... Встала утром освеженная, бодрая, полная жизненных сил, желания сесть за работу. Э. Цюрупа сделала **утреннюю** книгу, особенную книгу для всех возрастов.

Что же, какая особенность держала мое внимание долгие часы ночи? Книга Э. Цюрупы лишена сюжета. Если сказать о ней коротко — она состоит из двух вещей: материала и направления. Огромный, интереснейший материал, начиная с жизни самого Сервантеса в сплетении ее с жизнью Дон Кихота и до множества исторических эпизодов, судеб больших и малых людей — судьбы самой Испании, стихов и поэтов, писателей и книг; анализов термина «донкихотство» и углубленных касаний отдельных мест из Маркса и Ленина... Казалось бы, глыбы, разрывающие чтение на части, не связанные между собой сюжетом. Но вместо сюжета через все эти глыбы, как электрический ток, проходит одно направление. Вечная борьба человека за справедливость, добро и правду. Перо писательницы само кажется носителем этого электрического тока, так оно патетично, так полно любви к своему материалу, так зажжено верой в направление, с каким оно разворачивает, освещает свой материал,— от борьбы с «ветряными мельницами и стадом баранов» до вдохновенных страниц о жизни Дарвина, Тимирязева и Циолковского... Многое из того, что есть в этой книге, нам давно знакомо, но в чтении воспринимается как новое. Мы знаем стихи, которые в ней цитируются, но для нас они слышатся по-новому, тянут в будущее, освещенные на-

---

[1] Цюрупа Э. «Бессмертие Дон Кихота». Издательство «Советская Россия». М., 1977.

правлением материала. Изо всего, что я читала в последнее время, это, может быть, самая действенно-оптимистичная книга. Какую пользу она может принести молодежи!

Я не пишу рецензии. В этих коротких заметках мне просто хочется дать свой отклик на книгу, прочитанную от ночи к утру... Благодарный отклик — потому что утром, обозревая всю свою долгую жизнь, я вдруг почувствовала себя хоть и очень, очень маленьким, но тоже отчасти донкихотиком. Как, может быть, и много других людей, читавших эту утреннюю книгу.

1976

III

ВСТРЕЧА XX ВЕКА

1

Наверное, каждый из нас, если он не младенец, может вспомнить встречу прошлого Нового года. Но найти кого-нибудь в 1999 году, кто мог бы рассказать, как он сто лет назад встречал новое, двадцатое, столетие, почти немыслимо. Для этого потребовалось бы, чтоб рассказчик был не моложе ста десяти — ста двенадцати лет; чтоб он обладал памятью кибернетической машины; и чтоб на той далекой встрече он не спал сладким сном, как подобало бы в его возрасте, а сидел со взрослыми. Вряд ли, обшарив все горы Абхазии и Азербайджана, удалось бы найти такого образцового старца. Да и сейчас, в начале последней трети двадцатого столетия, уже совсем мало современников, кто смог бы рассказать, как он его встречал. А такие рассказы нужны. Они донесут до потомков ту смесь ожидания, надежды, намерения, желания, что сливается в глубинном слове «предчувствие»,— перед наступлением новой эры.

История учит нас, что каждый век обладает своею зримой доминантой — основными чертами, создающими его лицо. Человечество как бы видит это основное лицо истекшего века. Историки дают ему определение в каком-нибудь качественном эпитете. Когда-то поэт Андрей Белый, играя словом «человек», расшифровывал его, как «чело века». Так вот, какое же «чело» у нашего двадцатого века и о чем думалось тем, кто присутствовал при его рождении?

Но сперва откажемся от дешевых ответов, приходящих в голову тотчас же: век атомный, век покорения космоса, бешеных скоростей... Все это завершает, а не начинает представление и не относится к человеку в прямом смысле слова. Всего этого не желают вам, поднимая бокал на встрече,— а желают, думают, адресуются к глубоким

потребностям, к простейшим вещам — счастью, здоровью, исполнению мечты. И думают о будущем человека на земле, простого человека в его личном и общественном душевно-духовном бытии. Чтоб лучше представить себе, о какой «доминанте», каком «лице эпохи» идет речь, когда люди встречают большое, далекое будущее,— приведу два разных, на двух полюсах мироощущения возникших предуказания, созданных поэтами в разные эпохи. Блоковский «Голос из хора», как бы камнем разрывающий связь времен; и знаменитое гетевское изречение, связующее прошлое с будущим. Слушайте сперва Блока, это страшно читать даже в сотый раз, к этому нельзя привыкнуть:

...Лжи и коварству меры нет,
А смерть — далека.
Все будет чернее страшный свет,
И все безумней вихрь планет
Еще века, века!
И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы, и я,
Все небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия...
...Ты будешь солнце на небо
звать —
Солнце не встанет.
И крик, когда ты начнешь
кричать,
Как камень, канет...
(6/VI 1910 — 27/II 1914)

И вот гетевское, словно ласковая колыбельная у постели новорождающегося времени:

Das Wahre war schon längst gefunden,
hat edle Leisterschaft verbunden,
das alte Wahre fass es an!

С 1829, стихотворение «Vermächtnis»[1]. Похоже на Блока даже ритмически, даже строфой,— вот почему я привожу это «Завещание» Гете в оригинале. А по смыслу — нет ничего более противоположного. Истинное было

---

[1] Подстрочный перевод: «Истинное было давным-давно найдено, оно связало благородные умы человечества между собой,— коснись этой древней правды!» Взято из стихотворения «Завещание», написанного Гете в 1829 году.

уже давно найдено, оно связало меж собой благородных духом, старое истинное, коснись его...

Если расшифровать гетевский лаконизм, то вместо черного, страшного хаоса, вместо распада бытия и разрыва времени, куда камнем канет крик человеческого отчаяния, вы вступаете на солнечную почву ясного мышления. Человек всегда, хотя и ступенчато, знал истину, она была найдена давным-давно, и на разных этапах своего развития он этой ступенью знания связывал себя с потомками, прошлое с будущим, создавая духовное содружество благородных умов человечества. А найти правду еще в глуби времен было неизбежно, ведь правда (Wahre) — все более верное отражение материальной сущности, материального объекта. Сколько понадобилось строк прозы, чтоб объяснить,— очень приблизительно,— три строки поэзии!

Атомный век или каменный, с прилетом на Луну или с бетховенской «Лунной сонатой», речь идет не об этом. Речь идет о духовном умонастроении, с каким вступает человек в новую эру, об атмосфере, в какой он живет и дышит; о нравственном его существе, о нацеленности воли его, о незримом мире души, как почва, питающем самую могучую из действующих во Вселенной энергию — творческую энергию человечества. Вот с какой точки зрения...

Но стоп! Я ушла от своего рассказа на целых шестьдесят восемь лет вперед. Дело в том, что ведь и я как раз — один из тех немногих уцелевших современников, кому посчастливилось встретить двадцатое столетие. И более того: встретить в огромнейшем коллективе взрослых. И еще больше: не только сидеть с ними за столом 31 декабря 1899 года, но и слушать (и слышать тогда!) жадно, в оба уха, о чем взрослые говорили, сжимая на коленях тетрадку в клеенчатом переплете, на первой странице которой стояло «Для записи впечатлений».

2

Мне было в ту пору двенадцать лет. Канун рождества прошел, елка в гостиной начала осыпаться, сладости с нее съедены,— и вдруг в любимый уходящий праздник ворвалась телеграмма: умирал дедушка, отец отца. Он умирал очень далеко, чуть не на краю света, в неведомом городке Григориополе, где был протоиереем армянской соборной

церкви. Отец собрался в одно мгновенье; и тут,— словно праздник вспыхнул с новой силой,— он нежданно-негаданно решил взять меня с собой. Сказочное путешествие: сперва чуть ли не три дня на машине (так мы говорили тогда о поезде); потом целый день езды на почтовы́х (ударение на последнем слоге), через странные деревни, населенные странными нерусскими людьми и странные по своим названиям: «Ташлык», «Малоешт»... Возьми с собой тетрадку, будешь писать дневник,— сказала мама.

Сборы, хоть и поспешные, были основательны: подушки и одеяла, погребец с дорожными приборами, бутылки с кипяченой водой, пузатый металлический чайник, пакеты с провизией, подарки для родни. А на вокзале целых три звонка — первый, второй, третий, чтоб щедро предупреждать о времени. Прощанье с младшей сестрой — и машина, издав победный, затяжной гудок, двинулась в таинственное путешествие. В вагоне было жарко натоплено, и так как лежанки второго класса не огорожены в купе, все пассажиры ходили, заглядывая друг ко другу. Окна замерзли — стоял лютый мороз, в белых звездах. И все вначале шло, как положено,— бегали за кипятком, пили чай, опять бегали за кипятком, пили чай. В багажном вагоне один из пассажиров вез собаку, и главной темой служило — не замерзнет ли. Такие хорошие стойкие морозы с певучим скрипом, с синим дыханьем, с колючими искрами снега в воздухе, с сугробами, огромными, как заборы, запомнились мне только в детстве. Но на вторую же ночь что-то случилось. Я проснулась от непрерывного стука шагов, каждую минуту закрывали и открывали дверь, влетал ледяной дух, колыхалась свеча в фонаре у проходящего по коридору; неизвестно, стоял или шел вагон. Слова говорились громко, без вниманья к спящим, и были какие-то странные: «Мягчает»... «Сыплет и сыплет»... «О прошлом годе в это же время»... «Да может, очистят»... «Все может статься».

Отца рядом не было, и спросить не у кого. Но вот он пришел, весь запорошенный снегом, с мокрыми бровями и бородой. Сказал: «Заносы. Ты спи». Я записала в свою тетрадку «заносы», но спать уже не могла. Утром выяснилось, что мы прочно стоим у станции Бирзула. И не только мы. Семнадцать поездных составов скопилось у маленькой станции Бирзула перед белыми, в человеческий

рост, сугробами снега. Несколько сот человек — чуть ли не населенье уездного городишки — очутилось на виду друг у друга, разных людей, закутанных по-зимнему, в меховых дохах, в форменных шинелях, в продувных шубенках, в поддевках, в валенках, сапогах, калошах, рукавицах и без рукавиц. Так по крайней мере мне казалось. В тетрадке стоит запись: «Бьют в ладоши, постукивают ногами, чтоб мороз не кусал». Таким было первое впечатленье от человеческих множеств. Я тоже, очень чинно и чувствуя себя самостоятельной, вышла погулять и увидела, как замертво стоят вагоны,— паровозы уткнулись в хвосты составов и тоже не дышат, не дымят, не гудят. Идти до снежных завалов совсем недалеко. Там работают люди: железнодорожники, солдаты, добровольцы-пассажиры. Но лопата кажется игрушкой, а снег — всамделишный, снег — как дом, как улица домов. И перед этими белыми вымерзлыми горами — такая крохотная, облезлая станция с надписью «Бирзула» над дверями, куда не всунуть и два-три десятка пассажиров. Вдобавок — пошел снег, не пошел, а повалил, и небо как будто вниз опустилось, серо-сизое, дымное, густое, не пробить. Те, кто гулял, полезли в вагоны. От людей, от дыханья их, как от печек, шел в воздух дымок, а вот из труб над станцией, над вагонами, дым пошел было, но вскоре рассеялся, и словно оцепенело все. В клеенчатой тетради стоит: «Железнодорожники между собой говорят,— неведомо сколько простоим, уголь надо беречь. Не так жарко в вагоне, как раньше, даже стало холодно, и мы закутались в платки и шарфы».

Отец мой, доктор медицины, зачем-то вынул свою врачебную сумку и ушел. Наверно — были больные. В нашем вагоне, кроме меня,— все взрослые и совсем мало женщин. Выясняется, что стоять придется долго, не менее двух суток,— а послезавтра Новый год! Нет, новый век! Дедушка и папина сестра, тетя Нина, ждут нас, наверное, завтра — встречать; напекла, наварила, намариновала тетя всякие вкусные армянские закуски, бараньи язычки копченые, бараньи язычки в уксусе, колбасу, плоскую, как ножик, под названьем — не выговорить — ерэшки́к — и что же теперь делать? А события продолжались.

Отца выбрали представителем от нашего поезда. Он стал совещаться с представителями других семнадцати

составов. А ко мне на койку подсел незнакомый человек: «По просьбе вашего папы за вами поухаживаю, мадмуазель, и поведу обедать,— он ведь теперь общественный деятель, занят ваш папа по горло». Незнакомый ухаживатель накормил меня на станции борщом и дал апельсин, а потом, в вагоне, подарил книжечку своего сочинения. На обложке стояло «Lolo Мундштейн. «Вечный праздник». Пьеса в трех действиях». Lolo — латинскими буквами. То было имя модного московского поэта-драматурга, и от него я впервые получила «авторский экземпляр с автографом». Несколько лет хранился он у меня, хотя салонно-сатирическая пьеса о похождении двух чужих жен с двумя чужими мужьями на курорте в Кисловодске — не очень мне понравилась. Но Лоло разговаривал со мной уважительно, как со взрослой, и кое-что из его рассказов я записала в свою клеенчатую тетрадь.

Несколько сот человек на крохотной станции, отрезанной от города и от соседних деревень. Ограниченный запас топлива. Неизвестность впереди. Очистка идет днем и ночью, но и снег валит днем и ночью. Хозяин единственного на станции буфета, возликовав в первые часы от выручки, впал в панику, стал прятать запасы. Пробка снежных заносов — по обе стороны пути. А надо согреть, накормить, удержать от безобразий и беспорядка все поездное население. И для этого — организовать их. И, наконец, чтоб взяться за организацию случайной массы людей — надо заработать у них авторитет, право на громкий голос, право распоряжаться.

— Ваш отец и несколько других человек это право, к счастью, заработали. У нас порядок, составились группы расчисток, группы учета угля, учета провизии. Дамы дежурят на кухне, молодежь подает в столовой, приструнили купчину-буфетчика, он плут, но понимает — иначе голод, вспыхнет эпидемия или разграбят без лишних слов его лавочку. Такова ситуация.

И слово «ситуация» старательно выведено в моей тетрадке.

3

Припоминая сейчас то, что было шестьдесят восемь лет назад, и даже не заглядывая в сохранившуюся у меня клеенчатую тетрадку, я удивляюсь свежести воспомина-

ния, необыкновенной его яркости. Все стоит, как сейчас, не только зримо, но ощутимо, как дыхание. Ранние, в четыре часа дня падающие сумерки. Снежные хлопья, почему-то, в тридцатиградусный мороз, пахнувшие весной, водой, живой рыбой. Нарезанные кем-то елочные ветки под ногами, взамен песка. Протоптанные короткие дорожки в убитом снегу. Красноватый свет керосиновой лампы в окошках станции. Тени людей, по очереди разбирающих лопаты. Водянистый запах борща и картофельной кожуры из станционного буфета. И это не сравнимое ни с чем чувство здоровой, крепкой, отличной зимы, в которой все слажено и стало на свое место. Мне казалось тогда, что каникулы кончились и началась новая, очень приятная и сразу полюбленная школа,— но не книжная, а какая-то другая, школа характера или характеров, потому что нас было много.

Наступил новогодний вечер, которого мы все ждали и каждый для него поработал. Лоло что-то репетировал у пианино, вынесенного из квартиры начальника станции. Дамы усердствовали у кухонной плиты, у костров на дворе, где потрескивали березовые поленца. Не для тепла: над кострами повесили котлы, и в них кипела еда. Мне досталось наполнить ложкой солонки темноватой, крупною солью и потом разместить эти солонки на равном расстоянии по длинным столам. Все делали всё для всех, всем было весело, никто не хотел спать. И я не хотела спать. Я хотела записывать. Мне передалось ожидание редкого события.

— Не каждому в жизни доводится встречать новый век,— говорили мне в нашем вагоне.— Ты запомни, как с ним встретилась,— на ходу, в снегу, на дороге.— И я запоминала, ни за что не хотела ложиться, хотела сидеть со всеми за праздничным столом и слушать, что будут люди говорить, а потом, когда старые станционные часы прохрипят двенадцать ударов, вместе со всеми поднять свой стакан и крикнуть: «За новый век!» И вот — в девять часов вечера — стали рассаживаться. Все, кто были в поездах. Без различия чина-звания, платочков и шляпок. Стол был в складчину, но собирали подписным листом на тех, кто не мог заплатить. Стол был дешевый, еды оставалось совсем мало. Выпивки уж не помню много ли. Мне и другим «несовершеннолетним» налили по стаканчику сладкого морса. Я не хочу выдумывать и честно

скажу, что не помню речей. Их было множество, говорил даже разгулявшийся купчина, станционный ресторатор. Были и тосты по тому времени предусмотрительные,— за царя и его «августейшее семейство». Но конец,— сильный конец, пришедший с особенным нажимом и как бы стряхнувший с ресниц сонливость,— врезался мне в память настолько, что я его помню сейчас и буду хранить в памяти до смерти. Говорил какой-то человек в погонах, высоким, почти бабьим голосом, повизгивая на концах фраз. Он желал нашему государству чести и славы, побед на суше и на морях, флагу русскому развеваться и престижу высоко стоять... а когда заканчивал фальцетом каждую фразу, словно вскидывая ее, как флаг, раздавались одобрительные хлопки в ладоши. Он кончил, утерся платком, осушил рюмку,— и тут встал невысокий человек с каштановой бородкой и добрыми впалыми глазами, о котором я уже знала, что он учитель и болен сердцем, потому что к нему ходил с врачебной сумкой мой отец в вагон третьего класса. Он говорил очень тихо и — я рада сейчас, что в те годы слух мой еще не упал.

— Как понимать престиж...— начал он свою речь.— Вот наша великая русская литература подняла престиж русского человека за границей. Чем? Идеалами, отсутствием зависти, умением понимать и любить все хорошее у других, как свое, широким чувством человека и человечности вообще. Благородством. Вот мы тут подняли престиж русского человека, хотя об этом никто в барабан бить не будет. У нас могла бы тут свалка получиться, худшие стороны показали бы люди,— требовали б, искали б для себя привилегий, начальство подкупали, отлынивали от работы — и черт-те что произошло бы на станции Бирзула, о чем потом стыдно было бы вспоминать... А сейчас у каждого на душе светло, встречаем новый век организованно, по-человечески. Значит — можно так жить. Желаю новому веку, чтоб пришел к нам в обличии человеческом и научил, как правильно жить!

В клеенчатой тетрадке у меня записано: «правильно жить!». Так встретила я новый, двадцатый век на станции Бирзула.

1968 г. декабрь

О НАУКЕ НАУК

Кардинальные вопросы шестидесятых годов нашего века — приближение науки к жизни, улучшение подготовки научных кадров, реорганизация и пересмотр уставов высших и средних школ, связь вузов со средней школой, а научной работы вузов с научной работой академий и еще многие другие вопросы — ставятся и решаются сейчас, как мне кажется, без учета одного из самых важных разделов знания. Недостаточное внимание к этому разделу, имеющему прямое касательство к проводнику и носителю знаний — человеку, может рано или поздно очень снизить качество всех прочих видов знания. Раздел, о котором я говорю,— это наука наук, считавшаяся в древнем мире, по существу, единственной «специальностью», за которой следовали все другие,—специальностью передачи мудрости, передачи опыта и знания от обладающего ими к не обладающим ими,— педагогика, научение истине, наставление знанию. Кажется странным, что эта высокая деятельность, которую считали основой для себя гиганты мысли от Сократа до Льва Толстого, деятельность, вызывавшая величайшее уважение во всех культурных странах, остается как будто в стороне, когда решаются судьбы развития наук. Учреждение, созданное для того, чтобы поднять интерес юношества к профессии педагога и улучшить подготовку наших учителей, а значит, и учащихся,— Академия педагогических наук,— даже не упоминалась, когда шел вопрос о реорганизации Академии наук. Во всяком случае, широкий читатель ничего об этом не слыхал.

Невнимание к проблемам педагогики объясняет отчасти некоторое отставание в области гуманитарных наук и отрыв этих наук от естествознания,— отрыв как раз по той прямой практической линии, которая служила в прошлом именно для их связи. Старая средняя школа (гимназия), которую много лет назад пришлось заканчивать мне, готовила и выпускала учащихся на право быть «домашними учителями»; так и стояло в аттестатах, вручавшихся нам после завершительного экзамена,— «окончила на домашнюю учительницу». Дополнительный класс, восьмой, имел в тогдашних гимназиях свою особую, очень определенную программу. Если в семи основных классах мы осваивали «предметы», то есть три-четыре языка, ис-

торию, географию, естествознание, арифметику, математику, физику, то в восьмом классе мы возвращались к тем же самым предметам, но совсем уже под другим углом зрения: мы изучали, как эти предметы преподавать другим, на уроках, носивших новые названия: *методика* русского, немецкого, французского языков; *методика* математики и физики; *методика* истории и географии; *методика* естествознания.

Методика, то есть изучение новейших методов наиболее успешной деятельности преподавателя, сама по себе — предмет гуманитарный не только потому, что она требует логики и психологии, но и потому, что она теснейшим образом связана с историей. Еще Тимирязев страстно пропагандировал исторический метод в биологии. Гете, чтобы обосновать свою теорию цвета, занимающую у него в книге несколько десятков страничек, подошел к ее изложению, рассказав всю историю науки о цвете с древнейших времен и до современных ему дней, и эта историко-методическая часть заняла у него в книге около тысячи страниц. Нужна ли читателю эта часть? Абсолютно. Помогая понять суть, положительную сторону открытий Гете в области цвета, она в то же время обнажает и ошибочную сторону его теории.

Исторический метод, мобилизуя память человечества на всем протяжении пути, по которому шла и развивалась его мысль в данной отрасли науки, облегчает понимание этой науки, открывает перед учеными перспективу ее дальнейшего развития, популяризирует науку для миллионов неученых. Любая точная наука, вырванная из исторического метода ее познания, вырванная из исторического фона и социальных координат, является голой абстракцией без начала, но уже с заданным концом, так как перспектива ее развития возникает в своем полном объеме лишь с широким пониманием и представлением ее исторического прошлого.

Но и более того, исторический метод в любой науке неизбежно должен связывать науку с практикой, с представлением о ее цели, о том, для чего она нужна. Возникновение любой, самой абстрактной науки — астрономии, математики — сугубо практично. Людям нужно было исчислять время, измерять предметы, делить и мерить землю и материальные продукты, и вот в этой изначальной точке своего зарождения в человеческом мозгу

сливались воедино практическая потребность с научным отвлечением, данное время с данной средой, координаты истории и социологии. Как бы ни возвысилось кверху впоследствии формально-абстрактное знание, какими пирамидами, порождающими словно из одних себя цепи своих законов, ни вырастало оно, в его пирамидальном основании, без которого не может держаться никакая вершина, лежит первоначальная слитность теории с практикой, для чего и как. А связью, пронизывающей пирамиду от ее широкого основания к узкой вершине, является метод преподавания данной науки, то есть предмет гуманитарного образования, результат логико-психологического, исторического, литературного (в широком смысле слова), книжного знания. Игнорирование методики предмета в заключительных классах средней школы, недостаточное внимание к педагогике как к науке не могут не вести к постепенному ущемлению не только гуманитарных областей науки, но и к недопониманию их принципиальной важности для воспитания научных кадров вообще.

Надо признать, что в этом игнорировании немало повинна и сама Педагогическая академия. Созданная, казалось бы, для того, чтобы поднимать и возбуждать интерес нашего народа к педагогике, к профессии учителя, от которой зависит умонастроение нашего юношества и степень подготовленности его к восприятию знаний в высшей школе; созданная для того, чтобы координировать достижения советской педагогики во всех педагогических институтах, хорошо знать то, что делается в них, изучать их практику, и, наконец, не в малой степени обязанная разрабатывать сокровищницу русской педагогической мысли, Педагогическая академия не показала нам до сих пор действенных образцов ни того, ни другого, ни третьего. Русские люди всегда отличались в своих наиболее передовых представителях педагогическим складом ума. Наследие, оставленное русскими дидактами, еще далеко не изучено и не реализовано в наших школах. А ведь учителя и воспитатели были у нас замечательные, и не существовало, пожалуй, ни одного гениального ученого, кто не умел бы и не любил бы преподавать, заниматься с молодежью, создавать свою школу,— взять хотя бы Лобачевского; или такого еще живого «на нашей памяти» обаятельного советского ученого, как покойный Влади-

мир Иванович Вернадский, или широкообразованного дидакта, как Сергей Иванович Вавилов, пришедшего в оптику сквозь распахнутые двери гуманитарных знаний, или, наконец, Тимирязева...

Вспоминаю, как в мои студенческие годы мы, курсистки, бегали из углового дома Мерзляковского переулка, где помещались Высшие женские курсы, в белокаменные хоромы Московского университета, чтоб послушать старика Ключевского. Как он говорил! И как мы слушали!

Весь яркий, красочный, живой мир удивительной русской старины с ее своеобразными особенностями вставал перед нами из его неспешной, негромкой речи, из самой структуры языка его, до того вкусного, образного, неожиданно нового в словечках и оборотах, что духу не хватало записывать его речь, духу не хватало прервать ее хоть на миг для карандаша и тетрадки. Мы не сидели в аудитории: она была доверху набита студентами,— а размещались внизу, на ступеньках кафедры, у самых его ног, и, подняв кверху лица, глядели в его доброе, морщинами стянутое лицо и выразительный рот — рот учителя, одаряющего знанием. Нельзя было не влюбиться в историю, не захотеть стать историком, слушая Ключевского. Но нельзя было и не захотеть стать педагогом, слушая такого лектора. А он был не одинок. Совсем по-другому преподавал Дмитрий Моисеевич Петрушевский: ничего красочного, никаких «вкусных» бытовых деталей и живописи. Но наслаждение от логики его последовательного, расчлененного от звена к звену, сухого и точного рассказа, под которым чувствовалось глубочайшее, до корней, знание своего предмета, было так велико, что ходили мы на его лекции, не пропуская ни единой. И мы запоминали сложнейшие формы средневекового землепользования и ленных отношений буквально на десятки лет; они оставались вырезанными в нашей памяти, как на розовой стенке раковины вырезывают неаполитанские мастера свои замечательные камеи.

Умение быть педагогом, повторяю, высоко свойственно русским людям, и притом не только ученым. Вспомним необыкновенный дидактический характер русской литературы с первых истоков ее, вспомним, как народ наш издавна именовал русских писателей «учителями жизни». Мне кажется, большим ущербом в работе нашей

Педагогической академии является неумение передавать вот эту обаятельность «науки наук» поколению советских учителей, зажечь их горячим энтузиазмом и раскрыть для них традиции великой русской педагогической мысли. Тогда, быть может, и с нею и с гуманитарными науками вообще считались бы у нас куда больше, нежели сейчас.

Но даже и тогда, когда в наших «периферийных» педагогических институтах происходит что-либо глубоко интересное для советской педагогики, Академия педагогических наук, хотя это является одной из ее обязанностей, не всегда, к сожалению, проявляет к этому достаточного интереса. Например, как раз в те дни, когда обсуждался вопрос о реорганизации Академии наук, 9 и 10 мая 1963 года, Педагогический институт имени И. Н. Ульянова в городе Ульяновске провел поистине замечательную межвузовскую конференцию, на которую съехались профессора и преподаватели из четырех городов: Казани, Горького, Пензы, Чебоксар. Было прочтено двадцать докладов, и работники четырех областных архивов поделились своими новыми находками и открытиями. Конференция посвящена была педагогическому наследию Ильи Николаевича Ульянова. И, несмотря на посланное приглашение, Педагогическая академия не прислала в Ульяновск ни единого представителя и, кажется, никак на нее серьезно не отозвалась. Между тем на этой конференции, где вообще открылось новое и неожиданное в педагогическом наследии И. Н. Ульянова, можно было проследить и некоторую очень важную для нас черту. Может быть, без всякого сознательного умысла со стороны выступавших невольно наметилась связь всего лучшего и передового в русской национальной педагогике с теми прекрасными советскими достижениями, которые внесены в нашу школу такими мыслителями-педагогами, как А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский.

Во главе старого ведомственного органа министерства народного просвещения России стоял в прошлом К. Д. Ушинский. В этом журнале под его руководством печатались многие замечательные работы, в том числе переводы из Яна Амоса Ко́менского, статьи С. И. Миропольского и самого Ушинского, где большое значение придавалось коллективному духу обучения и воспитания. Как мы знаем, именно коллективизм, воздействие ребят друг на друга при обучении и воспитании, принцип глу-

бокого взаимодействия между педагогами и учащимися легли в основу новаторских начинаний советской школы.

Поставить «науку наук» на принадлежащее ей высокое место в нашем советском обществе — значило бы решить многие трудные проблемы. Это значило бы привлечь к профессии педагога настоящие творческие силы, захватить нашу молодежь счастьем и радостью педагогического труда, заставить ее пройти ту лестницу знаний и приобрести тот багаж «мыслей и чувствований», когда потребность в передаче его, в обучении других станет естественной и вдохновенной.

1963

МОЛОДОСТЬ МИРА

Самым старым из всех поколений советских людей, кто в канун шестидесятого праздника Октября приближается к своему девяностолетию,— часто задают вопрос:

«Что вам дал Великий Октябрь?»

Много чего можно привести в ответ на этот вопрос. Дары Октября огромны. Они записаны в Советской Конституции. Враги пытаются отрицать и критиковать их. Но есть дар, который открыт любой паре глаз, читающих исторические книги. Да и каждому честному человеку, имеющему хоть малейшую способность к мышлению,— открыт этот дар:: **постоянное возвращение молодости к человечеству, переходящему из одной общественной системы в другую, более передовую.**

Посмотрите на угасание античного мира при постепенной победе христианства,— античному миру уже не хватало глотка кислорода для дыханья, перед ним медленно, как железные двери, закрывались створки ворот, ведущих к будущему. И один-единственный из владык, кто безнадежно цеплялся за уходящее прошлое, вошел в историю, как отступник: Юлиан Отступник.

Посмотрите, что творилось в конечной стадии феодализма, при первых начатках молодого, еще здорового капитализма, в ту его пору, когда он был еще исторически прогрессивен: хаос и смятение у последних феодалов, вымирающие формы хозяйства, загнивающие виды власти, чудовищные преступленья в недрах церкви...

Медленно-медленно закрываются перед капитализмом створки ворот в будущее. Хочешь не хочешь,— кровени руки в бойнях, изрыгай клевету и проклятья, пугай человечество, как малых детей, привидениями,— хозяин вчерашнего дня, Капитал, теряет свою заглавную букву, его «обращение» начинает выходить из строя, его «тайна прибыли», открытая Марксом в первом томе «Капитала», перерастает из цены простой эксплуатации труда — в цену человеческой крови.

Так называемые «права человека» из количества переходят в новое качество,— в бесправие индивидуума перед полным развитием самоуправства гангстеризма. Никакой грим мнимых прав не закроет беззащитности и бесправия человека, если общественная система, в которой он живет, не может гарантировать безопасности его жизни, когда он выходит из дому на улицу с наступлением темноты. И самое страшное в диалектике уходящего капитализма — это огромный рост числа людей, не могущих приложить к труду свои руки. Допустим, что им не дадут умереть, им будут наливать суп в котелки... Но жизнь впроголодь на даровщину, когда ты рожден для проявления себя, для труда,— мне кажется, рабочему человеку, да и вообще человеку — хуже смерти.

Молодость, возвращенная нам Октябрем,— это прежде всего начало исторического пути, огромность работ, бесконечное разнообразие задач, открывшихся перед нами, как длинный, видимый глазу, свободный путь в будущее. Этот творческий путь исключает безработицу. Каждый участвует в нем, вносит в него свежий вклад своей индивидуальности. С Великим Октябрем появился у нас тот могучий импульс к счастью, к самоуваженью, к самоутверждению, который называется «смыслом жизни». И мне хочется закончить сейчас эти несколько слов благодарности Октябрю страничкой из старой своей статьи о далеком, но не ушедшем, вечно живом для нас прошлом:

...Весной 1929 года на ленинградском заводе «Красный выборжец» раздался призыв к социалистическому соревнованию. И тот, кто всегда прислушивался к биению жизни, первый писатель Страны Советов — Алексей Максимович Горький — остро заинтересовался новым движеньем. В летний день,— 14 июля того же года,— его сутулая, знакомая каждому советскому человеку, высокая

фигура с абрисом лопаток на спине, под белой русской рубашкой, с широкополой соломенной шляпой на длинных волосах, появилась в Ленинграде. Алексей Максимович приехал посмотреть завод, начавший социалистическое соревнование. Он бродил по цехам, внимательно и долго наблюдал шламовое производство, организованное на заводе, говорил с рабочими и, уходя, оставил «Красному выборжцу» драгоценную запись:

> «Многое на «Красном Выборжце» удивило и обрадовало меня, а больше всего — шламовое производство. И не только потому, что из мусора, из грязи рабочие добывают серебро и золото. Разумеется, это удивительно, как творческий процесс разума, но я обрадовался скрытым смыслом процесса. Вот так из грязи и сора прошлого, из хаотического наследства буржуазии рабочий класс должен выделить и уже выделяет все то высоко ценное, действительно культурное, что создано веками труда и войдет в новую культуру, которую строит рабочий класс.
>
> *М. Горький»*

Не знаю, вошла ли эта священная реликвия «Красного выборжца» в Собрание сочинений Горького. Но я навсегда запомнила удивительные три слова в ней, полные глубокой мудрости: **творческий процесс разума.** Да, с ним, с творческим процессом партийного разума и свободного народного труда,— протекли шестьдесят лет Великого Октября. И счастлив тот, кто участвовал в этом процессе от его первого дня до сегодня,— с именем Ленина в сердце, с непоколебимой верой в будущее и с оставшейся молодою силой постоять за него!

1977

ШАХМАТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Я не шахматный игрок, хотя очень люблю шахматы. Не игрок, потому что игра моя неустойчива, зависит не от способности к ней, не от большого знания игры, которых у меня нет,— а от «вдохновения». Иной раз — сыграю хорошо с первоклассным шахматистом; а в другой раз школьник семи-восьми лет даст мне мат. И по-

долгу не играю вовсе, а бывает — месяцами сама с собой могу играть запоем. Но не в игре дело.

Шахматы одаряют меня большими проблемами, неожиданными психологическими аналогиями в моей собственной работе — писательской. С огромным интересом читала биографии крупных шахматистов, проигрывала для себя их партии, воспринимала «стиль» каждого шахматиста, как его «почерк»,— и это восприятие «почерка» его игры создавало у меня психологический портрет человека. Совсем как играя крупных композиторов, я с детства узнавала их по особенностям композиционного «почерка» (Баха, Шопена, Чайковского, Моцарта и т. д.) — и не только слышала, но как бы видела их.

Училась я шахматной игре по старой, замечательной книжке-учебнику француза Бастеро́. Жаль, что она не переведена на русский язык. Начинается первый урок с рассказа: партия барона и мужика, скучающий помещик посадил с собой за шахматную доску зашедшего по делу крестьянина. Снисходительно начал... и через несколько ходов — оглянуться не успел — «le vilain» (так в старину знатные помещики звали своих крестьян) дал ему блестящий мат. Социологический оттенок таких уроков-партий у Бастеро очень поучителен,— он вводит в понимание шахматной игры момент социальной, классовой характеристики. Ни в каком другом учебнике я этого не находила. Может быть, Бастеро помог мне видеть в шахматах не только абстрактную глубину композиционных замыслов, а нечто большее, некую философию жизни. И в моих книгах есть немало аналогий с этой игрой.

Огромным событием в моей жизни было знакомство с книгой Г. Мароци «Шахматные партии Пауля Морфи». Я их все переиграла, и не один раз. Партию с герцогом Брауншвейгским, сыгранную во время «Севильского цирюльника» в Париже в Grand-Operà в октябре 1859 года (№ 157 по книге Мароци), я до сих пор знаю наизусть и считаю ее морально-философским уроком. Как,— все отдавая,— победить или, «все потеряв, приобрести самого себя». Часто приводила ее в своих лекциях об искусстве. Мне давно хотелось рассказать профессиональным шахматистам о роли шахмат в моей жизни, поскольку вопросы об этом ставились мне много раз. Пользуюсь случаем и делаю это сейчас, когда мне пошел 91-й год.

1978

ИСКУССТВО УБЕЖДАТЬ

Много лет назад — уж не помню когда — в новой, социалистической Чехословакии я поинтересовалась, будучи в Праге, как работает один из старейших в мире университетов, Пражский. Мне ответили, к величайшему моему удивлению, что приток студентов уменьшился. Удивление мое, величайшее, относилось к тому, что об этом факте информатор, служащий министерства, развернувший листы статистических данных, ответил с явным удовольствием.

— Уменьшился? Как? Почему? — вырвалось у меня.

— На столько-то и столько, — взглянув на цифры, продолжал мой собеседник. И, увидев мое изумление, улыбнулся и пояснил: — Видите ли, у нас большая нехватка в тех кадрах, которые, по существу, создают культурную жизнь страны, — в работниках так называемого «профессионального труда». Вы каждый день встаете, кушаете, читаете газету, вы побриты или подстрижены, одеваетесь, едете на службу, вам сделал нужную подборку для работы ваш секретарь, отпечатала ее машинистка, лампочка на столе, вечером перегоревшая, заменена новой, телефон правильно и быстро соединяется, лифт, возносящий посетителей, в порядке. Обеденный перерыв — не нужно мчаться домой, столовая в вашем тресте, министерстве, учреждении — прекрасная, дешевая и сытная — и т. д. и т. д. Кто обеспечивает вам обстановку для культурной работы? Ведь культурная работа всегда воздвигается на работе предыдущих ее стадий, и надо, чтобы эта предыдущая, предшествующая вашей работа была сделана хорошо, целесообразно, со вкусом и без ошибок. Чья, — ну, это ясно с первого взгляда, — часовщика, указывающего время, когда вставать, водопроводчика, правильно подающего воду по трубам, того, кто проверяет и чинит эти трубы, парикмахера, повара или кухарки, тех, кто обрабатывает съестные продукты; портного, шьющего одежду, механика, шофера, держащих в порядке транспорт; машинистки, секретаря и огромного числа всех предыдущих.

Я люблю читать и перечитывать пятую главу третьего отдела первого тома «Капитала» Маркса. Помните слова: «Что же касается собственно средств труда, то даже для самого поверхностного взгляда громадное боль-

шинство их обнаруживает следы прошлого труда»?[1]

...Ох, виновата, читатель! Это я сама наговорила. Это я люблю перечитывать пятую главу третьего отдела первого тома «Капитала» Маркса — о процессе труда. Главу, которую надо бы положить перед каждым нашим работником культуры и просвещения. А в Праге сказали мне только одну, очень важную фразу — о недостаче трудовых профессиональных резервов и о создании большой сети средних профессиональных училищ (по-нашему ПТУ), до некоторой степени справившихся с этой недостачей. Но для того чтобы в эти, вновь создаваемые школы молодежь потянулась сама, устремилась в них добровольно, мало было создания их и печатания внушительных декретов. Молодежь — она особый народ. Дайте ей романтику, дайте ей завлекательную профессию. У молодежи мозги чешутся на поиск пристрастия, поиск увлечения; руки чешутся на приятный, любимый труд. Молодежь — она с детства строит из песочка, еще когда на корточках сидит,— замки, башни и пироги, мальчики бегут в неизведанные края, девочки лечат и бинтуют кукол, все виды действий, все виды труда, если есть в них элемент для увлеченности, знакомы им с самых наидетских лет. Где-то, на движении возраста вверх, как растения к солнцу, надо перехватить эту врожденную человеческой природе тягу к увлеченности — направить ее в нужную сторону, в необходимое для общества, для народа, для культуры всей страны увлечение полезным профессиональным, рабочим трудом. И для этого нужно много, много потрудиться в той высокоинтеллигентной области, какая называется *искусством убеждать*.

Служащий в министерстве Чехословакии мог с гордостью сказать, что юношество уменьшило свою тягу в университет, в «высшее образование», потому что его заинтересовало учение в профессиональных школах. Я не знаю, каким способом Чехословакии удалось тогда создать эту заинтересованность. Началось ли с собирания энтузиастов-преподавателей для обучения ребят в этих школах? С поощрения новых методов преподавания у педагогов-новаторов? С улучшения обстановки и условий работы в школах, с введения в них элементов романтики?

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М., 1960. Том 23. «Капитал». Том 1. Отдел третий. Глава пятая. Процесс труда. С. 192.

Новый подход к делу не привел ли к созданию новой «общеинтеллигентской атмосферы» для тех, кто трудится на заводах и в учреждениях,— атмосферы общего языка, общего словаря, общей внешности, той необходимой общей атмосферы на работе и дома, в которой угасает разница между людьми физического и умственного труда? Не знаю.

Я побывала в Чехословакии свыше двадцати раз. Получила даже за это в Карловых Варах значок из чистого золота. И вот спустя несколько лет после описанного выше разговора в министерстве народного просвещения, я узнаю от моего большого друга, дирижера, человека старой культуры, что он поместил своего сына в профшколу официантов. Заметив мое удивление, он тут же возразил: «Но это — первая ступень к директору ресторана, как у медсестры — к главному врачу. Это очень нужная для страны и очень интересная профессия — знание языков, хороших манер, дипломатии, политики, норм нашей этики, школа порядочности, честности. Наконец, да и развитого ума, наблюдательности...» Честность, порядочность, что это? Исключительные качества одного какого-нибудь труда — или физического, или умственного? Не лежат ли они в преддверии каждого труда? И еще одно встало за его словами. Оно напомнило мне случай из старинной педагогической практики.

В старую дореволюционную пору в одном провинциальном городе, где принято было в так называемой интеллигентной семье обучать детей музыке и языкам, вдруг распространилось известие о необыкновенном учителе игры на рояле. Очень страдали мамаши многих семей от нежелания их чад учиться играть на рояле! Дети упрямо ерзали на табуретке, попадали пальцем не на ту клавишу, какая требовалась, а если попадали, то с таким боем, что учителя и родители уши затыкали. И вдруг появился волшебник. Старичок. Еще с молодых лет он сохранил привычку опрыскивать себя одеколоном. Перед тем как садился, поднимал кончиками пальцев брюки на сухих коленках. Видимо, был когда-то вхож в высшие сферы. И представьте — брал дешево! Мало того что дешево брал, а через десять — двенадцать дней приглашал родителей на концерт: послушать, как собственное их чадо, чинно и правильно оседлав табуретку, чинно и правильно и вполне приятно играет на рояле польку-мазур-

ку! Скоро некогда было дышать старичку. Уроки на сутки: утром — уроки с чаем, днем — уроки с обедом, вечером — с ужинами. Старикан на глазах растолстел, а провинциальный городок исходил из открытых форточек или окон приятной музыкой.

Секрет этой педагогики был очень прост, я сама его исследовала и узнала: «Интересное начало». Минуя скучнейшие учебники пианизма, начинающие, как принято во всех букварях мира,— с **а**, **б**, **ц** — и т. д., то есть с зазубривания нот и бесконечного повторения гамм,— умный светский старичок начинал сразу с конца. Он знал, что готовит не гениев и не эстрадных пианистов, а детишек, чтобы умели, по Пушкину,— «в конце письма поставить vale» или «запищать» под гитару «приди в чертог ко мне златой»,— словом, проявиться своим искусством «в обществе». Он прежде всего *сам* садился на табуретку и весело играл знакомый чаду кусочек вальса, песенки, галопа из модной оперетты, а то и просто «Чижика», который «на Фонтанке водку пил». Чаду это явно приходилось по душе. А потом следовало: «Хочешь сам это сыграть?» И вместо гамм, еще не зная, где до, ре, ми, малыш с удовольствием набирал пальчиками музыку. Дальше — больше.

Разумеется, это «легкотворение» не может стать принципом обучения ни в одном настоящем предмете. Обучение, как правило, начинается фундаментально, то есть с начала. Но в приведенном мной примере есть очень здравое, очень педагогическое зерно. Обучение всякой науке, всякому ремеслу, всякой форме труда должно *начинаться интересно,* так, чтобы начало (первые же уроки) сразу захватило, увлекло ученика, заставило желать продолжения. И, как правило, для многих и многих предметов обучения опытный педагог покажет вам в самом первом уроке хотя бы отблеск, практическое видение конца, то есть видение того целого, к которому приведет длинный путь предстоящей учебы. У Маркса в той же пятой главе есть замечательные строки о том, как зависит хорошая сегодняшняя работа от хорошей работы, заложенной в «следах прошлого труда»,— и, наоборот, как плохая сегодняшняя несет в себе следы *плохой* предыдущей. Педагогу нужно понять, усвоить, суметь применить на деле эту сконцентрированную мудрость Маркса!

Начало обучения должно быть интересно. И это качественное слово *«интересность»* не должно забываться и до конца школы. Вся обстановка может быть создаваема (архитектурно, технически, технологически) так, чтобы содержать в себе хоть на грамм чего-то, что способно захватить, заинтересовать ученика. Вот мне рассказали недавно, что под Москвой добровольцы (у нас есть добровольные общества, например, книголюбов) как-то само собой, чуть ли не из замысла отдельных лиц, педагогов, создали «любительское общество» сперва — собирания книг и общей библиотеки, потом, в связи с ней, общего чтения хороших книг, самообразования, образования, подобия школы... Я боюсь переврать, потому что не очень разобралась в этом полезном замысле. Но все, что ведет к нужному нам знанию трудовых процессов, если оно интересно и привлекает ребят, хочется поощрить, понаблюдать, заимствовать то, что есть в этом хорошего и полезного.

Я написала выше о заинтересованности для ребят в самом внешнем, архитектурном облике школ. Это, разумеется, для данного момента утопия. Но опять вспоминаю о Чехословакии. Я изъездила ее вдоль и поперек, а кое-где исходила пешком. И обратила внимание на одно необыкновенное обстоятельство. Для личного жилья в далекие феодальные времена, где владыки светские и духовные (князья, архиепископы) строили себе свои замки, они выбирали для них непременно самые живописные места. Кто знает пленительные замки во Франции, в Шотландии, сразу вспомнит их воздушные очертания на *фоне* и *вместе* с окружающей природой: серебром реки, гладью озера, чернотой лесистых холмов, улыбкой горных вершин, сумраком извилистых ущелий. А изучая красивую страну Чехословакию, я увидела живописнейшие места на ее природе, занятые... заводами. Не вокруг перенаселенных городов, где дышать (как в Токио!) трудно и почти отравно, а там, где производству нужные сырье, рудники, вода, топливо, удобные шоссейные и подъездные дороги, вдруг видишь — замок. А это не замок. Это завод. С высокой трубой, упершейся чуть ли не в облака, с прекрасным разрезом ущелья, где мчится река — полноводная, чистая, быстрая; красивые круглые башни-газгольдеры; гофры зданий — для продукта, для склада,— не хочу упоминать их технические названия.

Все живописно. Жить и работать здесь, должно быть, приятно. И главное — строятся они, как я заметила, без уничтожения природы вокруг, без снятия леса, а с сохранением всего густого изумруда лесов, с сохранением очистителей дыхания для человека и красоты для его глаз.

Но машинные залы для многих заводских профессий — ведь это превосходный материал для будущих архитекторов, скульпторов, создателей интерьеров. Воображение бежит вперед, в эпохи для наших «научных фантастов». Дворцовые, замковые ансамбли на природе для феодалов в средние века — стали заводами, могучими и красивыми производствами,— для страны социализма. Пусть это звучит сказкой, но сказки постепенно, с неуклонным, безостановочным течением времени становятся явью. Рабочий-текстильщик конца прошлого века, неграмотный крестьянин из глухой и голодной Смоленщины забивали в поисках куска хлеба старые питерские фабрики Паля, Семенникова, Торнтона по Шлиссельбургскому тракту, и, работая над бюджетом текстильщика еще в середине двадцатых годов нашего века, я видела их общежития, где койки в два этажа шли вдоль грязного помещения, где перегородками для семей служили отжившие свой век рваные простыни, где... Я вспоминала все это еще в позапрошлом, 1976 году, когда снова поехала посмотреть своих старых друзей, текстильщиков, на тех же фабриках, только получивших советские славные имена. Но прежде чем поехать туда, я встретилась с архитекторомэнтузиастом. Он развернул передо мной последний выпуск журнала, посвященного архитектурной перестройке ленинградских окраин.

Был тут знакомый мне еще с 1910 года знаменитый Шлиссельбургский тракт. Но я не узнала его, не поверила в него, даже ахнула — такие увидела зеленые парки и дворцы. Сказка! «Часть уже сделана, кое-что увидите в постройке, в частности вашу знакомую фабрику Паля, сейчас Ногина».

И мы поехали на Шлиссельбургский тракт. Когда-то я пробивалась на него конкой, везомой клячами, ехала долго, и было грязно, пасмурно, хлюпали деревянные подмостки по оттаявшей Неве на подступах к фабрике Торнтона. Позднее ехала на дергавшемся по колеям трамвайчике. Сейчас мы летели в машине по централь-

ной нарядной магистрали... Когда же Шлиссельбургский? А мы по нему и ехали, и мы его проехали, а там, где старые фабрики — вздымались краны, росли стены; разбитые (не от слова «бить», а от слова сажать, разбивать, рассаживать) парки зеленели вдоль широких улиц. И мои милые текстильщицы... Я не узнала их, как не узнала своего старого тракта! Меня обступили здоровые, веселые, хорошо одетые женщины, отлично работавшие на своих новых станках («Смотрите, какая грация»,— сказал мне на ходу начальник цеха...). А когда пошли у нас разговоры — сперва в конторе; когда рассказали мне о процентах выработки, о росте качества, о росте зарплаты, обо всем, что делается рабочими руками и что эти руки получают в ответ; когда эти разговоры я проверила у крупного специалиста-экономиста по ленинградскому текстилю,— я услышала: «Эти золотые руки — наша ленинградская гордость». И не поверить нельзя было, за работу ленинградских текстильщиц, за их грамотность, их умение, их интеллигентный облик ручаюсь своим писательским опытом: видела собственными глазами. И видела — в том, во что превращается и превратится бывший Шлиссельбургский тракт,— элементы той «сказки», какая сбывается.

В нашей «книге социалистического бытия» есть и очень трудные, и очень светлые страницы.

Всегда есть примеры, на которых нужно остановиться пропагандисту, одушевить, научить, подбодрить слушателей. И для этого пропагандисту-лектору надо не сыпать суконных фраз, а знать живые факты нашей огромной, необъятной Родины. Надо быть в курсе и наших промахов, и прекрасных наших успехов, и побед, и поражений — использовать всю многоцветную гамму совершающегося в нашем мире, чтобы принести пользу делу, радость и вдохновение труженику, урок тунеядцу... Надо глубоко понять, что искусство убеждения хорошим примером *нужно;* что умное вскрытие недостатка дает время и возможность его исправить; и что *искусству* убеждать и воздействовать надо учиться, учиться и учиться.

1978

ВАЖНАЯ ДАТА ИСТОРИИ

К 150-летию вхождения Армении в состав России

. . . .
Он говорил о временах
грядущих
Когда народы, распри
позабыв,
В великую семью
соединятся.
А. Пушкин

Юбилеи, как правило, посвящены прошлому. Но есть светлые страницы в истории человечества, где прошлое озарено будущим, как бы далекой заревой вспышкой... В этих заревых вспышках, невольно заставляющих задуматься о «временах грядущих», предстает перед нами большой юбилей — полтораста лет со дня присоединения Восточной Армении к России.

Полтораста лет... Чуть ли не столько же лет так называемому «армянскому вопросу», когда маленькая страна, задыхавшаяся в узких тисках восточных деспотий, чуждая этим деспотиям по культуре, по религии, по традициям, по быту, ранимая во всем, что касалось ее духовного, да и физического бытия, нуждалась в спасении от гибели. Судьба этой маленькой страны, Армении, занимала умы западноевропейских политиков, начиная с Гладстона. Но сама Восточная Армения и ее народ, его лучшие прогрессивные деятели — тяготели к России...

Я не стану здесь углубляться в политическую предысторию нашего юбилея. За время Советской власти Армянская Академия наук проделала огромную работу по изучению этого прошлого. Исследования и публикации, произведенные ее учеными,— большой вклад не только в одну армянскую науку. Укажу прежде всего на два огромных тома — in folio — по нескольку сот страниц каждый, где собраны редкие документы из многих архивов, относящиеся в основном к русской части этой «предыстории»,— на русском и армянском языках, с предисловием, примечаниями и необходимой научной аппаратурой. Первый том доведен до Гюлистанского, второй до

Туркманчайского договоров. В содержательном предисловии академика Цатура Агаяна (под руководством которого главным образом и осуществлялось это издание) и В. А. Диляна читатель найдет краткий обзор истории этих документов[1].

Я пишу только о тех армянских источниках, с которыми знакома сама,— но, разумеется, ими далеко не исчерпываются армянские исторические работы, посвященные армяно-русским взаимоотношениям.

Нельзя сказать, чтобы на Западе не существовало научного, да и литературного интереса к армянскому народу. Я уже упоминала о западном аспекте «армянского вопроса». Английские, французские, немецкие ученые посещали Восточную Армению, описывали ее географически, углублялись в ее рукописи, собирали и записывали ее фольклор (Линч, Гакстгаузен). Запад делал попытки отразить в своей литературе тип и характер армянина — немцы в замечательном рассказе Шиллера «Духовидец» (Geisterseher), где выводится (вероятно, под впечатлением встречи с венским монахом-мхитаристом[2]) тип не то мистика, не то мага-армянина; французы — в одном из салонных экзотических романов Клода Фаррера — в образе светской высокообразованной армянки, знающей много языков, а в молодости выросшей чуть ли не в пастушьей «землянке» и совершенно неграмотной; англичане — у англичан сам Байрон, «влюбясь» в армянский монастырь на острове Сен-Лаззаро в Венеции, ездил к своим друзьям-монахам из Венеции на их остров — чуть ли не ежедневно, изучал у них армянский язык, создавал его учебник для Англии, работал у них и с ними, плененный духовным миром и древней культурой своих учителей... Следы его пребывания и работы на Сен-Лаззаро остались на острове, свято чтутся монахами и до сих пор — еще десять лет назад я сама побывала у них, видела «комнату Байрона», вещественные реликвии его работы, слушала традиционные рассказы о великом английском поэте...

---

[1] «Присоединение Восточной Армении к России». Сборник документов. Том 1 (1801—1813). Под редакцией академика Армянской Академии наук Ц. П. Агаяна. Издание АН Армянской ССР. Ереван. 1972.

[2] Мхитаристы — конгрегация католических армян, имеющих свои монастыри в Вене и в Венеции.

Но как мало, кроме работ Байрона,— живой, типической реальности в тогдашних этих попытках! В науке исследуется древняя Армения, отзвуки этой седой древности — старинный армянский язык «грабар», миниатюры средневековых мастеров, рукописи. В художественных образах больше фантазии, чем историзма. И нет живого ощущения армянской действительности. Невольно вспоминается рассказ Пушкина в «Путешествии в Арзрум»,— как, приехав в Карс, он промок на улице, в темноте, под дождем, покуда его «оформляли»; как проходивший мимо армянин пригласил его к себе; как он вошел в комнату, увешанную коврами (так и видишь эту типично армянскую комнату в городе Карсе!), и пожилая армянка, подойдя к нему, поцеловала гостю руку; как она приготовила ему баранину — «верх поваренного искусства!», а утром он ехал в армию Паскевича, захватив с собой армянского юношу из этой семьи. И как этот юноша, Артемий по имени, летел с ним рядом на своем скакуне, должно быть поворотясь к нему набок в седле, чтоб с восторгом твердить ему о битвах и сражениях...

Во всех соприкосновениях западного искусства и науки с армянами нет ничего равного этим страницам по точности, реальности и широте охвата и людей, и обстановки, и жизненного содержания. Точно это сейчас произошло, и можно найти в Карсе и эту комнату, увешанную коврами, почувствовать вкусный запах жареной баранины, услышать восторженного юнца. А на Западе, в искусстве и науке, подход к изображению армян, исследованию их культуры, на мой взгляд, имеет одну особенность,— подход к своей задаче как к материалу уже бывшей, уже как бы законченной, остановившейся цивилизации. Мне кажется (это, конечно, оспоримо), что у армянского народа, древнейшего народа христианской цивилизации (с IV века, когда Армения — первая — приняла христианство как свою государственную религию), не было того исторического разрыва в развитии и становлении национального типа и характера, какой произошел, например, в Древней Греции и в Древнем Египте. Мне кажется, мало общего между античным греком Гомеровой эпохи и современным греком. Или — между классическим египтянином эпохи фараонов и современным арабом. Тип армянина эпохи его древнего эпоса, золотого пятого века его письменности, драго-

ценных отрывков дохристианского времени у Мовсеса Хоренаци (Моисея Хоренского), отца армянской историографии,— по духовному стержню его характерных особенностей, по силе энергии, заложенной в его действиях, по проявлениям его духовной и физической сущности в быту, в творчестве, в тенденциях — как будто не изменился, как будто продолжает историческое свое развитие без разрыва, без существенных различий с предшествовавшим народным типажом. И это — несмотря на колоссальные исторические потрясения и катаклизмы, несмотря на непрекращающуюся смену разнородных влияний Ассирии, Рима, Греции, Византии, Персии, Турции... Армянский тип как бы зримо, пластически-себеподобно, продолжает развиваться на едином историческом корню, не пережив резкого разрыва в этом физико-духовном развитии.

Я привожу эту мысль, кажущуюся мне очень реальной, потому что в свете ее понятней становится и процесс исторического тяготения Армении к великому русскому соседу. Когда русские войска сражались полтораста лет назад с персидскими — на территории угнетенной, подвластной персам Армении,— в их рядах бились армянские отряды. Когда русские входили в персидские города, армянские жители бросались навстречу их коням, с благословениями, со слезами счастья, как к избавителям.

То было не только избавление от физической гибели. Из душного мира чуждой и чужой культуры, мешавшей историческому росту армянского народа и его движенью вперед, он прорывался к схожему, близкому духовному миру, к его огромной масштабности, широким необъятным горизонтам большого исторического пути в будущее. К росту, развитию своей культуры, своего национального типа, сохранившего много веков эту потенциальную потребность культурного развития.

Армянские передовые деятели присоединялись ко всему тому, что в самой России было прогрессивным и революционным. Без этих полутораста лет присоединения не было бы у армян Налбандяна, соратника Чернышевского; не было бы Спандаряна, соратника Ленина; и что самое главное — не было бы совместного пути к Октябрю.

Октябрьская революция дала армянам собственную государственность и на ее почве — небывалый расцвет

экономики и культуры. Армянские деятели расширили горизонты своего социального мышления. Писатели обрели небывалой широты тематику для своего творчества.

Так, благодаря присоединению, приведшему народ к Октябрю, он получил выход на широкую арену истории человечества — в социализм.

Но и армяне — потомки древней христианской цивилизации — пришли к моменту соединения с Россией тоже не с пустыми руками. Даю тут слово крупнейшему выразителю русского национального духа, поборнику русского искусства и всего передового в нем, классику русской критики — Владимиру Васильевичу Стасову. В 1886 году он выступил в «Журнале Министерства народного просвещения» — в те годы одном из культурнейших и передовых изданий. В нем печаталась «Дидактика» Яна Амоса Коменского, им руководил К. Д. Ушинский, его из месяца в месяц читал Илья Николаевич Ульянов... И в этом авторитетном журнале веско прозвучало слово знаменитого Стасова. Он писал:

«...армянское и грузинское искусство имело в известную эпоху сильное влияние на русское искусство, в пору его формирования, и в настоящее время невозможно, изучая первые эпохи русского искусства, по части ли архитектуры или художественной орнаментики, а отчасти и живописи, оставлять в стороне искусство армянское и грузинское. Помнить при этом только одно искусство византийское, в нем одном находить первоначальные источники нашего национального искусства, видеть в нем одном все прототипы наших художественных форм — большое заблуждение. Во многих случаях, быть может — всего более в русской архитектуре, первоначальные влияния были не одни только специально-византийские, но также и армяно-византийские, и грузино-византийские»[1].

Еще в далеком прошлом Закавказье было связано с Русью. Оно было передатчиком молодой России художественных элементов византийского искусства. Но не только чисто византийских. Стасов подчеркивает, что армянское и грузинское искусства передавали русскому искусству свои собственные национально-художественные черты освоения византийских форм.

Древние культуры обретают жизнь и развитие в новой

[1] «Журнал Министерства народного просвещения», 1886, № 7, с. 140.

социальной структуре общества. Тут мы встречаемся с фактом внутреннего взаимодействия между народами, вступающими на путь присоединения друг к другу.

Присоединение — драгоценное русское слово в словаре человечества, совершенно чуждое таким словам нерусского корня, как «аннексия» и «агрессия». Оно невольно приводит в память пушкинскую мысль о «временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Будем верить, что во «времена грядущие» в мирном мире социализма пророческие слова Пушкина действительно сбудутся.

1978

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

У меня нет полного понимания того, что происходит сейчас в Бейруте. Пишу эти строки с трудом, в больнице, потеряв зрение. Но внутренним своим зрением вижу родных мне по крови стариков, детей, старых, как я, женщин армянского народа, убиваемых на пороге своих разрушенных жилищ. И не только армян и армянок вижу в них,— но тружеников своего народа, потому что в прах разнести легко только жилье простого человека, тех, кто беззащитно и безоружно лепится к своему очагу, кто не может спастись, кому некуда и не на что убежать и кто мысленно — с нами, с государством трудящихся, как и всякий настоящий труженик на земле.

Сердце мое содрогается от боли за тебя, армянский труженик, брат мой на чужбине. Убийц твоих мы почему-то называем «консерваторами», хотя в старое недоброе время их именовали «погромщиками» и «черною сотней», а позже — фашистами. И тогда, и сейчас они служили и служат самой черной и подлой политике в мире. Но совесть человечества, все человечное, что осталось в людях,— осуждает эту политику, умножает нравственные силы в тех, кто борется против нее,— и я верю,— голосом этой совести можно будет победить мерзкое фашистское изуверство на земле.

21 ноября 1978 г.

ПРАВО НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Заметки публициста

Для того чтобы почувствовать острую необходимость сделать свое добавление к определенной статье проекта, нужно, мне кажется, очень внимательно, с карандашом, и не один раз, перечитать и освоить все содержание проекта — все 9 разделов, 21 главу и 173 статьи в их последовательности. Только тогда, в меру своего личного опыта, скопившегося за пережитые годы, я смогла нащупать положение проекта, которое, мне кажется, очень важно дополнить.

Но прежде хочу упомянуть о самом глубоком, самом важном, самом существенном, что захватило меня во введении к проекту. Вот эти два места — вынимаю их из текста, с которым они связаны, потому что так они ярче, неожиданней и наглядней раскрывают свой замечательный смысл. Одно — в пятом абзаце введения, другое — в седьмом: 1. «...социализм развивается уже на своей собственной основе...»

2. «...возникла новая историческая общность людей — советский народ».

Это не только итоговый вывод шестидесяти лет строительства социализма. Это и точные формулы, которые можно было бы внести в 26-й том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, если б Маркс смог написать свой четвертый том «Капитала» с прогнозом социалистической действительности. Мы получили в этих двух коротеньких формулах настоящий теоретический вклад в марксизм-ленинизм.

Все, что объективно и реально, имеет огромную и решающую силу в истории. Корни социализма, заложенные первыми декретами Ленина, прижились, вросли в землю, в ту действительность, которой мы живем шестьдесят лет. И что бы ни происходило в так называемой «текущей действительности», какими бомбами ни пытался бы мировой империализм уберечься от неизбежного будущего,— спастись от исторической реальности, от того, что уже растет на собственной основе, что дает зеленые побеги от корневищ, укрепившихся в почве истории,— ему невозможно. Семь слов этой коротенькой формулы из пятого абзаца введения зажглись передо мной ярчайшим светом оптимизма.

И вторая формула, казалось бы такая знакомая, из таких простых, понятных всем слов: «возникла новая историческая общность людей — советский народ». Что в ней исключительного, неожиданного? Исключительно и неожиданно в этой формуле все. Потому что она не абстрактна, не терминологична, она — в этой своей связи — сугубо качественна. В слове «советский» нет ни этнического, ни расового, ни географического, ни классового содержания, ничего схожего с названиями национальностей, жителей определенной страны, принадлежности к классу, к форме занятий и тому подобным определениям. Но за шестьдесят лет на земле, в деятельности наших народов, в огромном нашем Союзе, в его печати, отражающей эту деятельность, в его искусстве, образно воссоздающем эту деятельность, слово «советский» раскрыло заключенный в нем качественный смысл. В первую очередь его качественность исходит из самого слова «совет». «Советский» — значит коллективный, коллегиальный, интернациональный, объединенный экономической, идейной, нравственной, мировоззренческой общностью. Вместо этнического (по происхождению) — этическое (по поведению) новое качество. Мы говорим: он — настоящий советский человек, и это не простое название, это — нравственная оценка. Мы говорим: это — не по-советски, и это значит не просто отрицание, но отрицание, содержащее критику поведения, нравственных устоев. Вот какую новую историческую общность породил социализм на нашей земле за истекшие шестьдесят лет.

Я останавливаюсь так долго на этом своем впечатлении от двух фраз введения, потому что, к сожалению, их не все у нас сразу поняли. В «Комсомольской правде», например, второго июля было напечатано очень содержательное выступление профессора М. Джунусова, коснувшееся как раз одной из упомянутых формул. Но именно в этом выступлении предлагается дополнение, уводящее внимание читателя в сторону, в область аргументации (когда, с чего началось, что именно обусловило возникновение «исторической общности — советский народ» и т. д.). Рассуждения Джунусова умны и по-своему справедливы, но, во-первых, аргументов достаточно и в самом тексте введения, а во-вторых, дело не столько в аргументах, сколько в самих формулах, чтоб они сразу четко выделились, чтоб они раскрыли свое содер-

жание сами, чтоб они заставили думать читателя. Я поэтому и вынула их из текста (из аргументации), чтоб они ярче засветились сами. И не нужно ничего добавлять к ним!

А теперь — о моем собственном желании «дополнить». Я имею в виду крайне важное для жизни советских людей положение о народном контроле. Упоминаются эти два слова в проекте Конституции неоднократно, в ряде статей разных глав, но, мне кажется, несколько разбросанно и не совсем ясно.

Например, уже в статье 2, где говорится о том, что вся власть в СССР принадлежит народу и осуществляется через Советы, твердо указано, что все другие государственные органы подконтрольны и подчинены Советам. И статья 91 устанавливает, что именно Советы образуют и органы народного контроля. Вот эта статья 91:

«Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающие государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях.

Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий, ведут борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом, способствуют совершенствованию работы государственного аппарата.

Порядок организации и деятельности органов народного контроля определяется законом». Но мы незнакомы с этим законом, не можем сослаться на него.

Во всех статьях, где говорится о работе народного контроля, ни разу не упоминается о том, что он должен быть **независимым.** Наоборот, всюду четко проводится **его подотчетность** Советам, например в статье 92: «Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы... принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь». Поскольку органы народного контроля создаются при Советах, они не могут быть независимы от Советов, во всяком случае в проекте нигде об их независимости не говорится.

Но кто же руководит всей системой народного конт-

роля? На это отвечает статья 124: «Верховный Совет СССР осуществляет контроль за деятельностью всех подотчетных ему государственных органов.

Верховный Совет СССР образует Комитет народного контроля СССР, возглавляющий систему органов народного контроля». Слово «образует» очень емкое, оно включает и выборность, и назначение. По проекту Конституции неясно, назначаются или выбираются государственные и общественные контролеры при Советах (можно догадываться — первые назначаются, вторые — выбираются?). Хотя есть ссылка в проекте, что порядок организации народного контроля определяется законом, но в проекте Конституции этот закон тоже не назван.

В «Правде» от 16 июля помещена ясная, толковая, очень содержательная статья председателя Комитета народного контроля СССР А. Школьникова. Он напомнил о завете Ленина добиваться точного выполнения заданий и поручений, умело исправлять недочеты и устранять порождающие их причины, активно воздействовать на тех, кто отвечает за организацию работы. Привел и любимое словечко Ленина — «проверка». Исходя из содержащегося в проекте Конституции положения об усилении народного контроля, А. Школьников пишет:

«Проект Основного Закона предъявляет более высокие требования к работе комитетов и групп. Прежде всего это означает необходимость повсеместно обеспечить органическое единство проверки, предупреждения и исправления недостатков».

Итак, ударение падает на умение, последовательность, упорство работы самих граждан, составляющих народный контроль. Ударение падает на усиление общественной энергии и смелости тех, кто носит звание народных контролеров, составляет группы и комитеты народного контроля. Это хорошо и естественно на пути к коммунизму, то есть к росту общественных функций советского строя. Но мне кажется на опыте прожитых мной шестидесяти лет советской действительности, **что народному контролю надо помочь**, дать ему более крепкую опору в нашем «законе жизни», потому что работа его очень трудна и, может быть, в некоторых случаях даже не под силу ему.

В статье «Как опекали хапуг» («Правда» от 25 июля 1977 года) показано, как много усилий и времени по-

требовалось выбранному народному контролю, чтобы схватить наконец за руки расхитителей государственного имущества, укрывавшихся за спинами «покрывателей хапуг» — совсем не маленького начальства. Автор статьи пишет: «В пассивной позиции наблюдателей оказались некоторые партийные органы. Ни партбюро завода, ни районный комитет партии действенной поддержки активистам не оказали». И выше: «Вызывают, мягко говоря, недоумение позиция руководителей Министерства пищевой промышленности РСФСР, странные действия отдельных его работников». И еще выше: «Затянувшаяся история еще не завершена». Вот о какие стены пришлось стукаться смелым и мужественным активистам... Они получили благодарную хвалу в конце статьи, мы узнали их имена, спасибо им от имени всех советских людей! Но не лучше ли помочь этим людям, **укрепив их правовую позицию**, придав им больше **независимости** и, может быть, перенеся Комитет народного контроля в самостоятельную, более подходящую главу,— скажем, 20-ю или 21-ю Конституции, туда, где речь идет о прокуратуре и суде? В них есть упоминание о независимости судей, народных заседателей (тоже общественная должность), их подчинении только закону (статья 154), а также о независимости органов прокуратуры от каких бы то ни было местных органов. Как важно было бы и народному контролю в его совместной функции — государственной и общественной — при осуществлении своих полномочий быть вне зависимости от местных Советов.

Вот какие дополнения хотела бы я внести, а уж эпитет **«независимый,** прибавленный к словам **«народный контроль»,**— во всяком случае.

Пишу это на основе своего шестидесятилетнего советского опыта добровольной борьбы с недостатками,— не будучи ни депутатом, ни народным контролером, но частенько прибегая к помощи народного контроля.

Только единственный раз в жизни мне довелось быть депутатом Моссовета (одиннадцатого созыва). Я рассказала об этом в книжке «Дневник депутата Моссовета». Еще жила среди нас Надежда Константиновна Крупская, наш дорогой депутат, и она выступила на первом же собрании вновь избранного горсовета. Перед началом работ всем нам, депутатам, раздали увесистый том наказов наших избирателей. Мы с Федором Гладковым

(он был тогда тоже избран) как-то приняли эти тома без особой заинтересованности и занялись нашими будущими «речами». По знакомым образцам парламентаризма мы мечтали блеснуть чем-то новым, увлечь депутатов. Помню, Гладков долго мне рассказывал о совершенно новой, пришедшей ему в голову схеме безопасного движения пешеходов по улицам Москвы, а сама я увлекалась выпиской каких-то машин для телеграфа (я была избрана коллективом Московского телеграфа).

Но вот на трибуне увидели мы знакомое, простое лицо с комочком седых волос, собранных на затылке, в знакомой по фотографиям бесхитростной одежде — кофточке навыпуск. Тихим голосом начала она свою речь. И без «парламентского блеска» о чем же она говорила? Оказывается, пока мы сидели и «выдумывали», о чем говорить, она внимательно изучила наказы избирателей, разобрала, сгруппировала их, выделила то, что нужно сделать в первую очередь, и повела свою речь... о горячих завтраках для детей в средних школах; об остановке трамваев на таких-то и таких перекрестках; о засыпке канавы с гниющей водой на одной из окраин Москвы и все в том же роде. И в президиуме кто-то раскрыл томище наказов и стал ставить там крестики, а депутаты в зале не скрывали горячего интереса и одобрения. Это был для меня первый урок настоящей работы советского депутата, первый урок советского строя,— каким он должен быть.

С тех пор прошло много, много лет. Не будучи депутатом, не имея никаких особых полномочий, а будучи только писателем, я, как и многие другие мои коллеги, стала получать и получаю множество писем (иногда до тридцати в неделю) от неведомых людей со всех концов Союза с просьбами помочь, заступиться, исправить вопиющую несправедливость,— большей частью справедливые, угнетающие вашу совесть письма. Нельзя было отказать, отмолчаться, остаться равнодушной. Большая часть писем была связана с жилищным вопросом. Инвалид гражданской войны, рабочий, несколько лет состоял в очереди на квартиру: он жил с семьей в подвальном помещении на двенадцати квадратных метрах; старший его мальчик был болен открытой формой туберкулеза, заразительной для остальных шести членов семьи. Когда дошла очередь и рабочий пошел в местный жилотдел

горсовета, его номер на получение квартиры оказался сдвинутым чуть ли не на десятое место. И только тогда он написал мне отчаянное письмо. Уж не помню, где это было, но на все мои просьбы, запросы, требования ответа, оплаченные ответы телеграмм я не получила от тамошнего горсовета ни единого отклика.

Так повелось во многих случаях в самых острых делах — жилищных, подведомственных Советам. Мы строим много, и очень много рабочих семей вселяются в новые дома. В «городке писателей» под Москвой, например, на моих глазах наши рабочие, уборщицы, водопроводчики, столяры получили квартиры, как у писателей, со всеми удобствами в хорошем новом доме. Но нужда остается очень большой, а главное — в распределении квартир, бывает, допускаются несправедливости. Я пыталась бороться с явными нарушениями закона, с официальными предписаниями о выселении учреждений, где недоставало одной только фразы «обеспечив жильем выселяемое научное учреждение», и никакой народный контроль не смог мне помочь, он даже не смог добиться по телефону разговора с заместителем председателя горсовета, не говоря уже — встречи с ответственным работником. В так называемых «приемных» при больших столичных газетах, куда часто обращаются нуждающиеся в справедливости граждане, люди, берущие их под защиту, прибегая к народному контролю, обнаруживают иной раз такое бессилие, что начинаешь винить себя за потерю времени.

В процессе своей работы над письмами, просящими помощи, я иногда встречала факты, с которыми очень трудна борьба. Например: высокий начальник, честный человек на своем большом посту, выносит справедливое решение, ставит под ним свою подпись, оформляет его и спускает вниз. Там этот документ попадает в течение бумаг по ведомственному руслу и где-то, на каких-то заторах тормозится, потом заваливается, потом... нет его, не дошло, осело где-то. И если жалобщик опять идет к тому же высокому начальству и снова жалуется, снова просит, в девяти из десяти случаев он встречает естественное недоумение, раздражение, недовольство — ведь заваленный работой начальник сделал все, что мог, он **подписал справедливое решение.** Чего же мешают ему, пристают к нему? А произошло то, что мы забываем,—

забываем любимое Лениным слово,— **проверку.** Как требовал Ленин эту проверку! Как он следил, чтоб нужное решение было прослежено, проверено **до конца,** до его **исполнения** на деле. И должна быть инстанция, отвечающая за проверку и исполнение в том же высоком учреждении.

Еще один факт, кое-где бытующий и, к сожалению, никак не ведущий к усовершенствованию работы государственного аппарата. Пишется в министерство бумага с жалобой на подведомственное этому министерству учреждение. Подписана бумага многими служащими, просят расследования несправедливого факта. Министерство с резолюцией «расследовать» отсылает эту бумагу как раз в то самое учреждение, на которое приносится жалоба. Ясное дело, какое получится расследование! Два эти факта из многих других, встретившихся мне в нелегком деле помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении, не должны иметь места в практике советских учреждений. А как справиться с ними народному контролю, если он не самостоятелен, не облечен независимостью, опирается главным образом на свои человеческие качества — упорство, мужество, энергию, а не на широкие правовые полномочия, дающие ему большой авторитет и силу?

1977

МЫСЛИ О ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

У нас, советских писателей самого старшего поколения, не было случайных тем. Мы имели великое счастье — не из учебников, не из книг литературоведов, а собственными глазами и собственным творчеством видеть и переживать глубокую закономерность истории советской литературы. Она росла вместе с ростом небывалого в мире нового общественного строя. Она участвовала в его становлении, как «часть общепролетарского дела». От этапа к этапу она отражала его развитие, испытывая на себе огромное воздействие его практики. И в свою очередь, советская литература — обобщая, создавая на каждом этапе типические образы и характеры

новых людей,— влияла на эту практику, воспитывала ее деятелей,— и в этом выразилось ее соучастие в ней.

Вот несколько примеров. Гражданская война. Нужно защищать новый строй. Красная Армия только рождается, она рождается из двух компонентов: из стихийного революционного подъема народных масс — и организующей роли коммуниста, комиссара. Так — в действительности. А в литературе? Диалектика этих двух компонентов, стихийной народной массы — и комиссара, ложится в основу целого ряда монументальных книг: «Железного потока» Серафимовича, «Разгрома» Фадеева, «Чапаева» Фурманова, где яркие образы революционного взрыва народных масс и организующей партийной мысли политкомиссаров — имеют огромное воспитательное значение. Силой воздействия своего искусства они становятся участниками процесса создания армии нового типа.

Первые шаги социализма, основа его: декреты о национализации, обобществлении, уничтожении частной собственности на средства производства... Колоссальная задача перевоспитания людей встает перед пролетарскими писателями. Общей нацеленностью молодой советской литературы становится борьба против психологии «единоличника», «частного собственника» — за широкое понимание «общественной собственности», как личной: «Поднятая целина», «Бруски», «Страна Муравия» — трагический образ Моргунка, этого «последнего единоличника»...

Первая пятилетка,— и опять единство темы группирует десятки писателей, решающих ее диалектически. Новые производственные отношения, новые условия жизни. Проблема семьи — при полной отдаче себя производству,— и как эта проблема решается Гладковым («Цемент», «Энергия»); проблема природы — и цивилизации,— и как она решается Леоновым («Соть»); проблема индивидуума и коллектива,— и как она решается Эренбургом («День второй»). А тема — строительство пятилетки — одна; и много лет прошло, человек живет в новых социалистических условиях, проблематика у него уже новая, более сложная,— и компоненты в ней уже не прежние, хотя все в той же диалектической взаимосвязи. Народная масса и организация. Ведущая мысль партии...

Мы только что пережили огромный подъем Двадцать пятого съезда нашей партии, и перед нами — новый этап, новая историческая высота, которую надо взять в ближайшее пятилетие. Десятая пятилетка. Какова ее проблематика? Где и в чем искать «компоненты» нового социалистического творчества всех нас, уже вошедших в орбиту ее действия? Как проследить ее тему, главную тему десятой пятилетки, рождающуюся на встрече партийной мысли и народной практики?

Нам скажут: главная тема пятилетки уже указана. И закреплена Двадцать пятым съездом. Это — борьба за **качество**, за повышение **эффективности труда**, за усиление коэффициента его полезного действия. Да, тема указана. Однако за качество мы ведь боролись и раньше, разговор о нем не сходил с газетных столбцов. Об эффективности труда забота велась со времен Стаханова. А вот сейчас, именно сейчас, в десятую пятилетку — что нового влилось в нашу практику, какие черты, раньше не замечавшиеся, проступили настолько явственно, что стали решающим фактором? В чем проблематика нашего сегодняшнего исторического этапа, способная захватить и увлечь писателя, зажечь его мысль, как увлекали и зажигали нас прошлые этапы борьбы за социализм?

Для меня подъемная атмосфера съезда, ее ведущая проблематика началась задолго до открытия самого съезда,— со дня опубликования в газетах документа: «Проект ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы». Я была в городе Ленина, в феврале, а ленинградский февраль — самый тяжелый месяц; просыпаешься в темноте, обедаешь — темнеть начинает, но темнота не черная, а какая-то сизая, подобная начальной седине волос, и вся она болезненно просвечивает белотой, словно стираная занавеска. Я не успевала за день прочесть газеты: и две из них, «Ленинградскую правду» и «Вечерний Ленинград», приберегала на ночь. Эти обе газеты всегда мне нравились... Ну, словом, я их читала всякий раз и, приезжая в Ленинград, аккуратно читаю.

И в первую же февральскую бессонницу мне бросилась в глаза новизна,— нечто, не бывшее в преддверии нашей девятой пятилетки, нечто, навеянное приближением съезда и уже порожденное съездом. Пять лет назад

советский народ тоже заранее знакомился с содержанием предстоящего пятилетнего строительства. Но — сколько помнится — это был проект «директив». Слово «директивы» имеет нечто окончательное, прямое,— от корня «прямой», direkt,— и семейство производных от него,— директивный, директор,— носит в себе эту заданность к исполнению. Директивы тоже призывали к отклику, и на них отклики были. А вот перед десятой пятилеткой народу был предложен на обсуждение проект основных направлений предстоящего гигантского строительства. Два разных слова — и громадная разница между ними. Первая же мысль: а какая разница? На что она указывает? Она указывает на рост сознания нашего народа, которое партией учитывается и к которому партия обращается. Проект направлений — требовательней директив. Он требует не только исполнения. Он требует размышления, обдумывания, помощи, использования собственного опыта, совета, критики. Словом, той коллективной формы взаимоотдачи, какая зовется «обсуждением». И народ... тут моя бессонница перешла в лихорадку горячей заинтересованности. Народ словно весь устремился на обсуждение проекта десятой пятилетки. Материал пошел в газеты в таком количестве, что полностью его невозможно было напечатать. Писали рабочие, техники, инженеры, экономисты, кандидаты, профессора, бригадиры, парторги, редакторы заводских многотиражек...

У меня накопились десятки вырезок по Ленинграду, поскольку ленинградская печать главное свое внимание отдает нуждам своего города и своей области. Но сколько было в этих вырезках общего, всенародного значения! Жгуче интересно было почувствовать «сегодня» нашей промышленности, узнать все неисчерпаемое разнообразие понятия «качество»!

Да, мы часто говорили о качестве, мы требовали его и в прошедшие годы. Что же произошло? Почему сейчас качество встало во весь рост в положенье «необходимости»? Потому что две стороны общественной двоицы,— производство и потребленье,— изменили свои пропорции, свои целевые задачи, обращенные к человеку,— начали их изменять с первых лет строительства социализма на нашей земле. Потому что, если говорить по Марксу: «...вообще производство и потребление все больше

и больше совпадают по времени...» Маркс пишет это по другому поводу, но для новой социалистической действительности слова его звучат пророчески. И потому что — для вопроса о качестве **стукнуло время**. За годы социализма вовсе не только «вещи» производились у нас все больше и больше; за годы социализма сам человек все больше и больше становился потребителем создаваемых им вещей. Народ наш рос. Народ наш вырос настолько, что производимые им вещи все больше и больше входят в его собственное потребление. Он становится производителем и потребителем в одном лице, производство и потребление сближаются,— настолько, что потребление, становясь всенародным,— утрачивает свой унизительный, чисто «потребительский» оттенок и — становится производственным, входит, как важная составная часть, в систему производства. Производимая при социализме вещь не знает «отчуждения», употребляя марксистский термин, относящийся к капитализму.

Слышу протесты: проще, проще! А если проще, то представьте себе хозяйку дома, она стоит с ложкой у плиты, она варит суп,— и пробует его с ложки: вкусно ли? Довольно ли соли? Добавить ли зернышко черного перца и не сдобрить ли петрушкой? Она работает для своих (для всех), но и для себя тоже: производство и потребление сошлись в ней, в ее одном лице. Сегодня весь трудовой советский народ подобен этой хозяйке. Огромный — многомиллионный — советский народ принял участие (а кто еще не принял, почувствовал возможность принятия) в общегосударственном обсуждении, **как повысить качество продукции.** Потому что он **лично заинтересован в этом качестве.**

Послушайте, как рассуждает сейчас токарь не какого-нибудь мощного объединения, производящего гигантские турбины или котлы,— а простого Октябрьского электровагоноремонтного завода в Ленинграде, товарищ В. Чернозубов. Дело завода, казалось бы, маленькое,— он только **ремонтирует.** Но взгляд у токаря Чернозубова — широкий, на всю нашу страну. Важная часть ремонта — новое колесо под вагон. Колес они сами не делают, им на Октябрьский завод металлурги посылают заготовки, а ремонтники обтачивают их у себя. Чем экономней относятся поставщики к затрате металла для литья заготовок, тем ближе они подгоняют их к разме-

рам колес... И тем легче ремонтникам обрабатывать их, доводя до нужной формы. Год от году прогресс в этом деле увеличивался, поставщики — Нижне-Тагильский комбинат и Днепропетровский, металлургический,— улучшают технику, идут вперед в экономии металла, сами начинают отливать колесную пару, не теряя лишнего металла,— а ремонтникам и совсем хорошо, получают вместо болванок почти готовые колеса, мало тратят времени и рабочей силы на их обработку...— И вдруг! Вместо прежних стали приходить к ним огромные болванки, такие, что с пары колес снимаешь до шестидесяти килограммов стружки («рубли уходят в стружку»!). И тогда — рабочие задали вопрос на партийном собрании,— **сами** задали, **сами** заинтересовались, **самим** «жалко было глядеть» на гибель металла, энергии, времени — в стружке. Что же случилось? Честно говоря, читатель, в этом месте рассказа, когда я его читала, глянул на меня со страницы газеты не токарь Чернозубов, а Леонов — актер Леонов,— потрясающе сыгравший на экране рабочего, хозяина советской земли. Велика роль искусства, делающая нас, читателей, зрителей, потребителей искусства — тоже потребителями-производственниками, участниками всенародного труда! Но это — лирическое отступление. Иду дальше.

Руководители ответили рабочим, что все дело в заводе города Выксы, перестроенном и оборудованном по последнему слову техники. Ему передана поставка, и он посылает в Ленинград ремонтному заводу эти чудовищные болванки. «Удивились рабочие»,— рассказывает Чернозубов: «Как же так, завод новый, а методы работы, судя по продукции, старые? Стали,— продолжает он,— интересоваться и этим вопросом». Поехали, посмотрели, выяснили: завод — как новый, это действительно. И новейшая техника налицо: «предусмотрены для механической обработки полуавтоматические линии, но они не действуют и освоение новейшей технологии затягивается». Это деликатные выражения токаря Чернозубова, но за ними его острый, умный глаз хозяина Страны Советской. И попадает же злополучной Выксе и всем Выксам, ей подобным,— оснастили, оборудовали, должно быть, и хвалебные речи были о научно-технической революции,— а стоит эта «революция» на месте и не действует, а пуск ее в дело «затягивается».

«Нам приходится перерабатывать зря в течение года сотни тонн металла... Для этого дополнительно нужно рабочих, времени, станков, электроэнергии, денег! Октябрьский завод вынужден, помимо всего прочего, складировать и транспортировать лишнюю стружку. Для этого также требуются люди, механизмы, вагоны...» И голосом, который, вам кажется, вы ухом слышите с бумаги во всей его силе и тембре, говорит токарь: «Такого не должно быть». Он вчитался в проект. Он знает, к какому месту отнести его собственную добавку. И он ее вносит: «Считаю необходимым дополнить проект... предложением о недопущении изготовителями проката черных металлов поставок машиностроительным и ремонтным предприятиям необработанной продукции, так же как в свое время к общегосударственной выгоде была запрещена некомплексная поставка машин (то есть тоже недоделанной продукции)».

Чернозубов подчеркнул свое предложение,— в газете оно набрано черным. И как крепко подчеркнул бы его (трижды и многажды — ленинское словечко!) сам Ленин, если б смог его прочитать. Потому что, восходя от малого к большому, от личного к общему, оно ставит вопрос в масштабе всей страны, в масштабе «общегосударственной пользы». Как выявляется здесь борьба за качество и само качество? Четкое соблюдение государственных стандартов, не давать дороги произволу, не взваливать на чужие плечи свою работу,— правильно проводить кооперирование. Как в хорошей фуге — точка против точки...

Есть в Ленинграде научно-исследовательский институт Химмаша, а в нем — лаборатория измерительной техники. И заведует этой лабораторией кандидат технических наук Ю. Докучаев. Он, видимо, тоже изучил проект и знает, куда внести добавку. Только одно-единственное слово внести, «метрологию» — просит Докучаев. Так просят по жизненному делу «одну-единственную минуточку внимания»... Для Докучаева «качество» — тоже общее понятие: если для каждой отдельной вещи требуется свое качество и сколько миллионов разных вещей, столько миллионов разных качеств,— для иголки, например, одно, а для плоскозубцев другое,— то гарантия для всех качеств — одна — и гарантия эта — точность. Для научно-исследовательской работы нужны приборы высокой

точности, надежные приборы, показаниям которых веришь абсолютно. Но в тиши и замкнутости научных лабораторий могут происходить большие человеческие драмы. Докучаев сухо и коротко рассказывает: «Исследователь в ходе экспериментов пользуется прибором для измерения — скажем — коэффициента трения материалов. Полагаясь на точность прибора, он дает рекомендации конструктору, тот, исходя из них, создает новую конструкцию машины. Изготовляется опытный образец. Проводятся испытания, и вдруг машина... тут же выходит из строя... где ошибка? Оказывается, не в расчетах конструктора, которые... могут быть напрасно опорочены, и не в методике ученого. Она скрывается в показаниях неточного прибора». Неточного, хотя вся его суть, вся заданная природа — в абсолютной точности! Человек «выходит из строя»,— и прибор может «выйти из строя». За человеком и его состоянием следит «врачебная служба». И есть такая «метрологическая служба», которая обязана следить за точностью и надежностью научных приборов, какими пользуются ученые для своих экспериментов. И она многое делает. Но если в научной лаборатории «прибор высокой точности», да и всякий прибор, выходит из строя, ремонтировать его негде. И тут повторяется чернозубовская история: раньше был завод «Центроремприбор», и туда можно было отдать прибор на ремонт. А сейчас этот завод «переориентировали» — он работает только на крупную промышленность и «мелочью» не занимается. Приборы для научных исследований, для важнейшего начала всякой конструкции вещи, для ее создания и опробования учеными, исследователями и конструкторами загнаны в «мелочь», для ремонта которой нет места и времени. А в научных институтах нет своих ремонтных баз, нет нужного для этого оборудования, нет слесарей-лекальщиков,— их вообще нехватка,— и если положение не исправится, в научно-исследовательских институтах «скопятся сотни, тысячи неисправных, неточных приборов». Докучаев пишет: «Необходимо в самые сжатые сроки создать в Ленинграде централизованную ремонтную базу рабочей аппаратуры. Это важнейший для ленинградской науки и промышленности вопрос». И — что не менее замечательно, чем чернозубовская дальнозоркость,— Докучаев дальше смотрит — на транспортировку отремонтированных

приборов. Ее наладить должна сама ремонтная база особыми способами возвращения их на место, ведь от малейшего толчка при транспортировании они могут опять выйти из строя и потерять свою точность. Токарь Чернозубов предъявляет законные претензии от имени ремонта к металлургии. Ученый Докучаев предъявляет законные претензии от имени науки к ремонту. Тот и другой борются за качество. У того и у другого речь идет о ремонте. Мы видим, какое большое значение имеет ремонт в нашей работе. Ремонт, реанимация машины, инструмента — это как продление жизни самого человека, поскольку для советского человека труд — это сама жизнь, нерв жизни. А на заводе и в институте бежит иногда «эта жизнь» бесконечной стружкой металла, гибнущего зазря. И скопляется эта жизнь своего рода тромбами, артериально-склеротичными узлами гибнущих без ремонта орудий научного исследования... Хотите знать, какими «орудиями» это может случиться? Амперметры, вольтметры, частотомеры, осциллографы... Страшно при одном их перечислении представить себе, что они могут «складироваться» втуне, подобно стружке!

Какое обилие тем для нужного сейчас очерка, обилие типов и образов советского человека, выросшего за последние пять лет! И нуждается этот человек не столько в «портрете» и хвалебном гимне, сколько в помощи ему, помощи в его борьбе за качество, да и в понимании «качества», каждый раз особого, но всегда требующего точности. Нашей помощи партии — в разборе и анализе тысяч предложений...

И нашему труду писателя тоже нужно качество: огромный, захватывающий интерес к зеленым побегам нового и умение видеть это новое, как сейчас, весной, с новым чувством жизни, видишь тоненькие побеги молодой зелени на земле.

1976

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

1

Однажды на свердловский «Уралмаш» неожиданно «нагрянул» Серго Орджоникидзе. Но вместо обычного посещения цехов он сказал: «На сей раз предпочту за-

глянуть в завтрашний день»,— и направился к только что открытому тогда фабрично-заводскому училищу.

Этот случай приводится в книге очерков, изданной недавно «Молодой гвардией»[1]. Тринадцать авторов рассказывают в этой книге о тринадцати современных ПТУ, средних профессионально-технических училищах, выросших за истекшие десятилетия из прежних фабрично-заводских. Вместо предисловия в ней помещена беседа с председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию А. А. Булгаковым. Вот несколько нужных цифр, приводимых им в беседе. У нас сейчас 6356 ПТУ. В них можно обучиться одной или нескольким специальностям — из тысячи ста (1100), которые там преподаются, и одновременно закончить общее среднее образование, поскольку идут в эти училища в основном восьмиклассники, а в ПТУ они проходят 9-й и 10-й классы, именуемые там курсами. Если помнить, что советский рабочий класс за последнее пятилетие ежегодно возрастает в среднем на полтора миллиона человек; и если представить себе, как эти полтора миллиона, словно река в океан, несут в себе ручейки многих тысяч отрядов пополнения из училищ, **где соединены в одно: общее и специальное, научно-гуманитарное и рабоче-техническое образование**, то получится яркая и новая картина «завтрашнего дня».

«Завтрашнего дня рабочего класса?» — может спросить читатель. Нет! Статистика отвечает: «завтрашнего дня нашего **социалистического общества»**, поскольку рабочий класс, возрастающий ежегодно на полтора миллиона, представляет собой огромную, ведущую часть населения всей нашей страны. Понятно, как важно для нас, писателей, особенно сейчас, перед писательским съездом, все то, что рассказывается в вышеупомянутой книге. И как раз в силу особой ее важности, она требует откровенного и справедливого разбора, по завету Ленина, данному им в письме к тов. Варге: «Нам нужна *полная и правдивая* информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»[2].

---

[1] Самый необходимый человек на земле. М., 1976, с. 256.

[2] Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 54, с. 446. Письмо к Е. С. Варге от 1 сентября 1921 года.

Сперва — о достоинствах книги. Почти все ее очерки написаны интересно и как бы «пригласительно». Прочитав некоторые из них, так и тянет идти и переучиваться, гулять по прекрасно оборудованным мастерским, разглядывать машины, инструменты, пособия, побегать по спортплощадкам, взглянуть на аквариум в холле, на музейные экспонаты, крохотные действующие модели, сделанные руками учеников. Очерки ведут нас из уральского машиностроения — к московским железнодорожникам, из таллинской «кулинарии» — в рижское портновское искусство, из сормовского судостроения — в обучение «пахаря», из бобруйского художественного ПТУ — в киргизское прядильно-ткацкое, словом — по самым разным маршрутам. И всюду встречаете вы ребят на производственной учебе. Воспитывают и обучают их главным образом старые опытные мастера. Как мне кажется, лучшим достоинством книги и являются как раз портреты этих мастеров, умелое изложение их приемов, образные характеристики учеников, хороших и плохих, и — сама атмосфера воспитательной работы, полная теплоты, такта и в то же время строгой выдержки, какими отличается практическая педагогика самих рабочих по сравнению с еще не набравшими опыта дипломированными инженерами-педагогами. Лучший рассказ в сборнике — «Харьковская мозаика»; в нем как раз психологически тонко даны портреты мастеров и на живых примерах показана методика их воспитания.

Слабая сторона книги —это прежде всего выбор писателями своих ПТУ. Из тысяч таких училищ взяты авторами не первые попавшиеся. Мы — в избранном обществе. Одно училище премировано комсомолом, другое награждено орденом, третьи известны не только в своей республике, но и за ее пределами. Гостями в них бывают иностранцы, туристы, делегации, оставляющие свои впечатления в почетных альбомах. Это само по себе не плохо, показ образца полезен, он подтягивает отстающих. Но рядом с лучшими хочется повидать и отстающие, потому что только сравнение помогает познанию. Показ исключительно лучших мешает увидеть действительность во всей ее полноте, а значит,— мешает и писательской помощи в борьбе с недостатками. К примеру — вопрос о поступлении в ПТУ, о взаимоотношениях обычной десятилетки с профессионально-техническим

училищем. В беседе-предисловии говорится: «В наших училищах нет недобора. Наоборот, во многих из них (и прежде всего в средних профтехучилищах) впору устраивать приемы по конкурсу».

Нет недобора. Но так ли все это просто? Передо мной «Комсомольская правда», вышедшая 28 мая. В ней под мягким заголовком — «Огорчения от учения» — приводится несколько писем от учащихся. Вот одно письмо — из Куйбышева, пишут девочки, приехавшие в ГПТУ-37 учиться на маляров-штукатуров: «Когда поступали, училище всем обещало хорошее, благоустроенное общежитие. А жить в итоге пришлось прямо в классных комнатах. Достали мы 42 кровати, но всем не хватает, и некоторые девочки вынуждены спать по двое. А дирекция училища... продолжает обещать, особенно если кто-то хочет уйти из училища...» Три подписи: старосты, комсорга и профорга.

Еще одно письмо из Красноволжского комбината города Кинешмы. Тоже от приезжих девочек, которым «столько всего хорошего наговорили о нашей будущей профессии, что сразу поступили в ГПТУ при комбинате». Поступили и увидели, что «совсем не таких качеств требует специальность, как нам о ней рассказывали. Но нас не отпустили из училища, а вот теперь и с работы не отпускают». Следуют шесть подписей. «Комсомольская правда» справедливо спрашивает: «Есть ли толк от таких «стопроцентных наборов»? Толку нет, а вот вреда действительно много».

В тот же день, 28 мая, «Известия» пишут в передовице: «...с середины июня (прошлого года) в редакцию сыплются письма недавних восьмиклассников и их родителей. Суть этих писем одна: директора школ (десятилеток.— *М. Ш.*) задерживают документы желающих поступить в ПТУ и техникумы. Стремясь выполнить план набора в девятый класс, такие администраторы грубо нарушают личные планы выпускника, что совершенно недопустимо». Как говорится, «с одной стороны», ПТУ задерживают и не отпускают — желающих покинуть их — восьмиклассников; «с другой стороны», администраторы десятилеток задерживают документы восьмиклассников, поступающих в ПТУ. Но противоречие, конечно, кажущееся. При многих тысячах школ и училищ бывает так и этак. Однако вопрос с «набором» вовсе не

так прост, как указано в «беседе»... Он очень сложен,— и, вероятно, сложность происходит и от плохой или недостаточной информации. Правдивый проспект — вот что нужно тысячам ПТУ.

Выясняется и еще одно — вопрос, касающийся общежитий. Об этом в книге тринадцати авторов как будто не упоминается. А это очень острый вопрос. Настолько, что, например, в «Ленинградской правде» во второй половине февраля было созвано специальное совещание директоров и замдиректоров многих тамошних ПТУ, был и директор единственного исследовательского института по профтехобразованию в нашей стране, ленинградского,— и там выяснилось, что воспитательная работа как бы отделена от часов производственного обучения, перенесена в стены общежития,— а в одном из самых лучших училищ города, ПТУ-90,— на восемьсот учащихся в общежитии остается на ночь один только взрослый — вахтер.

2

Вот сколько проблем поднимается, когда поставишь вопрос о действительном положении ПТУ. И говоря языком «Комсомольской правды», много ли пользы от исключительного описания показательных наших ПТУ,— и не лучше ли было бы прибавить и такой материал, на который надо обратить действенное внимание.

Но все же главным недостатком очерков тринадцати авторов, очерков очень сейчас нужных, является досадная недохватка в них **проблематики**, относящейся к **«завтрашнему дню»**. Она, как мне кажется, могла бы прийти на ум и при знакомстве с только лишь образцовыми училищами, может быть, даже при знакомстве именно с ними. Я уже писала выше, какую все возрастающую часть населения составляют у нас рабочие,— хотя бы численно. Мы часто пишем о социалистическом развитии нашего общества в направлении, по которому должна постепенно уничтожаться **разница между физическим и умственным трудом**. Одним из важнейших каналов этого неизбежного при социализме процесса является школа. Создание средней профессионально-технической школы (среднего ПТУ, как сейчас говорят) было с первых дней Октября тем самым «что̀», именно той

осознанной задачей, о которой десятилетия решалось «ка́к». Она была в сознании наших работников просвещения с первых декретов Ленина, но форма ее, организация ее долго не отстаивалась,— она проходила и через рабфаки, и через фабзаучи, и через одиннадцатый класс, добавляемый к полной десятиклассной школе,— и все эти приблизительные, искомые формы отпадали, оказывались недолговечными. Среднее ПТУ, по-видимому, устоит и закрепится, как наиболее удачный результат поиска. В него идут ребята, окончившие восемь классов. Многие из них еще под гипнозом старого понимания «эволюции образования», девятого и десятого класса, за которыми — вуз, а там дальше — возможная аспирантура, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, диссертация, кандидат, а дальше — чем черт не шутит — возможный доктор, член-кор., академик! Восхождение, как на Альпы,— почета, положения, зарплаты.

Но именно на стыке новой системы образования, соединяющего одновременно среднее общее — и техническое, происходит, подобно явленью намагничиванья, зарожденье **нового качества интеллигентности**. Когда мы говорим об уничтожении разницы между физическим и умственным трудом,— мы все еще не совсем ясно представляем себе самый процесс уничтоженья этой разницы. Нам как бы видится нечто арифметическое: физический труд плюс умственный труд, где полностью остаются оба типа труда, только восполняя один труд другим трудом. А между тем создается нечто новое, «алгебраическое», где и физическая работа становится чем-то качественно другим, и умственный труд приобретает некоторое новое качество. А проще сказать — меняется наше старое представленье об интеллигентности.

В наших литературных дискуссиях мы все время исходим из старого, отстоявшегося, созданного в душевно-духовной борьбе со старыми несправедливыми производственными отношениями,— **типа русского интеллигента**,— любимого нами, особенного, отличающегося от западных типов. А ведь нарождается **новый интеллигент**, нарождение его при новых производственных отношениях **неизбежно**, поскольку неизбежен процесс исчезновения разницы между двумя видами труда — умственным и физическим.

Так вот,— важнейший канал, по которому течет этот процесс,— **школа, очаг образования**, то есть обученья и воспитанья нового поколенья наших людей. Долгий, быть может — столетний, процесс. Школа, пока еще незаметная, не слишком бросающаяся в глаза именно своей скрытой проблематикой, своим историческим значеньем, и есть первичное «место действия» формирования социалистического интеллигента. Искомая нами десятилетиями школа, может быть, приняла наконец сейчас одну из устойчивых, реальных форм,— «среднего ПТУ». Но, разумеется, свет на среднем ПТУ клином не сошелся, оно еще в самом зародыше, в возможной,— но не исключительной,— форме устойчивости. Оно еще полно недостатков, несовершенств, неосознанного, временного, а все же основано на главном элементе: на **одновременном** прохождении среднего общегуманитарного, научно-теоретического обученья — с обученьем трудовым, техническим, рабоче-практическим.

И вот, как мне кажется, беря на себя задачу описанья этого среднего профессионально-технического училища, среднего ПТУ,— мы, писатели, должны бы хоть краешком глаза, интуицией, внутренним зрением подметить — пусть едва заметные, слабые, пусть даже малосущественные, но реальные и не выдуманные черточки нового — в том, что отличает, скажем, обычную общеобразовательную программу и метод ее преподаванья в 9-м и 10-м классах — от той, что сейчас мы видим на трех курсах среднего ПТУ. Обогащена ли она чем-нибудь или урезана, изменена ли она в методике? Ведь методика **никогда** не остается одинаковой! Возьмите хотя бы самый грубый и простой пример методики мастера на производстве. Вспомните нашу богатую дореволюционную литературу,— каким предстает в ней мастер? Как он обучает, как воспитывает? Битьем, «выколачиваньем» последних силенок из «подмастерья», жестокостью, взяткой. И даже словечко «подмастерье» отражает эту рабскую зависимость деревенского мальца от тяжелой длани мастера. И еще одно слово, рожденное старой действительностью,— «мастеровщина». Эти слова давно отошли в вечность, выпали из советского словаря. Их странно вспомнить перед обаятельными образами советских мастеров, так чудесно воссозданными в книге тринадцати авторов.

Особенно интересно было бы для нас прослушать урок общеобразовательного предмета. Но в тринадцати описаниях образцовых (или «одних из лучших») средних ПТУ есть почти все: авторы заглянули в мастерские, в музеи, в сад, на спортплощадку, говорят об эстетическом воспитании, о музыке, о собственных оркестрах, даже о личных взаимоотношеньях ребят и учителей, ребят и девушек, обо всем, что кажется новым и важным в рабочей школе,— но ни один из них не описал общеобразовательного урока, не захотел побывать на нем, не задумался над проблемой одновременного получения ребятами рабочей специальности и научно-гуманитарного образования старших классов. А ведь одна из задач нашей литературы, особо нужная в десятой пятилетке,— это создание образа сегодняшнего советского рабочего. И она невыполнима, если мы по старинке будем исходить только из производственной и семейной биографии рабочего, игнорируя его учебную биографию. Школа для каждого человека во все времена была важным элементом его образной характеристики: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» (Онегин), «Он из Германии туманной привез учености плоды» (Ленский)...

3

В каждом обучении есть два живых компонента: учитель и ученик. И в каждом из них заложен инстинкт творческой самостоятельности, вносимый вне программы. Новое входит в школу не только через учебник и программу: оно входит через отношенье к предмету обученья — и учителя, и ученика. Мне хочется поделиться с одним из тринадцати авторов книги своим маленьким наблюдением в том самом ПТУ, которое он очень живо и привлекательно описал в очерке «Там, где сходятся рельсы...». Это образцовое московское ПТУ-129, готовящее в основном помощников машинистов. Как будто все в этом училище увидел автор, отправившийся после разговора с директором смотреть школьный музей, сад, экспонаты мастерских,— а начавший, прежде чем посетить училище, с наблюденья профессиональной деятельности помощника машиниста, не как пассажир, а рядом с ним в кабине электровоза. Описание поездки туда, «где сходятся» (кажется, что сходятся) «рельсы»,— очень поэ-

тично и познавательно. А вот в «лабораториях», где ведутся уроки общеобразовательные, он не побывал (и не отметил, кстати, нужды прекрасного училища в добавочной площади, а следовало бы это сделать).

Я пришла в ПТУ-129 гораздо позже автора, побывав до разговора с директором училища, заслуженным учителем и содержательным собеседником,— в Государственном комитете ПТО, у заместителя председателя В. А. Сакошева; получила от него печатные материалы и прочитала очень глубокий, очень много мне давший доклад этого товарища. Оказывается — и сейчас еще надо иногда бороться с противниками, считающими почти лишним общее образованье и особенно — образованье эстетическое для рабочего. Доклад заместителя председателя дал мне остро почувствовать его огромное увлеченье своим делом и трудную работу, какая ведется сейчас комитетом.

Но это — к слову. Очеркисту, не в пример геологу, всегда лучше начинать работу «камерально», а уж потом переходить на «полевую». Для меня «полевой» работой, после чтения и бесед,— сделалось в ПТУ-129 посещение образовательных классов. В двух группах первого курса шел урок русской литературы; в других лабораториях — уроки истории и немецкого языка для проводников зарубежного следования. И честно скажу — мне было ново и неожиданно; мне было поучительно; у меня — невольно — зажглось мышление, без чего — на старости — нет наслажденья ни от одного явленья на земле. Урок русской литературы в первой и второй группах 1-го курса был посвящен... кому вы думаете?— Достоевскому. Достоевский, тончайший психолог, мистик, открыватель тайников и глубин души человеческой, икона и пророк для Западной Европы,— и ребята-железнодорожники, училище для рабочих. Но сверкнуло все это в мыслях — и погасло. Пришло совсем другое,— первая встреча с Достоевским глазами социально нового учащегося.

4

На партах лежали тетради, исписанные четким, ясным почерком,— разговор был о Мармеладове, решался вопрос, в чем причина бедности семейства Мармеладова.

Я тоже спросила одного из мальчиков: в чем? Ответ был: во-первых, в самой тогдашней системе, в общественном устройстве, а во-вторых,— и в личной вине Мармеладова: **он пил.** И вдруг — все изменилось, или, скорей, выросло в моем представлении о Достоевском. Ведь он по существу, по всей фактуре своего творчества (далекой от верхов, от дворянства, при изобилии маленьких людей с беспомощностью их судеб, нечто внизу, а если чуть повыше, генерал Епанчин, например,— то не глазами его слоя, а глазами «меньшого брата», снизу), — и лихорадочный язык не дворянского, не устойчиво-буржуазного типа — все это ближе, куда ближе к новому ученику, чем к высоким интеллектуалам и — прощенья прошу — крупным литературоведам, раскрывавшим творчество Достоевского сквозь туман религиозных исканий, фрейдистских проблем, мистических терминов. Ведь этот семнадцатилетний юноша — как свой в семействе Мармеладова, оно ему понятно, оно для него просто,— и этот страшный современный грех, современное несчастье («он пил») учащийся наблюдает порой в знакомом ему быту.

Сколько же практических, нравственных проблем поставляет материал романов Достоевского молодой учительнице, и как эти проблемы в новой постановке просты и понятны ученикам! Как сцены истерических припадков, и эти ссоры, и семейные противоречия, и даже характеры, казавшиеся старому читателю «инфернальными»,— вдруг осовремениваются, становятся естественными, если перевести фокус внимания читателя от них — на другое в романе... Ведь они — из жизни. И лишь неестественно-гигантски, подобно теням, спроецированы на экран искусства,— в глазах рафинированного читателя...

Пусть односторонне, пусть утилитарно,— но это идет от нового, свежего восприятия человека, вышедшего на историческую сцену.

В другой группе ученик, по словам преподавательницы, задал ей вопрос: «Как мог Раскольников **решать в уме** (умственно), что ему **позволено** убить, лишить жизни другого человека?» А вот этот вопрос вскрывает очень важное обстоятельство, раскрытое самим Достоевским в судьбе Раскольникова: нравственную проблему только умом, только теоретически, минуя совесть и серд-

це, решить нельзя, не позволено... Казалось бы, наивно,— а бездонно глубоко. И совершенно правильно.

Наблюденье как будто самое ничтожное, мелкое, его трудно заметить и еще совсем непозволительно делать на его основе какие-то выводы. Но оно дышит новизной, возможностью нового прочтения классики — новым восприятием растущего социалистического интеллигента. Уходя с урока о Достоевском, я невольно вспомнила о том, что потрясло меня почти сорок лет назад в колхозе села Кременки недалеко от Ульяновска. Там колхозники провели «конференцию по Пушкину», устроенную собственными силами колхоза. Три доклада прочли сельский избач Аверьянов, предколхоза Егорычев и председсельсовета Вятсков, а устроить конференцию подсказали взрослым школьные ребята.

Я написала «прочли», но бумажек не было. Колхозники делали доклады устно,— до того неожиданные, что приехавшие из города «консультанты» и репортеры разводили руками. Для моего поколенья биография Пушкина была биографией трагической. Литературоведы искали, как шаг за шагом поэт погибал; они находили и называли все темные силы, служившие его гибели. А тут избач, тот же колхозник, проявил совсем другой интерес: какие светлые силы, какое доброе вмешательство не дали погибнуть Пушкину, сделали его тем, чем он стал. Обороты его речи, невольно для него самого, смахивали местами на эпос.

Я сохранила стенограмму конференции, и когда ее сейчас перечитываю, речь избача встает передо мной цепью удивительных слов-мыслей, слов-образов: темная русская деревня; сморщенная ладонь как будто слабенькой старушки-няни, но ты не смотри, что она слаба,— это «наша»; и цыгане у костра — это «наш брат»; и черкес, и черкешенка, в своем ауле работница,— это ведь тоже «наш брат». И несметная народная сила этих «наших» как будто держит Пушкина сзади, за талию, как в игре «кто перетянет»: а на той стороне французское чванство, господские фасоны, царь, как из сказки; и борьба предстает уже в другом свете: наносное, чужое мешает Пушкину сделаться, а свое, родное, помогает Пушкину, насыщает его, встречается на каждом шагу его жизни, подобно разным веточкам, ручейкам и львиным головам в сказках, помогающим герою спастись. Другой,

не трагический, а веселый и сильный Пушкин! И как-то неожиданно приходит в голову, что ведь Пушкин и действительно был отчаянно веселый человек в жизни, почему же мы перестали это в нем ощущать?

Каждая общественная система ведет к своему прочтению всего, созданного человечеством. Завтрашний день — он еще невидим. Но есть логика в его медленном приходе, есть в руках у нас правильный метод познания исторического развития общества — марксистский, ленинский метод. И какое необозримое поле для мыслей, для наблюдения, для творческого прослеживания ростков в будущее — лежит перед нами, советскими писателями!

6.VI.76
Переделкино

«НЕДЕЛЯ БАХА» В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

1

В 1979 году мне удалось побывать на очень интересном Баховском фестивале в Западном Берлине. Он произвел на меня большое впечатление, но откликнуться на него мне не позволили очередные работы. И свой долг перед Бахом я смогла выполнить только недавно.

Много лет Западный Берлин был для меня загадкой. Я получала самую полную информацию о нем каждый раз, как приходилось туда заезжать,— и об истории его образования, и о числе населения, числе безработных, числе промышленных предприятий, числе культурных учреждений, числе, числе — а лицо? Что это за город, у которого нет страны? Население, оторванное от народа? Нечто отрезанное, но не продолжаемое.

Сперва, в первые годы, когда я проезжала его как станцию (Берлин — Zoo), лицо его, в ярком блеске рекламных огней, возникало в окне поезда, как ярмарочное, показное, зазывное нечто. Ярмарка — это временное явление, палаточное, нарядный городок временного значения, построенный от случая к случаю, возникающий периодически... Но сперва он ослеплял своей яркостью по сравнению с совсем другим, соседним Берлином

столицей Германской Демократической Республики. Но за этим последним — в первые годы еще слабо освещенным Берлином лежала целая страна, лежал народ,— и они росли, развивались, светлели своими огнями, богатели своей культурой — развивались в своем новом социалистическом направлении, они двигались планомерно в будущее — и за ними все ясней и глубже раскрывалось их прошлое, лучшее, что было в их прошлом,— гениальная немецкая классика. А вот рекламное разноцветье Западного Берлина,— этого Берлина — Zoo,— казалось мне с каждым разом тускнеющим. Может быть, потому, что оно никуда не росло.

Я старалась за рамки отвлеченной, номинальной информации — заглянуть в сердцевину этого новообразования, рост которого как будто не двигался, а только распухал на месте.

На машинах сперва нашего посольства, а потом консульства в Западном Берлине я его как будто «обозрела» и даже побывала в его культурных предприятиях, музеях, памятных местах. Мой спутник из нашего консульства поводил меня по залам рейхстага, политого кровью советских воинов, над которым они десятки лет назад водрузили советский флаг.

Все было в Западном Берлине вперемежку: совсем как на ярмарке,— угроза побитого недавнего прошлого, картинная галерея далекого прошлого, зеленые ростки соседней новой культуры в обществе наших друзей, издающих свой журнал, устраивающих хорошие выставки (в том числе и выставки советских художников); пышные универмаги, набитые товарами крупнейших капиталистических стран, посылающих сюда, на лихорадочный ярмарочный сбыт переизбыток — превышающий домашний спрос, товарную отсебятину. Павильоны Америки, Франции, Англии для дипломатов. Все это «с годами», как мне кажется, как-то ветшает, тускнеет, заменяется изделиями фирм «филиалов», особенно — ходкие лекарства ФРГ и Англии, все это «не лучше и лучше», как по соседству в ГДР,— а «хуже и хуже», отражая кризисные состояния капиталистической промышленности. Наконец, побывала я и в действительно прекрасном (по акустике и архитектурному оформлению) новом концертном зале Караяна, где он проводит (проводил — так как сейчас прихварывает и появляется все реже и реже) свои замечательные кон-

церты и соревнования дирижеров, в том числе и наших. Друзья именуют это здание, на восточный манер, вместо караван-сарая «Караян-Сараем»...

Казалось бы — чего-чего, а уж «Западного Берлина» мне довелось «наглотаться». Но по мере накопления так называемой «информации» — я все меньше и меньше могла представить себе в живом историческом облике этот странный город-отрезок («Берлин — Zoo»). Почувствовать его как целое. Пережить как живое целое. Дотронуться до его сердцевины. Уловить биение его сердца,— простое, человеческое, не укладывающееся ни в числа, ни в наименования...

И вот, наконец, летом 1979 года советские друзья прочитали мне длинные, солидно изданные, завлекательные проспекты предстоящего в Западном Берлине увлекательного события — «Недели Баха». Бах — великий сын всего лучшего, что было в немецкой мирной культуре; чья гениальная музыка перешла по наследству ко всему человечеству и завершила, по слову Альбера Швейцера, полифонический цикл развития музыки. Он должен был буквально озвучить Берлин — Zoo, зазвучать в его церквах, концертных залах, музыкальных школах, замке Шарлоттенбург на целую неделю.

По слепоте, лишившей меня чтения, разобраться самой в программах было невозможно, и я наугад выбрала — Баха в церкви св. Матвея с ее хорошим органом, и Баха в «Капелле» замка Шарлоттенбург — мечте всех органистов. Так началась моя совсем особая — сердцем — разгадка Западного Берлина.

2

Лето в полном разгаре. Сухой запах городских улиц, минута езды до «границы» с востока на запад, салюты под козырек знакомых «пограничников — и консульская машина переносит нас в кратчайшее время из нашего мира — в чужой, в призрачный мир города без страны, населения без народа. Евангелистская церковь св. Матвея — скупая в своих очертаньях снаружи, бедная в своем убранстве внутри, наполняется публикой. Поскольку мы — молодой вице-консул Советского консульства и я — приехали по пригласительным билетам, разосланным очень большому количеству дипломатов всех (или почти всех) стран мира, я не пережила стоянья у касс, не знаю коли-

чества и состава слушателей, различаю слеповато соседей, еще не разбираюсь в них. Те, кто любит музыку, не может жить без нее, всегда несколько сродни между собой, и посетители наших филармоний постепенно привыкают друг к другу... Но в церкви св. Матвея были чужие люди, и мы почувствовали их только в самом конце концерта.

Орган — великий инструмент, царь всех инструментов, с могучими, только ему одному присущими приемами звучания, созданный в основном для строгого многоголосья полифонии. Нужно знать и чувствовать его язык, понимать его выражения. И, конечно, признанным композитором органа, привычным для уха и любимым для слушателя, всегда был Иоганн Себастьян Бах, сам лейпцигский органист. Но уже на этом начале «Недели Баха» — почувствовали мы сразу некую предумышленность в программе. Нам дали коротко (почти мгновенно) насладиться Бахом, прозвучавшим навстречу слушателям, как хозяин, открывающий двери своего дома. А потом он как бы сразу уступил место «гостям». Дальше — Бах исчез.

Программа была составлена необычно. Возле фамилий композиторов стояли даты их рождения и смерти, впрочем иногда без даты смерти. Дата рождения указывала нам совсем молодого современника. Мы выслушали старого теоретика полифонии Кунау, на книгах которого учился восемнадцатый век. И выслушали, после сухой ученой музыки — модерниста, пожелавшего высказаться на старом органе. Восприятию нашему как бы предложено было понять, что современная ультралевая музыка, невыносимая для слуха, лишенная последовательности, остающаяся без развития, короткая, как набор слов, которым некуда развиваться, которые рассыпаются, лишенные нити смысла,— это законное продолжение языка полифонии, языка Баха. Но орган исторгал перед нами несвойственные ему, царю инструментов, бессвязные звуковые вскрики, вопли, мучительные скрежеты. Я не называю фамилию молодого композитора, может быть, он уже «знаменит» и очень моден. Но полифония — это строгая логика музыкальной речи. К царственному органу могло бы по-братски подойти могучее содержание музыки Шостаковича, железная логика его музыкального языка, осмысляющего то, что происходит на нашей маленькой планете, пробивающего путь к светлому будущему... Ес-

ли б Шостакович писал для вещего органа!

Но мы сидели и слушали язык агонии распадающегося, изжившего себя, прогнившего западного мира, смертные судороги западной культуры.

После концерта за нами, из глубины церкви, раздались аплодисменты, хотя люди вокруг нас расходились молча. Аплодисменты,— движение человеческих рук, исходящее из внутреннего состояния человека,— бывают очень разные, и оттенки их выражают разные чувства. Есть бурные, искренние, есть формальные, есть одобрительные, с оценкой прослушанного, и есть вызывающие, за «моду», как свой протест отсталости окружающих людей. Все это очень легко распознается, когда часто их — громкие аплодисменты — приходится слушать, и не только слушать — самим в них участвовать. Эти — с оттенком вызова — были явно «за моду», за кажущееся «передовым» в искусстве.

Было еще светло, ветер улегся, но люди расходились торопливо, без оживления, мне показалось даже, что с некоторым «конфузом»,— никаких обменов впечатлениями, молча. Я впервые почувствовала живых людей Западного Берлина — они не были однородны. По крайней мере в их отношении к искусству: «левацкая часть» в явном меньшинстве и «старомодная», «конформистская часть», как любят называть в капиталистических странах традиционалистов в искусстве, как будто в большинстве.

Эти беглые, поверхностные, конечно, впечатления от первого концерта на «Неделе Баха» — углубились и стали очень ярки на прощальном концерте в замке Шарлоттенбург.

3

Замок Шарлоттенбург — своего рода остров искусств среди ярмарочно-торгового разлива Западного Берлина. Внутри он сохраняет все свое художественное великолепие, снаружи стоит как бы на отлете, лицом к природе,— зелень, свежо, хорошо, по-загородному легко дышится. Там, двигаясь вместе с публикой, мы побывали сперва «в галереях», где происходила первая часть концерта,— и после в «Капелле» замка, где был орган. В «галереях» (узком пространстве, опоясывающем внутри здание) нам предложили, сославшись на чье-то запоздание, задержку

какого-то исполнителя — прослушать чудесную камерную музыку испанского барокко, с певицей, хорошо передавшей дух и мелос старинной испанской музыки. А потом — но прежде этого «потом» пережилось нами нечто приятное и уютное, напомнившее нам Москву. Соседи — милая и доброжелательная чета среднего возраста из той интернациональной среды любителей музыки, которые легко и сразу вступают в общение.

Есть такая черта «обходительности», «услужливости», охотной помощи более опытного человека — менее опытному, которую я почему-то всегда встречаю в нашей Консерватории (Большом и Малом зале) и ассоциируют с Москвой. Но я встречала ее и в Лондонской опере, и на улицах Венеции, и в городках Голландии — она, должно быть, присуща человэку, особенно педагогам и пожилым — в их отношениях с молодыми, или очень юным — к седеньким старушкам.

Соседи наши на галереях — пожилая, статная немецкая чета, взяли нас под свое крыло, увидя, что мы тщетно ищем место: потеснились, посадили рядом.

Не помню сейчас, как и о чем мы разговорились — о странной программе в церкви св. Матвея (о, ужасно!.. oh, schreklich! — подхватила она); о тенденции, показавшейся нам на таком концерте Баха без Баха (это сейчас модно! — подхватил он). Словом, мы вдруг очутились не одни, мы соприкоснулись с живыми западноберлинцами на почве профессиональной, вкусовой, слушательской близости.

Казалось бы — это ничтожная, обыкновеннейшая случайность. Но есть сейчас в самом профессиональном мире искусства, в самом простом факте общения людей идеологическая, очень важная для пропагандиста сторона. Мы — старейшее поколение советских писателей — были воспитаны на ясно выраженных определениях классовой стороны искусства. Мы на всю жизнь запомнили марксистско-ленинскую формулу «бытие определяет сознание»,— не в ее катехизисной, чисто внешней ограниченности, а со всеми сложностями, возможными отклонениями, идейными направлениями,— с применением другой марксистско-ленинской формулы «истина конкретна», этого гениального ленинского оружия против формализма, бюрократизма, закостенения, понимания закона как антидиалектического начала, не имеющего исключений.

Короче говоря,— профессиональное общение людей искусства самых разных политических систем — широкая область для узнавания возможных друзей и противников, для выработки дружественной атмосферы для диспута и пропаганды. В самом начале двадцатых годов к большевикам хлынуло множество «крайних левых», которые утверждали, что именно они, их левизна служат революции. Но мы помнили ленинское мудрое слово о «болезни левизны». Мы применяли его не только в политике. Мы учились у Ленина чувству огромного массива времени, массива человечества и его тысячелетней истории, массива народа и его вековой культуры, мы учились понимать коммунизм, не как «заскок» в сторону, в отрыве от всего прошлого, всего лучшего, что создано было трудом и гением народных масс,— а как мудрое продолжение и развитие человеческой истории,— и очень скоро «больные левизной» перестали быть у нас передовым фронтом нашего искусства. И в общении профессионалов — восторжествовала диалектическая формула: «истина конкретна».

Все это невольно приходило мне в голову, когда мы вышли на светящуюся рекламными огнями площадь вместе с нашими новыми знакомыми...

Конечно, они не были друзьями советского народа. Они не были ни марксистами, ни ленинцами, ни умеренными «социал-демократами». Вряд ли даже были они в какой-то мере политиками. Но вряд ли можно предположить, что они хоть на час, на два увлеклись бы в прошлом антигуманным и пошлым явлением гитлеризма или же благосклонно взглянули бы в наше время на марширующего по улицам их города неофашиста. Их культурная, отстоявшаяся за много прошлых лет, дружелюбная вежливость к соседу, их вкус к родной классике и любознательность к чужой культуре, их открытость в беседе и непринужденность высказываний были нам симпатичны, вселяли уважение. На прощание, узнав, что мы — из страны Ленина, они сказали, что уже купили туристские путевки в Советский Союз,— очень интересно посмотреть своими глазами...

Мы ездили в Западный Берлин послушать Баха. Но получили что-то больше,— и я, в частности, подошла к какому-то очень простому, но совсем для меня новому пониманию Западного Берлина.

Мне всегда представлялся он чем-то вроде сборища случайных людей, дипломатов, корреспондентов, торговцев и просто ищущих заработка, чем-то беспочвенным.

Но вот мы соприкоснулись с живыми западноберлинцами, с теми, кто родился, учился, работал попросту, обывательски, вне политики в своем городе, на своей улице, со своими традициями. В информациях, дающихся по Западному Берлину, не учитывается этот не пришлый, не въехавший сюда, а постоянный элемент населения, он утопает в общих цифрах жителей. Но он что-то держит в себе, он не однороден социально, он — в том малом опыте нашего столкновения с ним,— здравомыслящ и разногласен внутри себя,— это, как мне кажется,— если не друзья, то и не враги подлинному духовному росту немецкого народа — его социалистическому будущему. И во всяком случае — трудно предположить, что они очень-то радуются размещению поблизости от них американских ракет!

1981

ЛЕТО В БАББАКУМЕ

1

Об Англии у нас печатают очень много. Не со всем, что пишется, можно согласиться, начиная с мелких бытовых подробностей и до больших выводов. Мудрый Стендаль сказал в своей книге о путешествии по Франции замечательные слова — можно десятки лет прожить в Париже и ничего не знать о Франции. Можно несколько лет прожить в Лондоне в узком социальном кругу и не иметь правильного суждения об английском народе и английских традиционных обычаях.

Я помню превосходные очерки Овчинникова об Англии и Японии, но есть и другие попытки отразить английскую жизнь, с которыми трудно согласиться. Это и заставляет меня взяться за перо и поделиться с читателями кое-какими воспоминаниями.

Лет пятьдесят назад мой старый друг, покойная ныне армянская коммунистка Флора Варданян, рассказала мне

о замечательном эпизоде ее молодости — уже тогда бывшей для нее далеким прошлым. Этот рассказ, который она берегла в своей памяти — до самой смерти — был первым моим знакомством с тем традиционным явлением, какое впоследствии удалось наблюдать и в жизни,— с английским гостеприимством.

Флора,— стоявшая близко к тогдашней семье Степана Шаумяна и его окружению,— была одной из первых армянских девушек, пожелавших продолжить свое образование и поступить в университет. Для того времени,— да еще в городах Закавказья, да еще армянке,— это было почти несбыточное желание. В России не было пути в университеты для девушек. Заменявшие их Высшие женские курсы еще только-только открывались (Герье — в Москве, Бестужевские — в Петербурге) — словом, ей нужно было попасть за границу. И она, не в пример тем, кто стремился в швейцарские университеты, выбрала Англию. Подготовилась по языку. Обратилась за помощью к существовавшим тогда армянским благотворительным обществам и к окружению Шаумяна. Ей помогли, дали на первый год необходимые средства... И Флора, — армянка из патриархальной армянской семьи, где бабушки еще носили повязки вокруг рта как обет молчания в присутствии чужих мужчин (я еще видела таких бабушек, когда впервые попала в Армению),— одна, самостоятельно, переплыв на пароходе Ла-Манш, ступила на землю Англии.

Вот она в Лондоне — капиталистическом центре всего тогдашнего мира, городе угля и железа, дыма и знаменитых туманов, городе кебов и бобби,— совсем непохожих на тогдашних царских городовых. Ей мечталось о дворцовых старинных зданиях Оксфорда и Кембриджа в зеленой Англии, но лондонские армянские семьи, давно англизировавшиеся, с фамилиями, звучавшими на английский лад (опять вспоминаю, как сдружилась позднее с английским коммунистом, Фрэнком Эпрехемьяном вместо Абрамьяна!),— не советовали ей и мечтать о старинных университетах, имевших и женские колледжи — образование в них стоило невозможно дорого,— недоступных и для огромного большинства англичан. Тогда Флора написала письмо — просто по адресу: Лондон, такому-то. Этот «такой-то» был знаменитый, известный по переводам во всем мире, читавшийся, что называется, взасос и на-

шей учащейся молодежью, и прогрессивной интеллигенцией, философ-автодидакт,— Герберт Спенсер.

Великий для своей эпохи писатель получил письмо и тотчас на него ответил. Флора берегла это письмо, пока оно не истерлось и не превратилось от частого чтения в бахрому,— я уже не застала это письмо даже и в бахромчатом виде. Но Флора знала его наизусть.

Герберт Спенсер писал незнакомой армянской девушке из далекой России, что от души одобряет ее желание учиться. Советовал ей немедленно подать заявление в Лондонский университет, куда он от себя напишет рекомендацию. А так как сейчас на две недели университет будет закрыт по случаю рождественских каникул, он предлагает ей провести это время за городом, в поместье у его близких друзей, где ее радушно примут и ознакомят с английскими обычаями, а также помогут лучше овладеть языком. И он приложил подробный адрес, куда надо было поехать, с указанием поездов, пересадок, часов и станций...

И Флора все выполнила,— подала заявление, поехала по адресу. Здесь при рассказе лицо ее принимало удивительное выражение пережитого праздника,— дети так вспоминают свою первую елку. Видно было, что хозяева — не самые богатые в деревне или в округе,— дом не «мэнор», хозяин не лорд, не баронет, вообще титулы не упоминались ею. Но было много веселых, радушных людей, не различишь вначале, кто хозяева, кто гости, был большой заснеженный парк, ледяной каток, в конюшне верховые лошади, для женщин дамские седла, на которых сидят боком, чему она едва научилась; было катанье с гор, лыжи. Елка в большом зале, а вокруг нее — танцы, игры в шарады, в шахматы, и каждый чувствовал себя на свободе, без принужденья, выбирал, что ему нравилось. Флоре нравилась библиотека, альбомы со старыми гравюрами, нравилось разговаривать с теми, кто был гораздо старше и охотно отвечал на вопросы; нравилось, что задолго до завтрака в спальню приносят горячий крепкий чай — безо всего, только чай,— и она его выпивала до того, как одеться. Сперва ей не понравилось умываться из таза и без крана проточной воды. Но за две недели она так привыкла к этому бережному отношению к воде, что потом и дома его переняла. За завтраком каждый выбирал, что хотел,— всегда были

овсяная каша, тосты (поджаренные и еще теплые ломти белого хлеба), масло, молоко, ветчина и яйца («бэкон энд эггс»), маленькие жареные рыбки, почки в соусе, мармелад (джем), чай или кофе, — кому что хотелось, но английский час она полюбила. И она привыкла к тому, что перед самым сном, перед тем как подняться по лестнице наверх, в спальни, хозяйка у самой лестницы вручала каждому гостю и члену семьи стакан какого-то душистого питья на ночь, чуть пахнувшего мятой. «Как жаль, что я не спросила рецепта этого питья»,— неизменно добавляла Флора к концу рассказа. И вот что было важно в ее рассказе: за две недели она многое узнала об английском народе и об английских обычаях, об истории Англии, истории той части Англии, где было это поместье, о политическом строе, системе выборов в парламент,— словом, обогатила себя конкретными знаниями о стране, где ей предстояло учиться. Никто ей не расхваливал свою родину, не говорил, что она лучшая в мире, и вот что особенно поразило ее в английском языке: «Удивительным мне знаете что показалось, и я вначале все делала ошибки. У нас говорят «моя страна», «в нашей стране», а у англичан «моя» и «наша» в применении к их собственной стране как-то не принято говорить, но только так: «in this» (в этой) country (стране)».

Могут возразить мне, что ведь это было бог весть когда и хоть не «мэнор», не лорды и леди, но во всяком случае люди, видно, зажиточные, помещики, среднее дворянство, «джентри». Я не спорю. Просто привела рассказ старой коммунистки, о котором нынешняя армянская молодежь, может быть, и не знает. Флора Варданян в первые годы установления Советской власти в Армении много работала в учреждениях, ведавших осиротелыми, бездомными детьми, оставшимися после массовой резни армян в Османской Турции в 1915 году.

Но перехожу от этих строк из далекого прошлого к совсем недавнему прошлому, пятидесятым и шестидесятым годам нашего времени, когда мне самой впервые довелось увидеть меловые скалы Дувра и гофрированные, как гармошка, словно сцепленные друг с другом, бесконечные жилые дома старой английской городской архитектуры.

2

До революции мы с сестрой успели объездить и пешком обойти почти всю среднюю Европу. Но в Англию мне удалось попасть, как я уже сказала, только при Советской власти. Послом нашим в Лондоне был тогда товарищ Малик, и в первый же день моего посещения посольства он мне вручил драгоценный подарок: самое последнее английское издание путеводителя по Англии, толстый том, снабженный иллюстрациями и объемистыми статьями. Начало его,— неожиданное, остроумное и очень умное,— я до сих пор помню:

«Англия в прошлом всегда отличалась свежестью своих пищевых продуктов и полным неумением их вкусно приготовить, в настоящее время продукты питания потеряли у нас свою свежесть, а вкусно готовить их мы так и не научились».

Это хорошо, невольно думает читатель, вместо зазнайства других путеводителей, где только и читаешь о процветании и превосходстве!

В английском выставочном павильоне на Брюссельской всемирной выставке — было как раз наоборот, во всем Англия объявлялась первооткрывательницей — от бутербродов, изобретенных каким-то лордом, который не любил мешкать с едой и сразу заворачивал мясо в хлеб — и до атомной станции (что, кстати, было не совсем справедливо хронологически!). Но остроумный путеводитель сразу расположил меня в тот первый приезд к Англии, к ее изучению, к характеру ее народа.

Что касается до кулинарии, то заранее скажу — меня никто в Англии не угощал, ни у кого на званых обедах я не была, нигде, ни у клерков, ни у лордов, не гостила (кроме как у писательницы Наоми Митчисон, но то было в Шотландии, где и нравы, и народ — другие), а из своих впечатлений от еды и питья вынесла только одно: для меня было вкусно в Англии то, что подешевле, и это самое дешевое мне казалось самым вкусным — рыба с жареной картошкой (фиш энд чипс), шиллинг за порцию, да еще стакан пива в придачу. Эта еда подавалась во множестве английских ресторанчиков или харчевен. Мне подумалось, «харчевня» — слово бедняцкое, единого корня «харч», «харчо», где каждое воскресенье в двенадцать часов дня я обедала вместе с тысячами тру-

жеников Лондона, приезжавших передохнуть от лондонского тумана в недалекий (час езды поездом) курорт Брайтон. Там от вокзала к морю шла прямая улица с такими харчевнями по обе ее стороны... Приятно вспоминать на глубокой старости, сколько у меня было тогда смелости, самостоятельности, здравого смысла, как неутомимы были мои ноги, как вглядывались зоркие глаза в каждую мелочь быта, как не уставал мозг воспринимать и воспринятое анализировать, сравнивать, обобщать.

Хочется сказать молодежи: не теряйте время, свои самые восприимчивые годы на пустые удовольствия! Карты, выпивки, застолье, рестораны, бары, болтовню — на все, что зовется времяпрепровождением. Время уносит (препровождает) их, как бегущая вода уносит мусор, ничего не оставляя для памяти.

Никто не приглашал меня к столу, но зато я сама угощала гостей. Вот как это было в первый раз. Темы, привлекавшие меня в ту пору, были — средняя и начальная школа в Англии; положение преподавателей начальных школ, их личный и школьный быт. В Лондоне, сколько помню, было тогда Общество англо-советской дружбы, и мне помогли познакомиться с известным марксистом Ротштейном (он сейчас президент этого общества) и его приветливой пожилой сестрой. А та, в свою очередь, познакомила с одной из учительниц начальной школы самого бедного и грязного предместья Лондона, кажется, Уайтчепеля. Знакомые по Москве англичане, работавшие у нас переводчиками, предостерегали меня: только не воображайте, что вы увидите в Англии страну Диккенса! Русские всегда ищут там Диккенса. Диккенс — архаизм, давным-давно изжитый! Но несмотря на все эти предостережения, может быть, потому, что я пребывала не в верхах английского общества, а в самых бедных кварталах лондонского населения и впивалась глазами и слуховым своим аппаратом именно в жизнь бедняцкой улицы, в ее движение, как большой реки с берегами тротуаров по обе стороны — я всюду вдруг находила черты и черточки неумирающего Диккенса.

Уайтчепель! Да, наверное, он и раньше был таким,— Лаймхауз,—китайцами населенный дом, у которого было якобы небезопасно останавливаться — и теперь, как тогда,— я не воспринимала их ни через свое социальное

положение, ни через книги, ни через детективы, а просто как жительница этих улиц, возможная, воображаемая чем-то духовно-душевно принадлежащая к этому миру. Безбоязненно, по-свойски,— совсем так, как это было со мной в арабских кварталах рабочего Гренобля во Франции, в неаполитанских портовых переулках нищеты и грязи, и на знаменитой улице в Марселе, где когда-то впервые прозвучала «Марсельеза» Роже де Лиля и куда сейчас ходить «приличной публике» не положено.

Во многом это чувство со-причастности к самому бедному человечеству, к тем, кто в пролетарском гимне называется «ничем» — («Кто был ничем, тот станет всем»), воспитывается многократным чтением таких бессмертных авторов, как Диккенс. Чтение Диккенса пропитывает постепенно впечатлительную душу читателя великим, очень-очень важным для человека и человечества умением с о-с т р а д а т ь. Оно благотворно. С ним легче и прекрасней жизнь. Оно сильнее всякой формы сочувствия, жалости. Оно не имеет в себе ни капли чего-то оскорбительного для другого человека.

Сострадание — это умение на короткое или долгое время перевоплощаться в чужую судьбу и чужие условия жизни и войти в душевное состояние другого человека, как если бы они вдруг сделались твоими собственными. Так случилось со мной, когда я позвала нескольких англичанок в гости, на угощение.

— Вы хотите увидеть, как мы живем, познакомиться и поговорить с несколькими учительницами из разных начальных школ?— начала свою речь пришедшая ко мне англичанка-учительница.— Так это лучше сделать у меня на квартире, а не здесь, в гостинице... Человек пять-шесть я созову, больше у меня и не поместится. И никакого угощения не надо!

Но я запротестовала,— угощение обязательно нужно, чтоб легче разговориться, проще себя почувствовать... Вынула из сумочки фунт стерлингов — хватит на печенье и чай? У моей новой знакомой даже зрачки расширились — хватит, конечно. И в положенный час она зашла за мной, уже принарядившись в воскресный костюм. Мы шли около часа; кое-где проехали в двухэтажном автобусе. Улицы становились все уже, исчезали местами тротуары. И вот высокий для старой Англии

четырехэтажный дом, облупившаяся штукатурка, узкий вход, темная лестница, пронизывающий запах аммиака. Возможно, и сейчас оно так. И так было при Диккенсе. Таких домов немало в «милой старой Англии». Они приносят хороший доход их владельцам. Это жилище для бедноты, улей из множества однокомнатных помещений с кухонькой — без всяких удобств. У многих нет даже воды — надо ходить за ней к общему уличному крану, так по крайней мере мне рассказали. Но вот что я видела сама: каждый этаж выходил на площадку входными дверями нескольких отдельных квартирок. И на каждой площадке была для них одна общая уборная. Они-то и пахли на всю лестницу аммиаком. У моей новой знакомой в однокомнатной квартирке была занавесочка, отделявшая кровать от большого стола. Вокруг него уже сидели шесть разного возраста женщин с очень интеллигентными настороженными лицами. На маленькой плитке кипел чайник. Хозяйка обнесла нас блюдом с тонко нарезанным кексом.

Постепенно все мы, представившись друг другу и назвав свои профессии, разговорились. И я жадно записывала многое новое для себя. Среди учительниц были две коммунистки. Они допускались городским начальством к преподаванию, но повышение, звание директора школы было для них недоступно.

И какое-либо упущение, которое могло сойти с рук учительнице-некоммунистке, для этих последних могло оказаться роковым.

— А все-таки нам легче — мы в коллективе,— сейчас же добавила одна из коммунисток. И улыбнулась. Улыбка ее была для меня чем-то вроде открытия, многое померещилось мне в этой улыбке: и желание не подчеркивать профессиональную разницу между учительницами; более благополучное положение беспартийных; и классовую солидарность; и чуть-чуть гордости за принадлежность к коммунистической партии.

Мне рассказали о состоянии самих школ. Их старые здания не ремонтируются, плохо отапливаются, инвентарь изношен и почти не заменяется новым. Каждое улучшение, самое маленькое, надо выпрашивать месяцами. Иногда разбитые оконные стекла сами педагоги заклеивают бумагой. В некоторых школах нет элементарных удобств, дети бегают на двор.

— В нашей школе,— сказала одна из учительниц,— нет даже угла для раздевалки, дети валят одежду в кучу, не хватает вешалок. Нужда острая в учебниках, в книгах, тетрадях, в кипяченой воде для ребят. Пишем десятки жалоб, без конца ходим к начальству, хочешь от всей души помочь детям, душу вкладываешь в преподавание,— но что мы можем... Но самое страшное — угроза увольнения, закрытия школы, хотя бы на время с прекращением жалованья.

И тут моя хозяйка вдруг как-то неожиданно для меня обвела глазами свою крохотную квартирку...

Увольнение. Прекращение жалованья. Каждый месяц с железной точностью наступает срок уплаты из этого жалованья за жилье миллионеру, хозяину этих ужасных лачуг. А если нет — чем уплатить? Не помогут никакие мольбы и просьбы, опять — словно страничка из Диккенса, из «Крошки Доррит». И во взгляде, каким хозяйка обвела свои бедные стены, опять мелькнуло для меня нечто вроде открытия — любовь! Хозяйка любила эти бедные стены, она держалась за них, они сохраняли ее бытие, отделяли от чужого внешнего мира, от холода, тумана, ветра, слякоти, безвыходности, бездомности...

Я представила себе в этом одном взгляде весь ужас капитализма. И рядом с видением беспомощности, безнадежности, безвыходности уволенного человека, лишившегося крыши над головой (улицу, улицу, путь в никуда, без опоры и без надежды), я вдруг увидела нашего советского жителя удобных новых квартир с санузлом и, главное, без всякого забытого нами, невозможного в нашем строе, чувства обреченности. Сколько из нас непрерывно ворчит на то, на се, «отняли на полдня горячую воду», «свет потух на 2 часа» и сколько таких ворчунов не платят за квартиру месяц-другой, а то и полгода, и никто, никакой хозяин (хозяев нет, хозяин государство) не смеет их выгнать на улицу... Совсем другое самочувствие, другой внутренний строй отношения к внешнему миру и сам этот внешний мир — какой он другой. Словно в капле воды, отразился весь солнечный спектр,— отразилась для меня пропасть, отделяющая мир капитализма от мира социализма.

Устроив эту встречу, я хотела послушать, научиться, узнать, как живут мои «гостьи», но по мере нашей бе-

седы — гостьям говорить было все меньше охоты. Они тоже хотели послушать меня, узнать, как обстоит у нас в Советском Союзе со школами для начального образования, с положением педагогов этих школ, условиями их быта, жалованьем, жильем, помогают ли и как профсоюзы работникам просвещения, какова роль государства в ремонте, открытии и закрытии школ, роль частной помощи, благотворительности, попечительства, что такое шефство над школами у нас, принято ли давать учителям-мужчинам более высокое жалованье, чем учительницам — словом, множество было вопросов... К стыду моему, я оказалась не очень-то подготовленной к ним. И передо мной невольно всплывали наши дорогие, великолепные рекламные издания для заграницы о наших дорогих, великолепных предметах показа тем, кто там, за рубежом, кто о нас думает бог весть что, какие мы «бедненькие», «замухрышные», «серые»,— а мы вот, в красочных рекламах, в блестящем оформлении, такие же, как и вы. И смутное чувство недовольства этой рекламой, что-то вроде впечатления от нее «и мы как вы», «и мы не хуже» заставили меня с какой-то тоской вспомнить время, когда наши великие социалистические октябрьские дипломаты — Карахан, Чичерин — выезжали «туда» в обычных пиджаках, гордо рекламируя именно то, что мы — другие и у нас не так, как у вас... Но это между словом, главное же было в чувстве неизвестности или недоходчивости до незажиточных слоев населения ультракапиталистических стран именно **хребтовой** пропаганды **по основам** нашего строя, ставшим для нас столь привычными, что мы сами начинаем, живя в них, забывать их, как забываешь воздух, которым дышишь.

Словом, опять же возвращаясь к нити рассказа, они хотели получить от меня как из первых рук сведения о том невиданном, незнакомом, новом, что создает социалистический строй на нашей земле, а я хотела увидеть своими глазами так называемые язвы чужого строя и видела их ярче и лучше, чем они реальность моего собственного мира.

— Трудно нам увидеть все это своими глазами,— сказала на мои речи самая пожилая из учительниц.— Ведь уж очень пышно приезжают ваши делегации в Англию — в каких только гостиницах не останавливаются, что только не покупают... Один из ваших, рабочий по

званию, сказал мне: «Уж очень дешев у вас шоколад, я для детей 10 плиток взял на вокзале из автомата, только шесть пенсов штука!» А шесть пенсов для нас это не пустяк,— добавила она со вздохом.

Не знаю, сумела ли я хоть отчасти показать моим гостям светлую сторону наших собственных прав при социализме, но картину вопиющего бесправия личности при капитализме они показали мне ярко, доказательно, реально. Нет права на труд, отнят труд — потеряна его оплата, нет оплаты — нечем заплатить за жилье и хозяин имеет право тотчас выгнать вас на улицу. Государству нет дела до вас, государство охраняет право собственника, личность хозяина, до человеческой личности («права человека»!) ему нет никакого дела, для него существует лишь право частной собственности и личность собственника. Подобно капле воды, отразившей весь солнечный спектр,— открылась для меня в этой встрече огромная пропасть, отделяющая капитализм от социализма. И самым сильным впечатлением оказались для меня, как для писателя, живущего образами и так называемой психологией, любовь и ужас, мелькнувшие во взгляде у моей главной гостьи, каким обвела она стены своего убогого жилища: любовь к этим стенам и ужас при мысли об их потере...

3

Ленин уважал английский рабочий класс, ходил на их митинги по старым церквам, где эти митинги устраивались. К рабочему классу у нас, советских командированных, во избежание дипломатических осложнений, ходу не было. Но мне хотелось пожить среди населения,— тех, кто, как мои гостьи-учительницы,— тяжелым и не очень прочным трудом добывает свой кусок хлеба.

В Англии есть в Девоне очень дорогой и нарядный курорт Торки (пишется Торкэй, произносится Торки). По вечерам, если смотреть на него с моря, он кажется россыпью блестящих драгоценных камней. Но с двух сторон его окружают — не знаю, как правильней назвать их,— дачные поселки, слабо освещенные по ночам, с дешевыми пансионатами и отелями, где можно очень недорого провести свой месячный отдых,— со своей гаммой развлечений, о которых скажу после,— но с теми

же дарами природы — мягким морским воздухом, солнцем, купаньем, загораньем на пляжах...

Я попросила знакомого работника АПН устроить меня в этой полосе Девона, подешевле, на две недели жизни, для которой скопила «собственные», бесподотчетные деньги от положенного мне по командировке расхода на питание. Товарищ из АПН позвонил куда-то, заглядывая в книгу с летними объявлениями,— и сообщил:

— Собирайтесь, едем в Девон! Заказал вам дешевую комнату в местечке Баббакум! — Он произнес это странное название не совсем свободно,— оно было ново для него самого.

Ехали мы по зеленой Англии из дымного Лондона с остановками, с выпрыгиваниями из старой советской машины на интересных местах, и я на деле узнавала древнюю фантастику этого необыкновенного острова, в любой своей точке отдаленного от моря и океана не больше чем на сто с лишним километров. Вся прелесть шекспировских полян и лесов с их волшебствами,— аккуратно растущими в кружок травами, странными каменными плитами различных археологических названий, дольменами, о которых мы в школах учили; столбами каменными, сложенными из гигантских плит жилищами доисторического человека. Но интересней их эти воистину непонятные кружки трав — среди ровной поверхности, покрытой обычной ровной и однородной травой,— среди нее вдруг, словно феи танцевали ночью, нельзя описать словами, можно только нарисовать эти странные зеленые колечки, словно их посадил садовник. Как, в самом деле? Каким образом? Ветер — круговым дуновеньем? Змеи — ползком? Я попробовала было рукой выправить их и смешать с растущей вокруг обычной травой, но они были упруги, лежали крепко, будто разбросанные тяжелые веночки... И спутник остановил мою руку: не надо! Какое-то суеверие возникало от видения этих непостижимых игралищ природы и доисторических остатков чудовищно далеких времен... Мы проехали эффектный курорт Бат, забрели далеко в сторону, чтоб снова для меня повидать темные скалы «Лендс-Энда» — конца страны, последней точки английского острова, за которой грозно урчал и гремел океан, бросая на берег седое кружево взметенных волн. Словом, до Баббакума изрядно поколесили, пользуясь случаем, по этой южной

части Англии, покуда не окунулись в мягкий, влажный, ласковый воздух Девона (графство Девоншир) и впереди засинело спокойное бирюзовое море.

А прямо на утесе над этой тихой бирюзой возник остроконечный профиль отеля. Мы приехали на мое летнее жительство — в Баббакум.

Среди всех форм добывать себе хлеб насущный в Англии (а может быть, и в других капиталистических странах) есть один вид бизнеса — эксплуатация жилых зданий. Собрал человек нужную сумму и снимает подходящий дом весь целиком для сезонного использования. Чтоб заработать за этот сезон больше, чем выплаченные деньги. Ну, например, для гостиницы, пансионата, театра,— а через год или сезон — глядишь, в здании уже другой хозяин, другая труппа актеров, другой предприниматель. Мой отель, где мне по телефону отвели самую дешевую комнату,— был как будто результатом такого односезонного бизнеса.

Навстречу нам вышли сами хозяева,— муж и жена с озабоченными лицами, как у начинателей дела, быть может совсем для них нового. За все две недели я ни разу не видела, чтоб кто-то был у них в услужении, помогал им вести этот двадцатикомнатный корабль по трудному обслуживанию постояльцев, их кормлению, уборке комнат, мытью посуды, получению нужных продуктов. Не видела я и такого обычного гостиничного инвентаря, как печатные рекламы местности, стопки продаваемых или раздаваемых газет, всякого рода сувениров для продажи. В крохотном садике ни разу не сушилось белье, не играли ребята,— было ясно, что мои хозяева — молодожены, детей еще нет, трудятся они зверски. Не сразу все это открылось мне. Но вот мы здороваемся, и я вижу в глазах у моей хозяйки явственный испуг и разочарование. В крохотную чердачную комнатку, самую дешевую — перед нами вела довольно неудобная зигзагообразная лесенка на третий этаж, под чердаком, и когда мой спутник понес по этой лестнице наверх мой неуклюжий чемодан, молодожены переглянулись. Испуг — чего? Разочарование — в чем? Их взгляд говорил мне совсем неожиданно: старушка... ей трудно будет... а других комнат, пониже,— нет, все заняты, и они ведь дорогие,— взгляд скользнул, прежде чем встретиться с другим, по моим седым волосам. Я была семидесятилет-

ней «старушкой», но я за год до этого получила значок альпиниста первой степени и чувствовала себя в те годы отнюдь не старой... Чтоб убедить их, взяла да и побежала за своим спутником, отлично знавшим мою резвость. Вот в таком ключе и началось, и прошло мое двухнедельное лето в Баббакуме.

Знакомый апээновец уехал, обещав через две недели доставить меня обратно в Лондон. А я по привычке составила расписание, повесила его в своей подчердачной комнатке на стене, перед трехногим, крепко приставленным к окну столиком, вынула блокнот, собственную московскую чернильницу, собственные лиловые чернила, школьную ручку, которой пишу постоянно, и стала жить. Просто жить, как дома, по всегдашнему расписанию: в восемь часов не евши, не пивши встать и за стол, где уже положены блокноты мои и лондонский дневник, писчая бумага, разрезанная в длину пополам, столбиками, замечательный фаберовский клей в золотистой пластмассовой бутылочке с голубой крышкой, словом, как всегда и всюду. В десять утра хозяйка, деликатно постучав, приносила мне английский завтрак (пишу «английский», потому что он резко отличается от европейского континентального — только односложный — кофе, масло, джем, бриошп или слоеные подковки). На подносе чистенько и аппетитно лежали две копченые рыбки, кусочек масла со слезой — от свежести,— ломтики хлеба, глубокая тарелка с овсянкой или кукурузными хлопьями, маленькая бутылочка, еще запечатанная, с молоком, иногда неизменные ветчина с яйцом... Половину я откладывала на ужин, а кофе (ну какой в Англии кофе! одно название) выпивала. И всякий раз очень красивая бумажная салфеточка, чтоб накрывать оставшуюся пищу. За окно, прямо на крышу, ставить тарелку нельзя было — прилетали птички, садились рядышком и, повертев головками, тотчас склевывали.

До двенадцати я работала. Это не была основная работа, а только подготовительная: переводить с сокращенных, только мне понятных заметок из блокнота и дневниковых записей в особую тетрадь, где материал превращался в своего рода полуфабрикат. Творческое превращение его в художественный очерк совершалось только дома, в своих четырех стенах. А здесь как бы заполнялась для него «копилка памяти», чтоб ничто не

пропало из безостановочного конвейера времени, этого льющегося потока жизни... И все-таки многое из моих заготовок так и соскальзывало из конвейера, не успевая воплотиться...

А после двенадцати меня отрывал от работы аромат ленча. Остальные постояльцы собирались в обширную столовую на веранде, далеко и невидимо для меня. Хозяйка кормила их очень вкусно, судя по этому запаху... Я надевала свой легонький плащ или закидывала его через плечо, спускалась с палочкой для дальних прогулок вниз, в садик, а из садика в переулок, откуда можно было избрать любое направление, печатаемое по четырем сторонам карты большими латинскими буквами,— юг, восток, север, запад... Весь мир, неведомый, еще только познаваемый,— находка за находкой. Человеческое счастье! По крайней мере познание всегда было величайшим счастьем для меня... даже сейчас, в девяносто три года, когда я лишилась зрения...

Если вы относитесь к любой точке земного шара, где вам удается быть, с любовью, она, эта точка нашей планеты, отвечает вам своей открытостью. Вы шагаете по дороге, а земля, все, что растет на ней, что построено и налажено для вас, бежит вам навстречу. Наша планета — огромный магнит, и не только руки ваши способны источать биотоки,— дышит и посылает свое дыханье все, что растет, развивается, дышит вместе с потоками времени, нельзя не получать их здоровое дыханье, выходя на дальние прогулки. Я уже знала, что за моим отелем есть улица Баббакума — с лавочками, жилыми домиками, разными нехитрыми, но необходимыми для жителей учреждениями. Первым моим знакомством на этой уличке была прачечная — уголок общественного быта. Вошла в нее — и никого не увидела. Стояли какие-то станки, столы, на них длинные ящики — но ни служащего, ни хозяина, ни посетителя. Я начала звать громко, кто тут есть — никто не отозвался. Начала разглядывать станки, но мало что поняла. В ящиках был ряд коробок с мыльным порошком, только вынуть их было невозможно. Вошли первые посетители — женщина и мальчик. Увидя меня, женщина улыбнулась, положила на стул свой сверток, вынула кошелек с тяжелыми английскими медяками (до реформы) и принялась действовать. Вынутый медяк она сунула в щелку на ящике, и тотчас,

звякнув,— откатилась крышка ровно настолько, чтоб выбросить наверх одну коробку мыльного порошка и снова захлопнуться. Потом она так же угостила своим медяком другую щелку в большом автомате, и тот открыл свою пасть, куда она ссыпала порошок, а потом аккуратно выложила туда из свертка свое белье. Пасть закрылась, зажурчала струйка воды, автомат начал перестирывать, кружить, мять, мягко жевать и выплевывать в льющейся воде выстиранное белье... А женщина, увидя, что нет ничего со мной и я только стою и смотрю, стала показывать мне дощечки на автоматах, где было написано, сколько положить денег, до какого веса можно вложить белье, где мойка, где сушилка... А вот на вопрос, где же хозяин или заведующий, она только плечами пожала: зачем? Прачечная была автоматом, чисто и точно работала сама и не нуждалась в присмотре. Только поздно вечером приходил кто-то, чтобы собрать заработанные ею деньги. Это было хорошо и удобно,— малая техника общего пользования в девонской деревушке... Прогулка моя длилась почти длинный летний день, за вычетом короткого обеда в открытом кафе,— чашки томатного супа и булочки. Практически я узнала все, что мне нужно — где достать газету, купить хлеб и молоко, лекарство, марки, опустить письмо; какие породы собак имеются у жителей, куда ведут указатели на развилках этой улицы...

Домой я приходила усталая, спать ложилась еще засветло, чтоб не жечь зря лампочку,— и всегда заставала своих хозяев усталыми до изнеможения, но все так же зверски работающими — убирающими, моющими, выносящими мусор, подметающими лестницы и дорожки в саду. Я успевала до полной темноты все-таки записать в блокнот кое-какие свои наблюдения, а главное — внести на отдельный лист всякие выписки из прочитанной местной газетки, какие и где имеются рекомендуемые для осмотра достопримечательности.

Как правило, на первом месте были музеи. Если в Торки, тоскующем по летним развлечениям курортов Континента (с большой буквы!), можно было отвести душу (до некоторой степени), то в этих малюсеньких приморских местечках Девона летние развлечения были другого порядка, близкие к нашим. Все музеи, памятные места, чудеса природы я изучила постепенно, шагая со

своей палочкой по указанным маршрутам. Очень хорош был музей старой английской деревни в отведенной для этого роще. Таких деревень-музеев на природе, где вы знакомитесь с далеким прошлым страны, с ее кустарными промыслами, ее старинным рабочим инвентарем — прялками, веретенами, ткацкими станками, люльками для взбиванья масла, всякой керамикой ручного производства, тканями, кружевами и т. д.— много по всей Европе, есть они и у нас, и у чехов по соседству с нами, а в ГДР довелось мне увидеть даже «личный» такой музей, собранный самим стариком крестьянином, пенсионером,— избу старого немецкого типа, до революции. Один за другим сносил он туда, в эту почти развалину, купленную им за свои собственные гроши, отремонтированную собственными руками,— старинные, вышедшие из употребления предметы утвари, инструменты, мебель. И сам создатель этого музея встречал вас на пороге и показывал, рассказывал, описывал — наизусть уже знакомую «биографию» созданной им «достопримечательности»... В Девоне все это было систематизированней, проще, может быть, обширнее территориально. Куда бы я в Англии ни ездила, я всегда позволяла себе заглядывать в такие культурные памятки, покупать открытки с их видами, краткой аннотацией,— лазила не без страха в знаменитую пещеру Кента, ездила в дома Стивенсона, Бернса в Шотландии,— словом, всюду, где только могла и позволял мой кошелек, вплоть до вымышленной квартиры Шерлока Холмса на лондонской Бейкер-стрит...

Возможно, я тут повторяла маршруты наших туристских поездок. Но по опыту знаю: прочное и более глубокое знание надо получать индивидуально, завоевывать самой. Тогда оно шире входит в вашу образовательную память. Кстати, записалась даже в общество диккенсианцев («The Dickensian») и несколько лет поддерживала свое членство, посылая через наш Союз писателей членские взносы и получая очень интересные тонкие журнальчики этого общества. Мне было интересно знать (и оплачивать это знание из своих командировочных на еду) эту культурную жизнь простых английских людей, создаваемую большей частью на небольшие личные пожертвования из частного, но не очень объемистого благотворительного кармана. Иногда у этой частной благотворительности попадалась мне и очень забав-

ная, но непонятная сторона. Так, гостя несколько дней в Шотландии у писательницы Наоми Митчисон, я наткнулась в саду на нечто вроде почтового ящика с надписью: «Жертвуйте на сохранение знаменитых шотландских парков» — и положила в его отверстие фунтовую бумажку. К моему изумлению (с одним фунтом я положила и свою визитную карточку), в течение всего года мне посылали в Москву из Эдинбурга великолепнейшие издания со множеством цветных иллюстраций шотландских замков и пейзажей,— так много и так часто, что количество их далеко превысило стоимость одного фунта...

Но вернемся к Баббакуму. Осмотрев и обойдя все и вся, что можно было обойти и осмотреть вокруг моего отеля,— я выбрала для своего послерабочего отдыха только одно: спуск к совсем крошечным бухточкам на побережье. Одни из них были неблагоустроены и безлюдны, другие посещались людьми. В одну, снабженную лестницей и креслами-лежанками, я стала спускаться для отдыха, чаще всего после полудня. В ней был буфет, где можно было заказать себе чай и оплатить за кресло-лежанку. Обычно я собирала на крошечном берегу бухточки очень интересные камушки, не полудрагоценные, как у нас в Коктебеле (халцедоны, агаты, сердолики), а простые голыши, но расписанные морем самыми замысловатыми рисунками. Вокруг меня на лежанках отдыхали жители Баббакума, а может, и других мест. В положенное время из буфета приносился поднос с английским чаем, бутербродами и паем — английским плоским пирожком с яблоком. Я кончала с чаем, относила поднос в буфет, расплачивалась за чай и кресло-лежанку — и, вернувшись на бережок,— еще раз задремывала, прежде чем отнести к буфетчице и свое кресло... На пять-шесть минут... и вдруг — поклевав носом,— заснула крепчайшим сладким сном...

Меня разбудило ощущенье какого-то скрипа подо мной, полозья кресла-лежанки тихонько ползли вверх. Нет, их тащили, тащили сильно по камушкам, а в ноги — в подошвы моих утруженных, хожених-перехоженых туфель,— как будто подкатывалось что-то. Прилив! Пожилой англичанин тащил мою лежанку наверх, к буфету, а нас догоняла серая, лоснящаяся змеиным блеском, гладкая вода прилива,— водяное дыхание, точней, выдох, далекого океана. Как я могла забыть эту особен-

ность английских побережий! Тем более — сама ведь переводила о ней в «Лунном камне» Уилки Коллинза... Устыдившись, что меня тащит пожилой человек, я неуклюже выкарабкалась из кресла, сама помогла дотащить его до лестницы и начала свое очень плохо произносимое не то с «т», не то с «ф» или с какой-то серeдкой между этими буквами «фэнк ю, фэнк ю» — спасибо, спасибо,— а пожилой англичанин улыбнулся. Достал из кармана свернутую газету, порылся в грудном кармашке, вытащил оттуда карандаш, а с белого поля газеты оторвал краешек и, пристроив его к ладони, написал что-то. Но я глядела (уж наверное, вытаращив глаза) не на этот клочок неотступно, словно одаренная чем-то очень праздничным, а на буквы названия газеты — это было тогдашнее название органа английской компартии «Дэйли уоркер». Был ли этот пожилой англичанин — коммунист,— я не знаю,— не узнала тогда — но он читал «Дэйли уоркер». Он написал мне на отрывке газетного поля: прилив — с такого-то до такого часа, отлив с такого до такого.

Долго потом я берегла, как берегут талисман,— этот мягкий клочок бумаги. Трудно объяснить, с каким чувством я шагала всю дорогу до Баббакума. Мне казалось — иду по нашей проселочной дороге под Москвой. Есть же такое слово «человечество». Оно — из таких людей — думающих о будущем.

Вернувшись в свою крохотную комнатку, засела за дневник. Теснилось так много мыслей в голове, хотелось записать их, но я поставила перед собой на белом листе дневника только два слова: «Помнить: человечество» — и закрыла тетрадку.

Это был мой последний день в Баббакуме.

3 февраля 1981 г.

СТОЛЕТИЕ ЛЕЖИТ НА ЛАДОНИ

Интервью „Литературной газете“

Старейшая советская писательница Мариэтта Шагинян была участником всех шести съездов писателей

СССР. В преддверии VII съезда корреспондент «ЛГ», встретившись с Мариэттой Сергеевной, попросил ее ответить на вопросы редакции:

— Вы не раз выступали в печати и по телевидению о Первом съезде советских писателей. Мне хочется снова просить вас сказать об этом съезде несколько слов — ведь с годами вырастает опыт и прибавляется что-то новое в человеческом суждении о прошлом.

— Да, это вы правильно сказали насчет растущего с годами опыта. Дело в том, что прошлое отодвигается от нас с каждым годом, но в то же время ярче и глубже раскрываются исторические связи этого прошлого с общей панорамой нашей культуры. Сейчас мне иногда приходится говорить: «Столетие лежит у меня на ладони». Это значит, что до столетия, до целой эпохи остается мне каких-то шесть с лишним лет. Согласитесь, что цифра эта небольшая, если, конечно, наша планета не взорвется от накапливания ядерных вооружений задолго до всякой мировой войны. Когда я гляжу с моих теперешних лет в далекое прошлое, то многое предстает мне именно в этих внутренних исторических связях.

Вы просите рассказать о Первом съезде. Это слово — съезд, которое в словарях указывается как адекватное конгрессу, на самом деле имеет чисто русское звучание. В Западной Европе бытуют другие слова, пишущиеся иногда с большой буквы: Конгресс, Конференция... Русское слово «съезд» звучит скромнее и пишется с маленькой буквы. Оно отражает очень частые события в русской общественной жизни почти на всем пространстве девятнадцатого века. Знаменитые Пироговские съезды, многочисленные учительские съезды, земские съезды — все это были очень важные и содержательные явления передовой русской культуры. На них меньше всего говорилось об уже состоявшихся достижениях, а шел прежде всего необходимый для будущего обмен передовым опытом участников съездов — в области медицины, школьного дела, педагогических учений. Таким, действенно-деловым, обращенным лицом не к прошлому, а к будущему, был и наш Первый советский писательский съезд. Он продолжался долго — две недели — и оставил после себя очень много реальных планов и перспектив для развития советской литературы в будущем.

— В чем вы видите это обращение лицом к будущему?

— Прежде всего оно явно содержится в самих результатах съезда. Многое, что до съезда еще не существовало организационно, получило свою будущую структуру. Например, связь нашей русской литературы с литературами национальных республик и областей. Это очень большое дело. До съезда мы уже приступили к планомерному знакомству с национальными литературами. Обменивались делегациями, зачиналась переводческая деятельность в форме создания подстрочников и затем переложения их уже мастерами художественного слова. Я имею в виду, прежде всего, поэзию, но и прозу, которая в некоторых республиках только начала созревать. В то время мы даже не предполагали такого могучего роста литератур тогда еще отсталых республик, которые сейчас украшают именами своих писателей и общую советскую литературу. Чем была прежде древняя Киргизия или древняя Калмыкия? А ныне — сияющие имена: Чингиз Айтматов, Давид Кугультинов. И много таких примеров можно привести. Я счастлива тем, что была прямой участницей организационного поворота к национальным литературам.

— Нельзя ли подробней?

— Дело в том, что еще задолго до съезда я стала усиленно читать произведения литератур наших национальных республик, получившие перевод на русский язык, особенно прозаические. И меня поразило, что в самых разных культурах разных народов, при самых разных их уровнях совершенно разными бытовыми подробностями стала просвечивать единая тема, подсказанная социалистическим переворотом. Нам надо было отучать наших людей от принципа частной собственности, от крайне въевшегося в нас индивидуализма, от изолированности от жизни и приучать к пониманию превосходства общественной собственности над частной, чувству жизни в коллективе, а не в башнях из слоновой кости, особому чувству гражданственности и равенства перед законом. Словом, укреплять в читателях знание новых производственных отношений. И все это — на фоне ломающихся форм личной и общественной жизни. Ну вот, к примеру,— до сих пор в западной литературе проблема семьи строится, главным образом, на личных взаимоотношени-

ях мужа и жены, тогда как у нас с первых дней революции проблема семьи стала глубоко связана с новыми социальными условиями, поскольку жены начали работать и служить, как и мужья, уравнялись с ними и в заработке, и в расходе своего времени: большее количество времени уходит на работу и малое остается на заботы о детях, на домашнее хозяйство. Известный роман Федора Гладкова «Цемент» построен весь на трагической проблематике именно социальных конфликтов в семье, а не лично-психологических. Но, затрагивая эти социальные проблемы, писатели неизбежно привлекали внимание читателя к социальному их решению, то есть к необходимому росту яслей, детских садов, интернатов и других детских учреждений. Что касается национальных литератур, скажем восточных, то там тема освобождения женщины от чадры или паранджи, ее поступления в школу или па работу создавала еще более острые конфликты в семье, и тогда ей на помощь приходила Советская власть. Общие, по-разному описанные конфликты пронизывали все национальные литературы — в деревне (борьба бедняка с кулаком), на заводе (уничтожение хозяев, переход на новые производственные отношения), в школе (изменение старых учебников, устранение власти поповства, борьба за всеобщую грамотность), в семье (равноправие женщин) — и при всей яркости, разнообразии языков, быта, традиций вырастали в единый хребет общей советской темы: борьбы нового, небывалого, социалистического со старым, отживающим, капиталистическим.

Когда я осмысливала вот это движение национальных литератур, внешне разных, но внутренне единых, я не могла не подумать о том, что наша критика будет топтаться в потемках, если не станет понимать и анализировать в своих работах это единое проблемное направление во всех наших национальных литературах, а не только в одной русской. И в своей получасовой речи на Первом съезде я говорила именно об этом и заключила ее предложением о необходимости создания при Союзе писателей комиссии по национальным литературам. Таким же вкладом в будущее были проблемные выступления многих других писателей и, конечно, речи самого Горького.

— Что же вы пожелаете нашему VII съезду?

— Прежде всего — быть деловым, перспективным,

дать нам конкретные, профессиональные вехи для развития будущей советской литературы.

И еще одно важное пожелание. Я сказала полушутя, что столетие лежит у меня на ладони. Это значит, что очень ярко видятся мне дали прошлого. Удивительный успех имели первые советские книги у того же капиталистического Запада. В далекой России свершилось чудо. Революций на свете было много, но впервые за века труженик-рабочий, труженик-пахарь, создатели всех материальных ценностей на земле, вышли на сцену истории как хозяева мира. Всем на Западе, и особенно интеллигенции, было страшно интересно узнать, что же у нас делается. К нам приезжали крупнейшие писатели. У нас был Герберт Уэллс, беседовавший с Лениным, позднее — Ромен Роллан. Молодые писатели не могут представить себе, какой славой пользовались наши книги за рубежом. Поездка Лидии Сейфуллиной на Запад сопровождалась триумфом. Каждый из нас получал письма от читателей наших переведенных книг. Доброжелатели засыпали нас вопросами. Позднее, когда я в Париже зашла в редакцию газеты «Юманите», печатавшую из месяца в месяц с продолжением книгу Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы», мне там показали целую кипу писем от читателей, восхищавшихся увлекательностью этой книги. Интеллигенция и рабочие Франции восприняли происходившее под влиянием Октября возрождение угнетенных, вымиравших при царизме народов дальнего русского Севера к свету, свободе, культуре и борьбу коммунистов за это возрождение не только как новое содержание, но и как интереснейший приключенческий сюжет.

Что я желаю молодым писателям? Они родились и выросли, когда социализм стал повседневной явью. Они живут в нем, как дышат воздухом, которого обычно не замечаешь. Мне хотелось бы, чтобы в их книгах больше было исторического фона, чтобы ярче выступала новая социальная структура, в которой живут и действуют герои, советские люди. И еще мне хотелось бы, чтобы молодые писатели, видя и наблюдая отрицательные явления нашей действительности, понимали бы, что это исходит не от социалистической структуры нашего строя, а от плохой и нечестной работы тех людей, кто искажает наши законы, живет не по-советски. И, наконец, мне хотелось бы пожелать молодым писателям иметь зрение

и слух на хорошее, что есть в нашей стране, на те зеленые побеги, которые прорастают в советской жизни от старых корней, посаженных Лениным в Октябре.

Июнь 1981 г.

ГОВОРИТ НИЗАМИ

I

Мне выпало большое счастье переложить на русский язык одну из пяти поэм великого азербайджанского классика, самую сложную, самую трудную,— и самую мудрую,— «Сокровищницу Тайн» (Махсан уль Асрар).

В отличие от остальных эта поэма бессюжетна. В нее Низами Гянджеви вложил весь нравственный опыт своей жизни, все сужденья о своих современниках и своей эпохе, ее достоинствах и пороках, а также заветы и заповеди, какие хотел бы оставить человечеству.

Он жил в двенадцатом веке, мы живем в двадцатом.

Чтоб добраться до пониманья его мыслей, мне пришлось пробираться сквозь заросли невероятно сложного и непонятного, но исключительно точного научного подстрочника, сделанного одним из лучших наших иранистов, покойным профессором Ромаскевичем. Это были для меня «джунгли» неведомых мифологических образов, имен, названий, завитков пышного восточного синтаксиса Низами.

За короткое время до назначенного нам в 1941 году юбилея сделать все это не было никакой возможности. Но из-за Отечественной войны юбилей был перенесен на 1947 год. И все семь лет до него, при огромной загруженности литературной работой на оборону, я продолжала изучение Низами каждую свободную минуту.

Чтобы осилить трудности упомянутых «джунглей», я ознакомилась со всей имеющейся в прошлом научной литературой о Низами на русском и европейских языках; советовалась с крупнейшими нашими учеными-востоковедами и поэтом, знавшим фарси,— покойным таджикским поэтом Лахути и его женой Бану; специально ездила в Лондон, чтоб там, в знаменитой библиотеке Британского музея, прочитать первый в мире перевод «Сокровищницы Тайн», сделанный англичанином Хиндлеем и хранящийся там в рукописи.

И, наконец, брала уроки у бакинского моллы, посвящавшего меня в тонкости Корана. У меня часто спрашивали, кстати сказать, не без улыбки, что же мог дать бакинский молла для перевода поэмы Низами?

Он оказал мне не только огромную помощь, но научил и особому подходу к прочтению древних текстов. Что, например, могла я извлечь из сложнейшего подстрочника профессора Ромаскевича о путешествии Магомета на Седьмое Небо, о крылатом коне Магомета, о бесконечном обсуждении такого пустякового факта, как утрата Магометом в сражении зуба,— этому зубу посвящено у Низами немало стихов. Казалось бы, сказочные мифы, традиционные в восточной мусульманской поэзии не только у Низами, но и у других поэтов с их обязательными «восхвалениями» в начале каждой поэмы. Дань ничего не значащей для нас традиции. Но молла не читал, а рассказывал, он пропускал все эти мифологемы через свой религиозный пыл, и в его рассказах бывали минуты необыкновенного воодушевления, когда речь его почти вспыхивала от внутреннего огня, глаза сверкали, руки тянулись к жестикуляции. И в такие минуты для меня внезапно разрывались тысячелетия народных сказаний, и «Путешествие на Седьмое Небо» вдруг оказывалось вершиной высочайшей человеческой поэзии, подобной античному образу Парнаса, греческой горы вдохновения, обители Аполлона и муз. «Крылатый конь Магомета» превращался в греческого Пегаса. Тысячелетние восточные мифы сливались в единый поток эпосов всего человечества. Даже «Зуб Магомета», приводивший меня в отчаяние и к многократной бессоннице, когда я пыталась проникнуть в его внутренний смысл, привел меня, наконец, к пониманию какой-то духовной утраты на войне, может быть, гибели кого-нибудь близкого Магомету, может быть, к утрате жестокосердия.

Несколько лет труда понадобилось мне, покуда чистый, как родник, мир мышления Низами не обнажился передо мной во всей его кристальной ясности. И наконец...

...Наконец — исчезли столетия, отделяющие двенадцатый век от двадцатого. Глубокие мудрые мысли, словно человеческие очи нашего современника, взглянули в глаза двадцатому веку. И оказались они необычайно близкими нам, нашему времени, нашему отношению ко мне-

гим моральным ценностям. Какие же это моральные ценности?

II

В подготовке юбилея Низами Саша Фадеев (мы его звали просто Сашей) принимал очень близкое участие. У меня сохранилась в архиве одна из его тогдашних записок:

«Дорогая Мариэтта Сергеевна!

С тобой ли цитаты из Низами, свидетельствующие о его народных корнях? Цитата о русских, которую ты мне показывала, из кого она, из Хагани? Есть ли она у тебя? Не могла ли бы ты принести это к 6 часам.

Ал. Фадеев».

Как-то утром раздался телефонный звонок. Это звонил мне Фадеев перед своим очередным докладом на писательском собрании. Ему срочно нужна была цитата из «Сокровищницы Тайн», которую я ему как-то прочитала. Он хотел привести ее в своем докладе, но не помнил целиком и только сказал: «Та самая, где «безделье гони...» Это — следующая цитата из Низами, говорящая о высоком значении труда:

Царапай хоть лист, но безделье гони.
Не пишешь — так перья чужие чини[1].

В другом месте:

Колючкою вовремя руки стегни,
Чтоб брались за дело без лени они.

Эта цитата прозвучала в его докладе очень назидательно для некоторой части писателей. Есть о труде еще цитата, как бы предвидящая труд рабочих в коллективе:

Найти себе друга ты можешь везде,
Но лучший — когда он помощник в труде!

Но прежде чем полностью раскрыть отношение Низами к труду — одному из самых важных звеньев его гуманистической идеологии, скажу несколько слов о времени и среде, в которых создавалась его «Сокровищница Тайн».

---

[1] Стихи Низами даны в моем переводе.— *М. Ш.*

В числе пяти поэм Низами — Хамсэ (Пятерицы) «Сокровищница Тайн» числится первой, то есть самой ранней работой. Но ее глубоко философское содержание, ее мудрость говорят о духовном опыте многих лет и, во всяком случае, о большой духовной зрелости. Он начинает, как и его современники, с традиционных восхвалений Аллаха и шаха, но тут же переходит к очень реалистическому описанию того, что фактически происходит в его стране. Властители, разоряющие свою землю, продажные поэты, восхваляющие их; отчаяние от пороков, беззакония и насилия, вероломство друзей и в ответ рост общественного мнения; слияние в критике,— угроза шаху народным восстанием. Гневное осуждение обмана, лжи и фальши, похвала нравственной силе труда низших классов населения(образы крестьянина и городского рабочего) и, наконец, высокая сила правды и ее победа над ложью.

Все это мелькает отдельными двустишиями в его размышлениях «Макалэ» и с особой поэтической выразительностью высказывается в приложенных к «Макалэ» баснях.

Это внутреннее содержание «Сокровищницы Тайн» делает ее одним из ярчайших документов восточного гуманизма.

Перехожу к примерам всего перечисленного из самой поэмы «Сокровищница Тайн».

III

Эти примеры горстью жемчужин рассыпаны в его «Макалэ» (речах), и как бы собраны в букеты в каждой басне, иллюстрирующей речь в ее заключении. «Бейты» (двустишия), из которых состоит отдельная речь,— иногда содержат в своем предельном лаконизме глубокое нравственное поучение, разъяснить которое займет больше места, чем оно само: для пониманья его нужен не только разум —

Без сердца ты в нем не поймешь ничего!
Объясненье его — многословней его.

Но слово имеет могучую власть, оно облетает весь мир:

Для слова открыты замки и пути,
Где слову есть доступ,— ноге не пройти!

Пусть смелый за речи в оковах сидит,—
Речам его путь всего мира открыт,—

и поэтому оно должно быть свежим мудрым, должно духовно одарять человека: оно ценнее золота:

Вот свежее слово, а вот — золотой.
Что лучше? — «О, слово, друг, слово раз в сто!»

Но придворные поэты бесчестят его, гоняясь за золотом:

Толпой во дворцы, где владыкою шах,
Поэты-льстецы с восхваленьем спешат...
Продажная братия эта,— она
Вне чести, хоть почестью вознесена.

Но опасен путь угожденья, пресмыкательства, фальши, льстивости: возвышенье грозит немилостью и плахой. Льстец не избежит страшных сторон восточного деспотизма, ужасающей судьбы — погони за золотом.

Лишь тот, кто пред златом как ртуть не дрожал,
Железных Санджара[1] тисков избежал.

Настоящий поэт не с этой «продажной» братией:

Кто мыслью подняться до истины мог,—
Главы не кладет на дворцовый порог.

Он не связывает патриотизм с прославлением своего шаха, он связывает его с любовью и состраданием к народу своей страны. Он видит патриотизм в правде, которую нужно говорить своему властителю.

Больше столетия назад в западноевропейских хрестоматиях для детей появилась басня Низами, переведенная учеными (рассказывает немецкий востоковед прошлого века Хаммер). Она заучивалась детьми наизусть. Вот эта басня, без сокращений:

РАССКАЗ О НУШИРВАНЕ И ЕГО ВЕЗИРЕ

Однажды, оставив охотничий стан,
С охоты вперед ускакал Нуширван.

Но верный везир догоняет его.
Хосров и везир — и вокруг никого.

---

[1] Историческое лицо, известное своей жестокостью.

И видят: развалины без очага,
Селенье пустое, как сердце врага.

И видят: две птицы сидят на жерди.
И тесно меж ними, как в шаха груди.

Спросил он везира: «О чем у них речь?
Что можно из этого свиста извлечь?»

Везир отвечает: «О царь наших дней!
Скажу, коль ответить приказано мне.

В их щебете смысл затаенный укрыт,—
Про свадебный договор он говорит.

Одна — это мать, что просватала дочь,
Ей надобен выкуп за брачную ночь.

«Развалины эти оставь нам,— свистит,—
А к ним ты таких же прибавь нам»,— свистит.

Другая в ответ ей: «О чем говорить!
Взгляни, сколько шах наш успел разорить!

С его притесненьями — долго ли ждать?
Сто тысяч развалин смогу тебе дать!»

Замолкнул везир, и пристыжен Хосров.
От скорби он стон испускает без слов.

Бьет в лоб себя, слез проливает поток,—
Ведь что, кроме плача, насилью итог?

Свой палец зубами в стыде прикусил.
«До птиц разрушенье дошло! — возгласил.

Сегодня, как в зрелище, вижу свой гнет.
О горе, он завтра в позор перейдет!

Богатства, которым числа не найду,
Забрал ли в могилу с собой Феридун?

От царских приказов, судов, где сужу,
В конце концов, что же в руках я держу?»

И так стал горяч в покаянье Хосров,
Что гвозди коню растопил у подков.

Обратно к войскам поскакал на коне,—
И новым повеяло ветром в стране.

«Калам»[1], что поборам вел счет,— он убрал,
Дурной свой обычай и гнет он убрал,

---

[1] Калам — в данном случае налог.

Дал кров правосудью, насилье свернул,
Берег до последнего вздоха страну,

Когда ж, испытав всех превратностей бег,
Ушел он,— то слава осталась навек.

И знаком закона для множества стран —
Стал имени этого шаха чекан.

Везир — это самый приближенный к шаху министр, предполагается, что он, как в сказке, знает птичий язык. Элемент сказочности и сделал эту басню своего рода классикой для детских хрестоматий. Таково было вступление Низами Гянджеви в западноевропейскую литературу. Но для нас в этой басне нет сказочности, есть удивительно мудрое «иносказание», примененное везиром, и психологический реализм в отклике на него у шаха. Поставьте себя, читатель, на его место. Вообразите себя «в его шкуре» — взбешенным, посрамленным, до некоторой степени отчаявшимся, но держащим себя в руках перед приближенным к нему министром,— а гнев рвется наружу, и его надо сдержать — что бы вы сами сделали?

«Шах бьет себя в лоб», «свой палец в стыде прикусил» (так иногда люди бьют себя по голове),— и ответил с претензией на сарказм, на юмор, в том же духе иносказанья: «...до птиц разрушенье дошло»...

Есть еще одна басня, где жестокость и бездарность в управлении страной еще ярче показываются поэтом и осуждаются в шахе. Восточных деспотов Низами вообще не щадит и приводит много имен исторических и неисторических. Но стихи о них удивительно реальны и в поэтическом, и в психологическом, и в историческом смысле. Необыкновенным мужеством отличаются простые горожане в обличении сильных мира сего:

РАССКАЗ О ЦАРЕ-ПРИТЕСНИТЕЛЕ И ПРАВДИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Жил некий правитель, поправший закон.
В искусстве придирок — хадждсжаджем[1] был он.

О тайнах, которыми почь тяжела,
На крыльях заря ему шепот несла.

---

[1] Хадждждж — крайний тип жестокосердия.

И как-то приходит к царю клеветник,
Кто в тайны людские без спросу проник.

Из тех, кто должают ночной темноте,
А утром свой долг отдают клевете.

«Такой-то тут старец,— царю он донес,—
Сказал — ты убийца, ты див-кровосос!»

И злоба в царе поднялась, горяча.
Вскричал он: «Сейчас же позвать палача!»

Вот казни ковер посыпают песком,
Сам див устрашится при гневе таком.

А к старцу спешит горожанин один:
«Шах казнь для твоих замышляет седин!»

И старец омылся, и саван берет,
И к шаху с бесстрашною речью идет.

А шах в нетерпенье ладони потер,
К ногам опускает прищуренный взор:

«Ты,— слышал я,— «дивом» меня называл?
Твердил, что бессмысленно я убивал?

Ты с царством моим справедливым знаком,
Чего же порочишь меня языком?»

И старец ответил царю: «Я не спал.
И больше, чем эти слова, я сказал.

Пред старым и малым, не зная стыда,
Ты грабишь деревни, сосешь города.

Я только пороки твои подсчитал,
В дурном и благом тебе зеркалом стал.

Ты в нем отразился таким, каков есть,—
Разбить это зеркало — малая честь!

Правдив я, пойми правоту моих слов.
А хочешь казнить меня — к смерти готов».

Бесстрашным признанием речь старика
Царя потрясла, правотой велика.

Он вскинул глаза, устремил их вперед,—
И в правде — неправду свою узнает.

Сказал он: «Тотчас с него саван совлечь!
В почетное платье и в амбру облечь!»

И стал, беззаконья оставя пути,
В заботе о людях законность блюсти.

Правдивое слово в стране поощрил,
За правду ущерба нигде не чинил.

Правдивая речь да пребудет крепка!
Ах, горько нам, горько, ведь правда — горька!

Окончания этих басен — единственный сказочный элемент в них. Возможно, он ими отводил душу и пытался внушить деспотам своего времени преимущества законности и справедливости при управлении страной.

И опять поразительный реализм деталей. Яростный в своем бешенстве, восточный деспот проявляет это бешенство в ряде психофизиологических движений. Он в нетерпенье потирает ладони, прячет глаза, опуская их вниз, говорит со своей жертвой, не глядя на нее, но, когда клокочущая в нем ненависть сменяется новым чувством, он «поднимает глаза, устремляет вперед», словно прозрев, открывает их навстречу правде...

Не всегда Низами борется с деспотизмом путем воздействия добрых слов, и сказочные окончания басен его совсем нечасты. Гораздо внушительнее их прямая угроза шаху вспышкой народного восстания. Вот изумительные строки, где начинает звучать угроза шаху и предостережение:

В ответ притязаньям твоим над страной —
Два-три мыслью смелых — сольются в одной.

Страшись их суда, правосудье верши
И бойся народного гнева в тиши!

Высокие мысли — внушеньем сильны,
Их действие ведь не пустяк для страны!

В дыхании многих — слит помысл один.
Смотри,— он не стал бы тебе господин!

IV

Но главною силой поэзии Низами является его удивительное отношение к человеческому труду. С почти современным интернационализмом он одинаково смотрит на все человеческие расы и утверждает право каждого

человека на труд, а землю нашей планеты считает обширной человеческой мастерской:

И белый, и черный — все дети земли
В ее мастерской себе место нашли.

Он в своем двенадцатом веке разделяет людей по роду занятий, дает незабываемые образы трудящихся,— сельского работника и городского рабочего, в их отношении к труду. Вот две такие басни:

РАССКАЗ О СОЛОМОНЕ И ПОСЕЛЯНИНЕ

Минутой досуга от дел откреплен,
Спешит из дворца на простор Соломон.

Он в степь государство свое перенес
И трон в лучезарное небо вознес.

Глядит,— состраданьем душа стеснена,—
Старик земледелец, чья нива скудна,

Последние зерна в дому соберя,
Бросает их скудной земле пустыря.

Сажает их в каждый земли уголок,
Надеясь, что вырастет колос высок.

Но птичий открыт Соломону язык.
Он в путь созреванья тех зерен проник

И молвил: «О старец, напрасен твой труд —
Ты бросил свое пропитание тут.

Мы сеяли в тучную землю зерно,
И много ль, скажи, нам взрастило оно?

А с этой иссохшей — напрасны труды.
Что, жаждущий, снимешь с нее без воды?»

Ответил старик: «О, прости мой ответ,
Не думаю, есть ли вода или нет;

Водою мне — видишь — мой пот на спине,
Концы моих пальцев лопатою мне,

Великим мне счастьем бывает зерно,
Когда получаю семьсот на одно.

Не сей никогда с сатаной на устах —
И ты с одного будешь при семистах!»

РАССКАЗ О СТАРИКЕ КИРПИЧНИКЕ

Раз жил в стране Шама кирпичник-старик.
Как призрак, людей сторониться привык.

Из трав ему плащ одеяньем служил,
Кирпич обжигал он и выручкой жил.

Бойцам, что роняют щиты и мечи,
Щитом были в склепах его кирпичи.

И всех, кто в могилу сходил, непокрыт,
От кар за грехи укрывал этот щит.

Успех обеспечен в работе такой.
И спорилось дело под старца рукой.

Однажды случилось — к нему подошел
Прекраснейший отрок и слово завел:

«О стыд и бессилье — твое ремесло!
Пусть возится с глиной погонщик ослов!

Вставай и лопатою землю не бей,—
Ведь в хлебце никто не откажет тебе!

Брось эту отливку, что формой стара,—
По-новому новое делать пора.

С твоей сединою тебе ли с руки
Мять глину с водой в земляные комки?

Ты стар, и покой тебе необходим,
А труд молодых — предоставь молодым».

Старик ему: «Пыл этот угомони,
Уйди и помех мне в труде не чини!

Нам, старым, прилично знать толк в кирпичах,
А юношам — тяжесть таскать на плечах.

К труду потому и тянусь я рукой,
Чтоб не протянуть ее перед тобой.

Не нищий — пред кем-нибудь клянчить дирхем,—
Тружусь и свой хлеб заработанный ем.

За этот кусок не терзай ты меня,
И коль я не прав — да не видеть мне дня!»

От слов старика порицатель его
Заплакал и плача пошел от него.

Старик с таким качеством видывал свет,
Одобрены дело его и ответ.

С каким высоким пафосом даны поэтом эти образы. Как бы за все человечество произносит он анонимное «одобрены дело его и ответ» в конце басни о старике кирпичнике. И какой верой в положительный результат подлинного и доброго труда полны последние слова пахаря в басне о поселянине и Соломоне:

Не сей никогда с сатаной на устах —
И ты с одного будешь при семистах!

Не зря эти два человека сельского и городского труда даны у Низами стариками. Глубокая привязанность к своему труду и чувство личного достоинства, вырабатывающиеся у трудящегося, обычно вырастают с годами.

Замечательно, что Низами описал в «Сокровищнице Тайн» множество людей самых разных занятий. Есть у него рассказы и о придворных, и о духовенстве, и о торговцах, и даже о своеобразной «интеллигенции» того далекого времени,— в рассказе о двух мудрецах-спорщиках. Это, конечно, философия, с нашей точки зрения, теоретика восточной мудрости. Один из них — представитель темной силы, другой — представитель добра и света. Низами дает их опять «в иносказании», и в споре своем они состязаются оружием яда у одного, ароматом розы у другого. Вот, в заключение, и эта басня:

РАССКАЗ О ДВУХ МУДРЕЦАХ-СПОРЩИКАХ

В жилище одном жили два мудреца,
И спор отчужденье вселил в их сердца.
«Мое» там царило, с «твоим» не сживясь,
Двойное с единым утратило связь.
Нет правды двоякой, а есть лишь одна!
Из двух голов чья-то быть снятой должна.
Ведь в ножны одни двум мечам не пролезть.
Главой на пиру — двум Джемшидам не сесть.
И каждый из них, себялюбьем влеком,
Владеть этим домом хотел целиком.
И каждый тянул в слепоте за свое,
Чтоб только собою украсить жилье.
Вот как-то, проспорив всю ночь напролет,
Придали раздору такой оборот:
Забыв несогласье, щербету сварить,
Чтоб каждому — чашу другого испить,

И вызнать — чья крепче пред ядом душа,
Чей яд смертоносней изводит, круша;
Две мысли в единое знание слить,
Два сердца — в одну оболочку вселить.
Тут первый мудрец, изготовивши яд,
Чьим мог бы зловоньем быть камень разъят,
Напиток подносит: «Попробуй вино,—
Не яд оно,— слаще, чем сахар, оно!»
Сосед его, дар смертоносный узрев,—
В честь сахара — выпил отраву, как лев.
И внутренним противоядием вмиг
Он действию яда преграду воздвиг.
Сгорел мотыльком — и как прежде крылат.
Свечой поспешил на собранье назад,
Дорогою розу срывает в саду,
Заклятье прочел и на розу подул,
И подал врагу ради взгляда его
Ту розу, что действенней яда его.
И, страхом пред этим цветком обуян,
Противник от розы упал бездыхан.
Так, мужество яда исторгнуло шип,
А схваченный страхом от розы погиб!

Я привожу из огромного духовного богатства «Сокровищницы Тайн» лишь несколько примеров философии восточного гуманизма. Очищающее и воспитывающее действие этого гуманизма очень велико, и с годами оно не стареет, а, как мне кажется, становится все нужнее для человечества.

Сентябрь
1981 г.

СОДЕРЖАНИЕ

III

МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА
ШАГИНЯН

СТОЛЕТИЕ ЛЕЖИТ НА ЛАДОНИ

Очерки и статьи последних лет

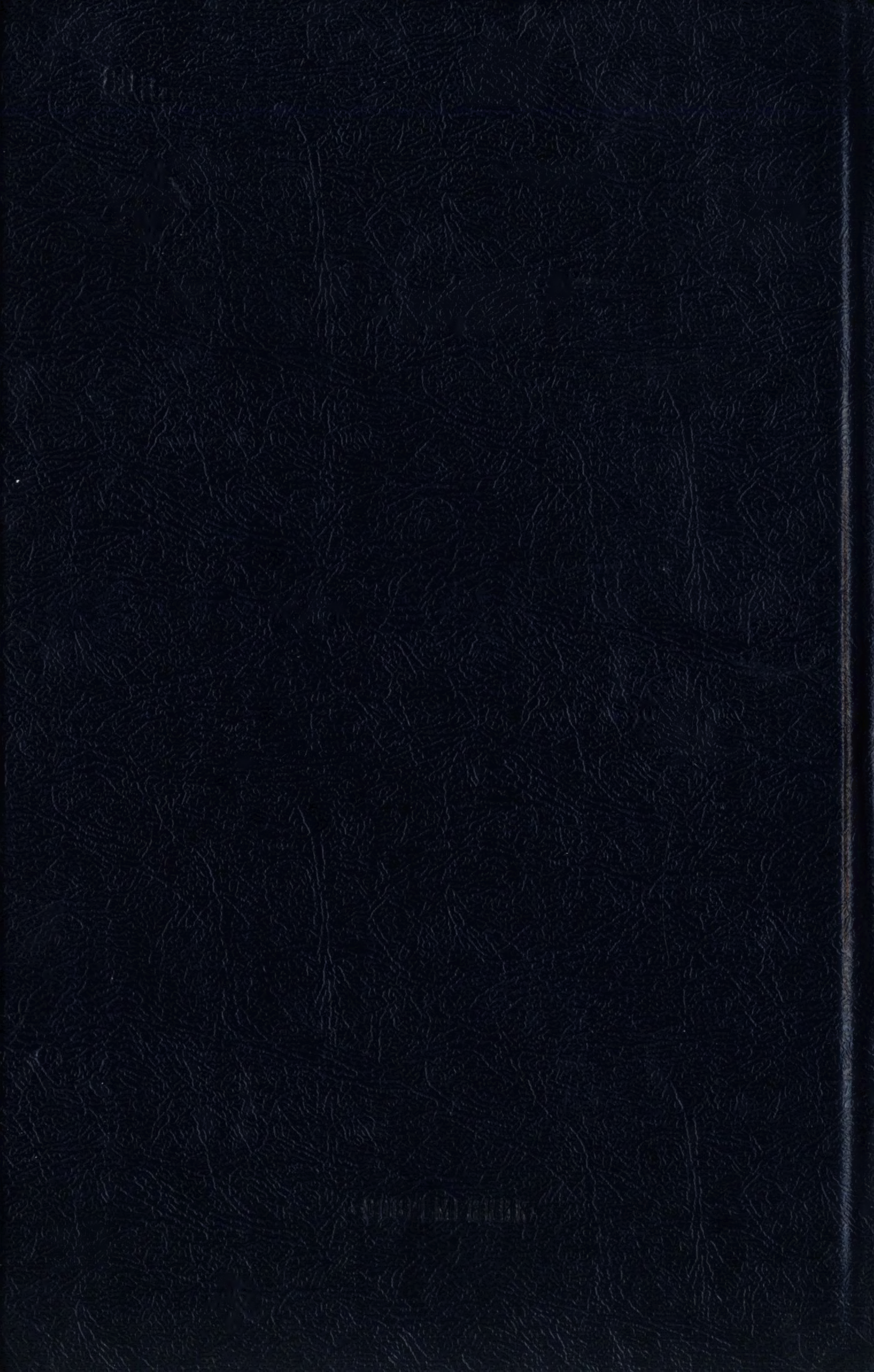
Составитель и автор предисловия
Константин Багратович Серебряков

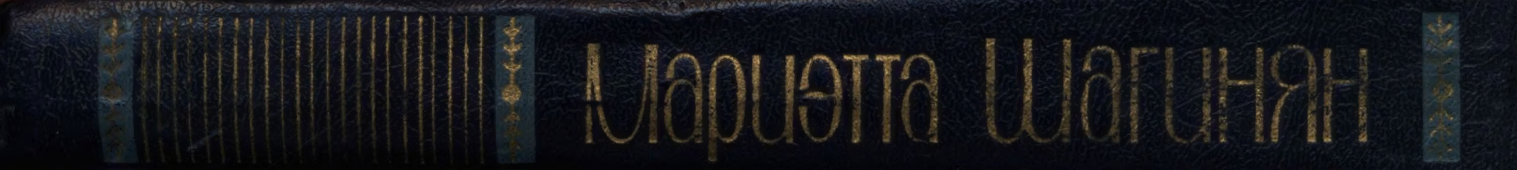
Редактор *Н. Суворова*
Художник *Р. Вейлерт*
Художественный редактор *В. Покусаев*
Технический редактор *Л. Дунаева*
Корректор *В. Лыкова*

ИБ № 2668
Сдано в набор 01.09.81. Подписано к печати 27.11.81. А10125. Формат 84×108/32. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 18,59. Усл. краск.-отт. 18,53. Уч.-изд. л. 19,14. Тираж 100 000 экз. Заказ № 337. Цена 80 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25




Мариэтта Шагинян